ЗНАМЯ

ISSN 0130-1616

10/2009
октябрь

индексы: 70331, 84471

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

выходит с января 1931 года

содержание

10/2009 октябрь

3 Геннадий Русаков. **Я перевёл и нынче жду ответа.** *Стихи*

10 Марина Палей. **Под небом Африки моей.** *Повесть*

45 Константин Ваншенкин. **Воспоминание о сухом пайке.** *Стихи*

50 Наталия Червинская. **Запоздалые путешествия.** *Рассказ с примечанием*

75 Татьяна Риздвенко. **Странно начинаться на букву Ф.** *Стихи*

80 Екатерина Шевченко. **Дриада.** *Новелла*

85 Константин Кравцов. **Рождение воздуха.** *Стихи*

неформат

89 Арина Холина. **Пристрастие к неудачникам.** *Рассказ*

103 **P.S.** Наталья Иванова

архив

104 Роман Солнцев. **Баба Шура.** *Рассказ. Вступление Евгения Попова*

non fiction

114 Владимир Шаров. **«Когда Шера в форме».** *Истории моего отца*

образ мысли

123 Людмила Улицкая, Михаил Ходорковский. **Диалоги**

резонанс

143 Евгений Степанов. **Малый издательский бизнес на энтузиазме**

149 Анатолий Ключников. **Двадцать лет спустя**

нестоличная Россия

154 Олег Шаталов. **Пскопские**

образ жизни

167 Александр Цыганков. **На улице Юровского**

дискуссия

Кризис в экономике – кризис в литературе?

179 Алиса Ганиева. **Вчера не догонишь, от завтра не уйдешь**

183 Лев Оборин. **Время escape**

184 Елена Погорелая. **…На севших батарейках?..**

188 Евгения Вежлян. **Новая актуальность, или Назад к Толстому**

кино

193 Ольга Бугославская. **Гибель империи на большом экране**

пристальное прочтение

201 Михаил Эпштейн. **Лирика сорванного сознания: народное любомудрие у Д.А. Пригова**

наблюдатель

рецензии

209 Михаил Ардов. — **Тимур Кибиров. Греко- и римско-кафолические песенки и потешки**

213 Анна Голубкова. — **Борис Минаев. Психолог, или Ошибка доктора Левина**

216 Елена Зейферт. — **Александр Уланов. Перемещения +**

218 Г. Тульчинский. — **Людмила Коль. Роман с заграницей**

219 Татьяна Морозова. — **А. Давыдов. Душа Гоголя**

223 Светлана Васильева. — **Лев Додин. Путешествие без конца. Диалоги с миром**

225 Андрей Турков. — **Т.И. Заславская. Избранные произведения. Том 3. Моя жизнь: воспоминания и размышления**

227 Андрей Ранчин. — **В.Э. Вацуро. О Лермонтове.** *Работы разных лет. Составители: Т. Селезнева, А. Немзер*

незнакомый журнал

229 Александр Вейцман. — **Стороны света** *(Нью-Йорк)*

ни дня без книги

231 Анна Кузнецова

Геннадий Русаков

Я перевёл и нынче жду ответа

1. В ту пору я смотрел какой-то сон,
который жизнью звался отчего-то.
Он был цветаст, в нём пели в унисон,
приём в «Арбате» на семьсот персон,
дипкорпуст ест, жюльен и водки квота.
И Главный гость (не член Политбюро,
но просто из Верховного Совета)
мне палец твёрдо приставлял к груди:
— Ты вот ему теперь переведи... —
Я перевёл и нынче жду ответа.
А дни неслись, в них был невнятный лад
и даже ритм почти что музыкальный:
вон «Песняры», вот Зыкина и плат,
творенья устоявшийся расклад,
поэт в чести, хотя полуопальный.
Но время больше значилось в уме,
чем было или попросту казалось:
года плотны, как рифмы в буриме,
а приглядеться — так, ни бе, ни ме.
И почему-то не проходит жалость.
К кому, к чему? Но Кафку издают.
Застой, а всё несётся диким скоком.
Ордынка, полночь, и куранты бьют.
И входит Вий, его не узнают.
И говорят, как прежде, о высоком.

2. Ах, какое время отгремело!
Лживое, счастливое, моё…
Раздарило то, что не имело.
Всё в кровище, а белее мела —
собирает медь на дожитьё.
Как ни мажь ему ворота варом,
ни считай прорехи и нули —
всё равно я жил его угаром,
обжигался веком-скипидаром
на моей одной шестой земли.
Всё я помню: города и веси,
волгодоны, планы и гробы…
Бабка голодает в Мелекессе.

Об авторе | Геннадий Александрович Русаков — постоянный автор «Знамени». Выпустил семь книг стихотворений. Предыдущая публикация стихов у нас в журнале в № 11 2008 года.

Я при деле, но легчаю в весе
на глазах у нищенки-судьбы.
Жизнь моя, ты здесь, в каком-то шаге…
Дотянусь и крикну: «Никому!»
Никому — парады и гулаги,
пятилетки, шкеты-бедолаги!
Всё, что нажил — я с собой возьму.

3. Полным светом распустится Вега.
В детских снах загорится окно.
И на ветер наткнётся с разбега
заплутавшее птичье звено.
Между веток заплещется воздух.
Из пригоршни прольётся вода.
И качнутся в подвешенных гнёздах,
засыпая, птенец и звезда.
А наутро просторно и чисто,
и глядится за семь деревень,
где стоит, молодой и плечистый,
на побывку отпущенный день.
Гуси-лебеди, павы-гулёны!
Что так нежностью сердце болит?
Что так ветер, большой и зелёный,
занавеску в окне шевелит?

4. Быть на земле — и чтоб не одному!
Уже не ждать и жить полузабытым,
крутиться, врать, перекормиться бытом,
вдруг стать отцом неведомо кому,
служить, спешить по праздникам на дачу,
бояться коммунальных платежей...
А там пошло — чем дальше, тем хужей:
дефолт, Мавроди, насморки в придачу.
Ах, боже мой, как счастье тяжело,
как трудно различать его оттенки!
Того гляди, тебя поставят к стенке,
с погодой третий год не повезло,
а ты живёшь, безгласен и неистов,
не годен никому и ни на что,
донашиваешь дряхлое пальто
среди детей, комсоргов и дантистов
и рассуждаешь: «Быть — не одному,
ладонью этой женщины касаться,
не пить, лечить простату, прописаться...»
Но почему так больно, почему?

5. Уйдём — и кто о нас заплачет
в моей беспамятной стране,
где каждый путь не нами начат
багровым следом по стерне?
Тут сутки — за год, год за сутки.
Тут разум страстью воспалён.
Тут восхищённые рассудки
столетья видят из пелён.
Тут я брожу, кляня прилюдно
моей земли безумный нрав,
и этот дождь её занудный,

и это время хилых трав:
брюзжанье, старческая злоба
на всех и вся, на белый свет.
И Люда в рамке, крутолобо
глядит, жалея,
двадцать лет…

6. Я слишком близко к времени стою.
В таких делах потребно чувство меры,
усмешка, скепсис, длинные размеры
стиха
и состраданье к бытию.
Философ знает: время преходяще.
Оно, по сути, утлая вода,
субстанция лукавая, когда
ей течь да течь, а ты сыграешь в ящик,
дашь дуба, а вокруг опять палят,
мятутся, мир строптив и непроверен,
опять политик врёт, как сивый мерин,
солдат калечит тех, кого велят.
А я спешу — проклятый темперамент.
Холерики не научились ждать:
вынь да положь земную благодать,
всеобщий смак и всяческий фруктамент!
Даёшь мечту — и чтобы выше крыш!
Но горько знать, что это, в общем, ради
того, чтоб век тебя хоть раз погладил,
проговорив: «Ну что ты так, малыш?»

7. Конечен день, а ночь страшнее дня.
И бабочки пестрят вокруг меня
в больном и неуверенном полёте.
Их суеты неряшливая блажь,
оборки и защитный макияж
бессмысленны, и воздух грубо плотен.
За домом свет пробился из норы.
Сейчас восторгом радостной поры
сожмётся сердце в плачущем ребёнке.
Он спит, но помнит заполошный свет,
хотя того давно в помине нет...
Душа хранит его на фотоплёнке.
Непрошенное время красоты
раствору отдаёт свои черты,
являясь нам в процессе проявленья.
И бабочек случайная тщета
не тем пугает сердце и не та...
Но, Господи, как долго удивленье!

8. Чего ж ты, падла-жизнь, со мной наделала?
Ты мне глаза засыпала золой.
И я почти не вижу света белого,
и день-деньской хожу невесел**о**й.
Но я мою тугу в проулок выкину
и топором по шкурке проведу...
Потом уйду к себе дослушать Зыкину
в каком-нибудь трёхтысячном году.
А ты чего, затыра, патлы рыжие?

(Эх, мне бы лучше девичьих кудрей!).
В моём роду нас только двое выжили —
и оба я, но тот меня мудрей.
...Кому я нынче нужен, шут юродивый,
когда плетусь, повиснув на руке,
то приблатнённой нашей мамы-родины,
то этой стервы в рыжем парике?

Блажен, кто смолоду был молод
А.С. Пушкин

9. Блажен, кто молод и беспутен в срок,
кто уложился в паспортные даты:
за каждой юбкой бегал, сколько мог,
перебесился, отдан был в солдаты,
женился рано (лучше, чем потом),
завёл семью… А далее — по списку.
Блажен, кто жил во времени простом
и не искал московскую прописку,
кто разложил столетье по слогам
и, совратив без нужды музу-дуру,
всю эту страсть, вселенский гул и гам
вложил в строку,
в картину,
в партитуру!
Мне тоже не давалось ремесло.
Но как же я повеселился, Боже,
как подурил по первое число,
шепча: «За что всё это мне,
за что же?»

10. Писать как будто впопыхах,
меняя стили и размеры,
чтоб исповедаться в стихах
со всей безудержностью веры.
И, согрешив в последний раз,
не верить датам и приметам,
себя и время без прикрас
понять, но вздрагивать при этом,
когда сухая молонья
за полем бьёт коротким блеском —
как будто это жизнь моя,
змеясь,
промчалась над пролеском.
И в жёстком выломе луча
явилась вдруг во всём размахе.
И показала сгоряча
мой век
в его последнем страхе.

11. Снова время болеет сезонным падением духа.
Говорят, это осень, да кто его там разберёт?
А покуда так тихо, так хрупко, убого и сухо,
что и дух, упадая, в паденье, наверно, замрёт.

Я годков эдак в тридцать прошёл невесёлую школу,
технологию власти из уст корифеев уча.
И с тех пор недоверчив к разящему душу глаголу,
к благодетелям сирых, карающих гидру сплеча.

Мне скушны разговоры о «сущности либерализма,
о судьбе поколенья и национальных идей».
Но вот это пространство, его усечённая призма
мне глаза обжигает всё шибче и всё молодей.

Скоро, скоро завьюжит, простынкой взмахнёт-заполощет,
понесётся клоками и уркой засвищет в окно!
Сохрани меня, Боже, меня и вот эту жилплощадь,
на которой мне не было высшего знанья дано.

А покуда всё тихо и жёлудь зачем-то обилен.
Жёрнов сердца так тяжек, что телу не перенести.
Пусть нас время полюбит, как мы его прежде любили
и щепотку удачи носили в зажатой горсти...

12. Завершается время мужчин...
Появилась иная порода,
у которой не стало причин
поощрять продолжение рода.

Нынче женщины могут без нас —
феминистки и дуры с приветом.
Нас, как водится, спишут в запас,
к семяфонду приставив при этом.

Обустроят в казённых домах,
не жалея бюджетных расходов,
чтоб держать на отборных кормах
для пробирных и генных приплодов.

По субботам — поход на футбол
и на прочие игры гурьбою.
Тем, кто буен, а может, нацбол —
сокращённый сеанс мордобоя.

Отцедив нас, как стадо коров,
утомлённых легко и счастливо,
поведут, прихватив докторов,
на родное халявное пиво.

Может, бабы о нас загрустят,
отвыкая от нашего веса?
Ну, а нет — всё, что было, простят
за отсутствием
интереса.

Век мой, зверь мой...
О. Мандельштам

13. Мне мой век в крысиной злобе
бьёт в скулу, а следом в обе.

Я запомню, Бог простит.
Потащусь усталой клячей —
завтра будет всё иначе,
завтра шкету подфартит.

Я бранчлив, зато отходчив.
Где моя удача, Отче?
Где мой белый пароход?
Ничему года не учат.
В горсаду попса мяучит.
Копит слюни доброхот.

Я из тех, а не из этих,
у которых рыба в сетях.
Мне в субботу тыща лет.
День зудит навозной мухой:
кто не хочет, тот не слухай —
оглянись и плюнь вослед.

Что я вам? Я злое семя,
сам нашёл и выбрал время,
чтобы помнить и стареть.
Не хотеть, не быть, не зваться,
с этим веком торговаться...
И скулу потом тереть.

14. Стихи не пишут — их лелеют
и на ночь в вазочку кладут.
Стихами лечат и болеют,
благословляют и жалеют,
навек прощаются и ждут.

Стихи читают в голодуху,
чтоб, продираясь между строк,
искать не слышимое слуху:
раз плоть тоща, то время духу...
Потом иному будет срок.

У моей красивой мамы не проходит красота.
Людмила Копылова

15. Никакие обиды мне губы ожогом не стянут.
Вся округа уснула на тёплой руке бытия.
Исцелятся недуги и боли болеть перестанут.
И сирот обогреет красивая мама моя.
Я до завтра привыкну к ночным неприятным размерам.
К шевелению свода. К чешуйчатой коже воды.
И к тому, что проулком, одетый в тяжёлом и сером,
кто-то ходит и в глину до ранта вминает следы.
Дай мне, Боже, покоя, шафраном смочи мои веки.
Удиви меня знаньем и пьяным вином напои.
Ой, текут, ой, полощут водою высокие реки,
разливанные реки, высокие реки мои!

16. Иногда мне хочется стать знаменитым,
чтобы меня спрашивали, какая будет назавтра погода,
и, невзирая на вёдро, запасались бы зонтиками,
если я напророчу дожди.
Или чтоб девушки присылали мне письма,
прося посоветовать, выходить ли им за Иванова.
И потом оставались бы старыми девами,
безответно влюбившись в меня
на моём неудавшемся снимке,
где я что-то бубню в микрофон.
Часто я устаю от серьёзности мира.
Мне в нём хочется нахулиганить:
скажем, дёрнуть тайком за верёвочку — хлоп!
И в момент из-под купола вымахнет ветер,
ссыплет в кузов брыкающихся прохожих,
сдвинет дом с основанья и, в плеске брезента,
улетит в Тринидад, на Ямайку, к себе.
Я теперь понимаю Эйнштейна. Нет-нет,
не теорию — просто Эйнштейна
с той его фотографии, где он показывает язык
и таращит глаза на опешившего репортёра.
Я его понимаю родством наших душ,
обретеньем разгадок и общностью поясничной ломоты.
Понимаю, что если уж ты разобрался с твореньем
и постигнул его относительность, то
нет, по-моему, убедительней повода
показать ему кукиш, тем более — просто язык.
Я покамест до этого не дорос,
но вполне представляю себе, как Всевышний,
собираясь устроить в Австралии Новый Эдем
(это, кстати, проверенный факт),
мастерит для Адама и Евы
(она была страшно смешлива)
всяких там утконосов, коал и вомбатов,
предвкушая восторги и ахи своих подопечных.
Жалко, дело расстроилось из-за пустяка:
я имею в виду шум по поводу яблока.
Мне до сих пор непонятно:
раз Владыка всеведущ, выходит, Он знал наперёд,
чем закончится опыт? Так зачем тогда хлопать дверьми,
выгонять из квартиры, карать —
и всего-то за женское... — если бы! — девичье любопытство?
Но вернёмся к Австралии…
Господи, что за уроды!
Гипертрофированная индейка с преувеличенной шеей
до сих пор так и носится там на ходулях.
Двухметровой зайчихе Творец
пришпандорил на пузо карман.
Нашпигованный иглами ёж вырос в дикобраза.
Да, Господь, Ты умеешь шутить...
И поэтому, сделайся я знаменитым,
я, скорее всего, ограничусь прогнозом погоды.
Ну, а девушки и без меня
выйдут за Ивановых.

Марина Палей

Под небом Африки моей

повесть

Записки танзанийца Мазанивы Мвунги, налогового инспектора, сделанные им, по ходу служебных командировок, в различных населенных пунктах его родины, которые следуют ниже как названия глав. Перевод с суахили Татьяны Петровой-Ньерере.

MTWARA

У русских есть такая разновидность черта: анчутка. Это мелкий банный бес, примерно с кошку, название которого обеспечивает ему исчерпывающую характеристику. (Известны также и полевые анчутки, но они почти воздушны, эльфообразны; здесь же имеется в виду именно ремизовский *баенник*.) Ясно, что пейзанское существо это не грозное, а, напротив того, — мелкотравчатое, незлобивое, во многом даже ручное, свойское. Очевидно, не что иное, как прикомандированность анчутки к банному делу (вуайеризм, мелкие пакости и паскудства), объясняет эту его, как мне слышится, вертлявость, юркость, комическую кривизну тонюсеньких ножек, писклявое блеяние, гнусавость…

А есть кикимора. Это нечисть средней руки, которая принадлежит к совсем другому, нежели черти, семейству. Ее роды, виды, подвиды селятся на болотах; в наименовании кикиморы слышится гнусное хихиканье щекочущей саму себя хлипкой, зеленоватой антропоморфной поганки: осклизлой, скособоченной, долгоносой, тряской от икоты, зыбкой от мелких прыжков и ужимок, объевшейся мухоморами…

Гибрид того и другого дает Ваньку Телятникова.

SONGEA

Я учился вместе с ним в РИИСе (Российском институте изящной словесности). До этого постигал я романскую и славянскую филологию в Вашингтоне,

От автора | Публикация этой повести связывает для меня особую нить времени, отсчет которого начался моим дебютом — именно здесь, в «Знамени», — притом именно повестью («Евгеша и Аннушка», 1990, № 7), а затем прервался почти на двадцать лет. За эти годы в «Знамени» вышло несколько моих рассказов, но повести (если говорить конкретно об этом жанре) — «Поминовение», «Кабирия с Обводного канала», «Хутор», «Рая & Аад» — печатались в других изданиях.

Возвращение к «точке начала» совпадает, что неслучайно, с интонацией предлагаемого текста, которая, как мне кажется, несет в себе отголоски тех драгоценных лет… To make it short, «Я сижу у окна. Вспоминаю юность. Улыбнусь порою, порой отплюнусь» *(Иосиф Бродский)*.

но бурная, хотя и краткая, связь с молодой русской женщиной окончательно склонила меня в пользу славистики.

Так или иначе, осенью 198... года я уж был в Столице Империи. Тогда мне еще не приходила на ум схожесть Ваньки с персонажами русского паганизма — меня только постоянно мучило его явное родство с кем-то или с чем-то, кому (чему) я не мог в то время подобрать названия; сходство тем более беспокойное, что актерствовал Ванька напропалую, даже во сне — чему мне приводилось быть свидетелем. Иногда он напоминал мне пьяного муравья — иногда пьяного богомола (Mantis religiosa) — иногда пьяного комара — да, пожалуй, чаще всего как раз комара: творение, по сути, невинное, субтильное, мечтательное, имеющее пищей исключительно нектар цветов (это ведь только самки комаров являются кровососущим гнусом, поскольку приземлены за двоих). Как видим, единственную общность между перечисленными насекомыми, разнящимися, как лед и пламень, выражает аджектив «пьяный».

Что касается муравья: хотел бы сразу отсечь — особенно неуместные в Ванькином случае — ассоциации, подразумевающие, что трудоголик-муравей всю свою недолгую пролетарскую жизненку тащит и тащит куда-то тупую неизбывную тяжесть, многократно превышающую его собственный вес. Сравнение Ваньки с муравьем имеет в виду исключительно Ванькину внешность — причем сравнение не с упомянутым муравьем-фуражиром, а с большеголовым рабочим («солдатом»). Они обычно охраняют гнездо — и снова Ванькин (мягко говоря, несхожий) образ жизни тут вовсе ни при чем.

У Ваньки был большой просторный лоб — вдобавок удачно преувеличенный «умной», рано возникшей лысиной, — что оптически укрупняло объем его костистого лица, которое состояло, казалось, из сплошных выпуклостей и вогнутостей. Голова его и вообще казалась очень внушительной — и даже не соразмерной мелким плечам.

Аберрация зрения! Плечи у Ваньки казались иногда вовсе даже не мелкими, а, наоборот, вполне пропорциональными как голове, так и вихлястому телу, но Ванька, что я заявлю сразу, был существом двойственным — то циклопически-чрезмерным, то словно бы истаивающим на глазах до полного своего исчезновения — то есть он умел так оборотнически-ловко перетекать из обличья в обличье (причем, по его возмущенным воплям, ничего для этого не предпринимая), что с женщинами иногда случались даже нервические припадки.

Кстати сказать, уклон его внешности в нечеловеческие сферы обострялся еще за счет очков, которые, в совокупности с означенным лбом, химерически расширяли всю верхнюю часть его черепа, придавая Ваньке таинственность обэриутских чешуекрылых и перепончатокрылых, но чаще возрождая в памяти типичную картинку шестидесятых: головастик-марсианин с дружеским визитом.

MBEYA

Где я впервые заметил Ваньку? Кажется, на одной из первых же лекций.

Доцент, как это часто встречается у восточных славян, человек, отравленный черной желчью и одновременно до крайности сентиментальный, появился в зале намного позже положенного. В мрачном молчании, тяжко, взошел он на кафедру… мешковато на нее навалился… и взялся злобно обозревать полупустой зал*.

* *Руководство их страны как раз на этом отрезке эпохи издало Постановление «О мерах по усилению борьбы против чрезмерного веселия на Руси», вследствие которого стала строго-настрого возбраняться продажа алкогольных напитков ранее, чем с двух часов дня. Соответственно, по-*

Его лицо, особенно в зонах подглазий, состояло словно бы из приспущенных старых чулок. После нескольких минут ледяного душа, какой получили, возможно, и достойные мизантропии, но не готовые к ней слушатели, он медленно, с явным трудом разлепил свои гнилозубые, не знающие зубоврачебных истязаний уста, чтобы вытолкнуть первые порции звуков: хм… да нннну… ха!.. *(горькая усмешка),* да че там… *(ядовитое хмыканье),* все херня, все!.. *(презрительная мина),* да бросьте вы!.. да че там!.. *(кривая полуулыбочка),* не стоит и браться! — он ударил кулаком, — никому это не нужно… *(пауза).* Да-с… в первую очередь вам, вам это не нужно!.. ну, может, кому-то одному из вас всех это и нужно, одному-единственному! а жизнь закончит он, как и я, в канаве...

Реплики его из коротких бесформенных становились раз от разу длиннее и рафинированней, то есть тоньше, — словно он здоровенной скалкой раскатывал туповатое, туго поддающееся тесто... Воодушевившись, он даже принял относительно вертикальное положение. И, наконец, слово «канава», в определенном смысле ключевое — как для русской литературы (см. хотя бы *«Преступление и наказание»),* так и русской жизни (см. хотя бы и *русскую жизнь*), — видимо, пробудило в нем сокровенное воспоминание, то есть дало пусковой толчок всему заржавевшему маховику... «А кстати, — он страстно, словно покрывая корову, вновь навалился на кафедру, — кто-нибудь из вас знает, как звали жену Аввакума?!» — «Ма-а-арковна... Ма-а-арковна...» — прилежной рябью мгновенно отозвались девичьи голоса…

«Конечно, Марковна *(свойски-примирительно, словно о теще).* Да, стало быть, Марковна... Да… Так, стало быть, откуда это она с протопопом шла-то?» — «Из Сиби-и-и-и-ири!..» — писклявая девичья партия. — «Мно-о-ого месяцев!.. — назидательный хрип доцента. — Да по морозцу!.. да без провианту!.. да стерши ноженьки ажно по самые по коленочки!.. И чего ж тут с ней, с протопопицей нашей, приключается?» — «И, оступившись на камне осклизлом… — звучит голубиное соло отличницы, — и, оступившись на камне осклизлом, обрушивается она в яму...» — «В глубо-о-окую яму, — назидательно уточняет лектор и закуривает с невыразимым удовлетворением. — В глубо-о-о-окую, да-с. И о чем же она вопрошает, на самом дне сей глубочайшей ямы бездвижно лежа?.. даже без силушки чело ясное свое приподнять?..» — «Доко-о-оле... доко-о-оле мучиться... терпеть... доко-о-оле терпеть сие, ба-а-атюшка, доко-о-оле...» — послушно скулит разноголосая паства, оснащенная заблаговременными подсказками старшего курса. «Так-так-так-так-так, — лектор привычно стряхивает пепел на пол, — правильно!!. — И что Аввакум огнепальный-то женушке своей ненаглядной речет, над ямой глубокой низко склонившись?» — он обводит аудиторию ярко заголубевшими, словно газовый пламень, очами — победно, весело, зло.

(Правильный ответ, кстати сказать, таков: «До самой смерти, матушка». Это те же старшие курсы в общаге просветили. И то, что вопрос лектора риторичен, — тоже не забыли просигналить. Финальная реплика Аввакума, по ритуалу, должна произноситься самим лектором, — поскольку обожает он ее безмерно — и вкладывает в нее словно бы всю парадигму русской судьбы.)

И вот он начинает длить и длить свое наслаждение, культивируя его на входе в оргиастическую кульминацию: «И что ж Аввакум-то наш, ммм?.. и что ж

давляющая (и подавленная) часть населения, к которой относился и упомянутый доцент, до двух часов дня оставалась практически невменяемой, а более-менее приходила в себя, если повезет, примерно к четырем. Из этого уточняющего воспоминания я делаю вывод, что приводимая здесь лекция началась раньше двух.

Аввакум-то?.. и что Аввакум протопопице-то отвечает?.. и что ж он женушке своей, ммм?..» — слегка побледнев, он уже отверзает рот, чтобы страстно выкрикнуть девиз и оправдание всей своей забубенной жизни, когда позади аудитории, снизу, словно из-под самого плинтуса, невыразимо гнусаво — и в то же время гнусно-отчетливо — раздается козлиное:

— Больше литра — не пе-е-е-ей!!!...

IRINGA

Эту фразочку, которая, как вскоре выяснилось, была Ванькиной «коронкой», он произносил по многу раз в день. Главным образом она заменяла ему прощальные реплики. Причем Ваньке было наплевать, кто, собственно, оказывался пред его очами — собутыльник, сокурсник, декан, министр культуры, предводитель команчей, Рабиндранат Тагор — да хоть бы и Джавахарлал Неру.

В любом из этих случаев, окажись перед ним волшебно ожившие Тагор и Неру или ныне здравствующие — министр культуры, предводитель команчей, председатель Комиссии по правам человека — да хотя бы и сам Магомет в окружении принципиально не пьющих пророков, — Ванька Телятников в момент, когда менее затейливые индивиды говорят друг другу, по крайности, «бай», — без труда преображал свою рожу в козлиную и, под звяканье пустых, когда-то вмещавших соленые помидоры, банок для пива, с гнусной напутственностью проблеивал:

— Больше литра — не пе-е-е-ей!!!...*

Единственная вариация этой фразы, являющей собой не только прощание, но братское (а то и отеческое) назидание, заключалась в том, что, словно бы памятуя о международной деятельности Ким Ир Сена (которому в задвинутых Ванькиных стихах строчили письма задвинутые пионеры Империи), Ванька иногда проблеивал заботливый свой наказ сугубо по-иноземному:

— Ду нот дринк мо зэн уан литер.

Но это бывало редко.

MOROGORO

Вообще-то с русским языком, на данный момент, у меня совсем плохо. Моя мать, сколько ее помню, была одержима идеей, что род наш происходит из того же колена, что род Великого Русского Поэта. И что якобы наше ответвление (эфиопских чернокожих иудеев-фалашей, или фалашмура) переместилось из Абиссинии через Кению, сюда, поближе к озеру Танганьика и колыбели всего человечества. Одним из доказательств этой златой генеалогической цепи она выдвигала именно меня, утверждая, что я пошел целиком в своего четвероюродного прапрапрапрадядю — а иначе не тяготел бы так к их Столице, не любил бы русскую осень, театр, очинку перьев, сказки, няню, красивых женщин, игральные карты, детей — и не кропал бы стишков.

Я, конечно, бывает, пописываю стишки… так ведь это грешки приватного свойства: не печатаюсь… да и пишу-то вирши свои на суахили — так же, как и эти записки… Но с русским у меня — да, таки полный караул — точней выража-

* *Если попытаться воспринять смысл этой фразочки буквально, чего я делать не советую, то (к вящему ужасу эскулапов — и к профессиональному удовольствию патологоанатомов) он подразумевает, конечно, не вино и уж всяко не пиво, но доступные широкой потребительской массе жидкости от сорока градусов и выше.*

ясь, крандец… Вот уже двадцать лет служба налогового инспектора планомерно уничтожает в моем сердце русские разговорные обороты, выспренность поэтических определений, убийственную задушевность мата, фонетическую точность междометий… ну и так далее. В основном, я вижу у себя на службе мертвую цифирь — и не осмеливаюсь оскорблять этим мелким птичьим пометом райский, всегда майский русский язык, а своим рахитичным русским — никогда не решусь оскорблять римские шеренги цифр, которые иногда особенно остро напоминают мне цепочки большеголовых муравьев, то есть опять же, в конечном итоге, Ваньку.

KIBANA

Помню, как предложил я Ваньке в общаге (где он, коренной житель Столицы, постоянно ошивался) пакет молока и услыхал: это скоромное! православный пост, Маза, ты слыхал?

…Сейчас, через двадцать лет, я еще отчетливей вижу, как Ванька, сухим и точным движением мастерового, разливает армянский коньяк.

Происходит это непосредственно на лекции. Надо отметить, что Ванька отмеряет коньяк даже не по «булькам», то есть не на слух и счет, и уж тем паче не на глаз — все это было бы для него оскорбительно материально — нет: Ванькины болотного цвета очи завязаны черным шелковым шарфом сидящей рядом с ним воблообразной прибалтийской отличницы. Нечаянно попавшись в соседки к «сугубо мужской» компании, она как-то неопределенно хихикает. Черный, с серым отливом, шелковый шарф, скрывающий половину Ванькиного лица, вносит в эту сцену тонкий, хотя и незапланированный, эротический гедонизм самураев.

Коньяк разлит. Ванькины собутыльники (один из которых поэт-деревенщик, другой — индустриальный авангардист) стаскивают с его глаз повязку (близоруко улыбаясь, он надевает очки) и вполне по-родственному — знай наших, в-в-вобла!!. — подмигивают полуиноземной отличнице. Уместней было бы говорить даже и о *виртуозности* Ванькиного навыка, поскольку дионисийские чаши его друзей разнокалиберны: у поэта-деревенщика — бокал для шампанского с золотым ободком поверху и золотой же надписью «Ресторан САЯНЫ», у индустриального авангардиста — плоская жестяная тара от «Спинки минтая», у самого Ваньки — мутноватая майонезная баночка с сероватой наклейкой «АНАЛИЗ МОЧИ ученика 4-Б кл., 312 шк., Вити Хорошилова».

Троица сидит с краю, у окна, но (не повезло им) в центральном ряду: «блатная» галерка загромождена плащами и куртками. Наступает момент, когда дионисийцы испытывают сугубо техническое неудобство, связанное с переливанием жидкости в организмы.

Немного смущает преподаватель. Дело не в том, что он может оказаться уязвленным этой радикальной альтернативой своему, «полному дыхания легенд и преданий» предмету, а в том, что уста его, занятые ернической перепиской Ивана Грозного с князем Курбским, не имеют сейчас возможности быть орошенными этим же божественно клоповоняющим зельем.

Наконец они решаются*. Непосредственно перед тем каждый из троих издает несколько (обязательных для русских) таинственно-многозначительных

* *Если кому-то, лишенному исторической памяти, а также, вследствие недуга, памяти как таковой, а также подданным иностранных государств, не знакомым с основными вехами российской истории, это воздаяние Дионису — непосредственно на лекции — покажется странным, я вынужден буду снова адресовать их к объяснениям, даденным мной в предыдущей сноске.*

покрехтываний; при этом поэт-деревенщик степенно поправляет темно-зеленую шляпу с полями, которую надевает всякий раз, отправляясь в Столицу (и не снимает, похоже, даже под душем) — авангардист неожиданно крестится — Ванька же (вижу по губам) выдает долгожданное: поехали… (Какой негодяй учит иностранцев говорить в аналогичной ситуации «na zdorovje»?! Я перебывал в половине стран мира, и везде — не только случайные собутыльники русских, но и специалисты в области их литературы — говорят в означенной обстановке именно так. Просто диверсия какая-то!)

Дионисовы эпигоны — с соборным выражением на лицах («Прости нас, братан! За тебя тоже, братан!») — прочувственно кивают в сторону кафедры — и опрокидывают содержимое кубков в утробы, горящие адским пламенем вследствие жестоких распоряжений правительства. То есть, в соответствии с законами физики и человеческого сообщества, жаждущие освежиться вливают легендарный напиток Колхиды непосредственно себе в глотки (а не тянут его, в позе эмбриона, через соломинку, как дерзко предложил авангардист, — и даже не лакают под столом, как предложил более консервативный, но падкий на компромиссы деревенщик).

Я написал: «Иван, ты вчера отказался пить молоко, потому что Великий пост. А сегодня ты хлещешь коньяк. Как это понимать? Мазанива».

И передал записку вперед.

Я напряженно следил за Ванькиной реакцией. Но никакой реакции не было. Ванька, как всегда, ерзал, как всегда, что-то читал, чесал башку, поглядывал в окно… Потом разлил зелье снова (уже попросту, без шелкового шарфа) и, втолковывая что-то индустриальному авангардисту, небрежно похлопал себя по плечу.

Привычная эстафета ладоней принесла мне бумажный катыш.

Я развернул его.

На обратной стороне чека из гастронома было написано четкими печатными буквами:

«КОНЬЯК — ЭТО ПОСТНАЯ ЕДА. ИВАН».

LINDI

Следует сказать, что для Ваньки понятия «еда» в общепринятом смысле не существовало. А именно: он ничего не ел. И не так «ничего не ел», чтобы, как Васисуалий Лоханкин, ночью, втихаря, добывать из супа мясо, вздымая куртуазные фонтанчики ажурно нарезанной морковки. Он действительно — не ел. Ничего. Никогда. То есть принципиально не осквернял уста бренной пищей.

Примеры тому редки, но встречаются. Взять хотя бы арсеньевского (Бунин) наставника Баскакова, который был твердо убежден, что это сущий предрассудок, будто люди должны питаться: за столом его интересовала только водка да горчица с уксусом. По нестранному совпадению, отчество Ваньки было как раз Алексеевич; так что на его работе (о которой позже), куда со всей Столицы сползались выживать растерзанные то «безвременьем», то, наоборот, «ветром перемен» гуманитарии, Ваньку, за это сладостное имя-отчество, уважали вдвойне, обращаясь к нему не иначе как на «вы».

Да, стало быть, еда... «Твердую» пищу Иван презирал, процесс еды был для него извращением и пустой тратой времени. «Еда, — формулировал он, если собутыльники приставали к нему закусить за компанию, — дело свинское». (Иногда он менял определение на «свиняческое», «свинячье», «свиное», «свинюшное» — и даже «свинтусовское», — но не менял принципа.) С другой стороны, как мы только что убедились, у Ваньки была собственная классификация всего того, что, волею судеб, так или иначе попадает внутрь человека, и если под грифом «освежающие

напитки» у него шли одеколоны, спиртосодержащие капли, разнообразная бормотуха и, разумеется, пиво (о пиве отдельно, это был Ванькин крест), то в разделе «Ванькина еда», довольно скудном, числились коньяки и прочие горделивые высокородные пришельцы, с которыми встречался он нечасто.

Потому с моей стороны было немилосердно — и уж всяко бестактно (но я не знал тогда этих тонкостей!) — тревожить его своей запиской во время такого вот редкого, трепетного свидания с едой. Хотя не следует ужасаться, что Ваньке, видимо, нечего было есть — если в понятие «еда» вкладывать нечто среднеобиходное. Ужасаться не надо, поскольку, возжелай он удовлетворять пищевую нужду более-менее трафаретно, ему как раз нашлось бы, чем это делать, и даже более того: работал Ванька на Столичной газораспределительной станции.

Во время войны Станцию пришлось закамуфлировать от бомбежек. Закамуфлировали ее, как водится, под некий природный объект, в итоге чего (да не заподозрят меня в слепой любви к постмодернизму) на той богоспасаемой газораспределительной Станции было все: вишневый сад, тенистые аллеи, антоновские яблоки — и даже крыжовник. Ах, да что там — крыжовник! Разрывая путы цитат, из земли пер и сразу же плодоносил всякий овощ и фрукт, соприродный местному климату. А были, неотступным гладом и непрестанным терпением, выпестованы на той Станции даже и единичные, милые моему сердцу тропические образцы...

Хитрые на выдумку бывшие эмэнэсы (младшие научные сотрудники), легковерно выбитые из колеи соблазнами и каверзными красотами русской поэзии, сутки через трое наблюдали там вполглаза показания грозных газораспределительных приборов и, равнодушные к мысли взлететь на воздух (трубы на Станции были смонтированы еще до Второй мировой), с азартом приобщались к делу Мичурина.

И немудрено! Russian person, привычный варить суп из топора, притом в собственных пригоршнях, — или варить (это уже другой рецепт) яйца у себя в hot water (а также: in the hole, in the soup, in the tube*) — или выращивать на метровом балкончике густые джунгли петрушки, а под пленкой на подоконнике — помидорчики, а в коробке из-под ботинок — огурчики (на засол), а в кухоньке — цыплят, а в ванной — хавронью (или нутрию), а в самой ванне — как правило, мотыля, — неужели этот самый person да не развернется на стольких-то плодородных гектарах, какие щедро предоставляла ему в распоряжение Столичная газораспределительная станция?

Приволакивал Ванька оттуда охапки зелени, а еще — всякой редиски, морковки, гороха, а помимо этой мелочевки — большие, как свинцовые ядра, янтарные яблоки, — арбузы с их сочным сахарным мясом, лимоны, чьи прозрачные кружочки похожи на велосипедные колеса, и даже провиант посерьезней приволакивал Ванька — вроде картошки, капусты и свеклы. Куда он все это волок?

Ясное дело, в семью. А также к семейным друзьям. А также к бессемейным друзьям, в общагу. Ну и так далее. Мало ли в Столице сирых и страждущих?

Так что, пожалуй, безответственно я заявил, что не походил Ванька на муравья-фуражира… Сутки через трое, когда он выползал из ворот Столичной газораспределительной станции, походил.

DODOMA

Ванька всегда рад был освободиться от этого «свинского» груза не только из человеколюбия своего, но также и потому, что его неизменно обременяли две

* *В заднице* (американский сленг).

трехлитровые банки под пиво. Они были очень неудобны для переноса, поскольку, стоя в одной холщовой котомке, постоянно грозили разбиться — и притом, когда были пустыми, вызывающе-мерзко гремели. Ванька еще и дополнял эти непристойные звуки (особенно непристойные, к примеру, «на ковре» у декана, в плотной тишине, которая закономерно следовала за каким-нибудь грозным деканским вопросом) — точнее, Ванька добавлял дерзости этим неакадемическим звукам (что были, по сути, исчерпывающим декану ответом) своим кикиморочьим хихиканьем. (Эти зловещие позывные русского болота Ванькина *летняя жена*, о которой позже, называла, кстати сказать, не иначе как моцартовским смехом.)

Однако разделить банки (по разным котомкам) было бы сложней, чем сиамских близнецов. Несмотря на потусторонние связи с низовой нечистью, у Ваньки было всего две руки, а ему ведь еще надо было, ясное дело, курить, мочиться, поправлять очки — а также, дидактически уточняя, изображать указательным пальцем цифру один («один литр»).

Чаще я видел эти банки пустыми, из чего скоропалительно умозаключил, что полными они не бывают, что это такой лайф-артистический выпендреж, визитная карточка. Ну, таскают же дети-подростки с собой всякие феньки: привязанных к рюкзачкам медведиков, песиков, зайчиков — так почему б и не банки в котомке*.

И вот что меня удивляло. Ванька вовсе не осуждал — ни ближних, ни дальних — за регулярное откусывание, жевание, глотание, пищепереваривание и фекаловыделение. Глядя на эти проявления низменной природы, Ванька не морщился. Он никого не агитировал за принципиальный отказ от этого гнусного цикла. Он сроду не призывал питаться исключительно нектаром цветов, акридами или кавказскими коньяками. И я представить себе не могу, чтобы он вмазал по морде *человеку едящему*. То есть: намного опередив свое время, Ванька проявлял *толерантность* и *политкорректность* — когда в его пенатах никто еще и слов-то таких не знал.

SINGIDA

Тем не менее, дом его полной чашей не бывал сроду.

Наряду с Ванькой в «доме», т.е. в загаженной братеевской двухкамерной норке, мыкала судьбу его *зимняя жена* (Наташа), которую он (ласково растягивая «у») именовал «моя дура»; а также последствия их союза — Ким (в честь Ким Ир Сена) и Арсений (в честь Ким Ир Сена и Тарковского), которых называл он за глаза «мои выблядки» (в более размягченном состоянии — «спиногрызы»).

* *Вовсе не поэтому. Ближе с Ванькой сойдясь (и отчасти разделив с ним тернии потребителей пива), я узнал, что локальное начальство в своем административном рвении даже превзошло Постановление «О мерах по усилению борьбы против чрезмерного веселия на Руси», т.е. в Пунктах продажи браги полностью изъяло из оборота емкости для пивопотребления, а именно кружки. Данная «инициатива на местах» предполагала, что распитие этого напитка автоматически перейдет из мест видимых (публичных) в места невидимые.*

Вследствие вышесказанного граждане, имевшие в пиве жизненную нужду, смекалисто обходились самыми разнообразными емкостями, прибегая даже к полиэтиленовым пакетам (отечественного производства!), в силу чего перенос в них пива чаще всего ограничивался расстоянием в 0,5 метра. В наиболее счастливых случаях затаренное таким образом пиво поддавалось распитию лишь при условии дополнительных интеллектуальных и физических энергозатрат.

Я запомнил одного из его мальчиков, возраст которого, по виду, варьировал от восьми до четырнадцати, — разница колоссальная, но более точному определению этот параметр не поддавался, так как сын Ваньки напоминал ребятенка из повести «Дети подземелья»: правда, там мальчик был, кажется, темноголовый (так мне запомнилось), а этот был похож на белесый росточек — один из тех, которыми в могильном погребе покрыт сохлый картофельный клубень.

…Он стоял воробьиными своими коленками на тощих коленях у «папки» и, вцепившись ему в шею, пронзительно и неотрывно глядя ему в очки своими заплаканными, бледными, как тощее молочко, глазками, камлал, камлал, камлал, обливаясь слюной, какие-то эхолалические словобредни. Мне стало тогда страшно. Нынче ж, через годы, делать выводы не берусь. Никто, слава богу, ничего не ведает. Поэтому, хоть иногда, мне кажется, что еще есть куда жить.

TANGA

Помимо них, у Ваньки была, конечно же, Маржарета: упомянутая *летняя жена*.

Она писала стихи, официально звалась Маргаритой и, несмотря на энглезированное Ванькою имечко, была обрусевшей немкой. Полагаю, живи Маржарета на земле предков, она могла бы рассчитывать на кого-то с поэтической силой Ваньки — и поведенческим кодексом Гейне. Правда, Генриху Гейне и своей поэтической силы было не занимать, но имеется в виду, что если Маржарета уж так тяготела к мятежному (бурливому) типу поэта, то в Алемании, возможно, могла бы встретить его в более, что ли, оцивилизованном виде.

Мысли о лучшей доле для Маржареты возникали у меня неизбежно — хотя бы и потому, что в случае с ней безнаказанная жестокость жизни проявила себя со скоростью видеоклипа: болезнь матери — смерть матери — похороны матери — непристойно-скоропалительная женитьба отца — акселерированное, то есть через два месяца, рождение ребенка, зачатого тоже акселерированно, то есть гораздо быстрее, чем его производители пошли под благословение загса, — и вот, меньше чем через год после смерти мамы, Маржарета вдруг обнаружила себя в чужих декорациях пьесы, где роль для нее, Маржареты (бывшей Ритуси), не предусматривалась.

Из детей ее резко выперли; вообще детство прошло незаметно, как спуск на ленте эскалатора: она попала на незнакомую станцию, надо было куда-то ехать, куда — неясно, понятно было лишь то, что единственный путь попасть в укромный, сладостный мир матери и ребенка — это самой же родить ребенка — и стать ему матерью. Ивана она любила исступленно; девочка от него родилась мертвой; сама Маржарета лишь по чистой случайности не умерла в отягченных родах.

Я был как раз рядом, когда случайно, через семь месяцев, то есть с момента известия об ее беременности, Ванька натолкнулся на свою *летнюю жену* возле библиотеки имени Чехова — еле живую после родов синего трупика, с еще не вполне работающими почками, отечную, бледно-зеленую, молчащую. На Ванькин вопрос «Как жизнь?» она ответа не дала, хотя он и не требовал высокого IQ — да и шаблон от классика у русских всегда под рукой: *да так все как-то*… Нет, шаблоном Маржарета пренебрегла; она, похоже, вообще не понимала, что происходит.

А ничего и не происходило. Ванька закурил «Приму» (в котомке пару раз звякнули банки), почесал лоб, поправил очки и, уже собираясь переходить улицу, строго наказал через плечо:

— Больше литра — не пей.

MOSHI

Известно, что А. А. А. уличила Н. В. Г. в его нерусскости: дескать, зачем написал, что на въезде в город стояли два русских мужика и обсуждали, доедет ли то колесо до Киева. Она, А. А. А., подловила Н. В. Г. — ну вот как Мюллер подловил Штирлица: я знаю, штандартенфюрер Штирлиц, вы — еврей! — никак нет, группенфюрер Мюллер! русский я, русский!

Так и А. А. А: вот! Н. В. Г. выдал себя с головой! он точно нерусский! зачем-де подчеркивает, что мужики были русские? а кого он там предполагал увидеть? испанских грандов, что ли?

Самое поразительное, что почитатели А. А. А. находят эту реплику несказанно остроумной — находчивой, весомой, значимой — как, впрочем, и любые ее высказывания, включая междометия и звукоподражательные слова.

А вот возьмем другую цитату: «Мелькают в тучках, в низком русском небе редкие звезды... Дорога мучительно долга: десять верст в поле с русским мужиком — неближний путь...» Кто написал? Правильно, Бунин. О какой такой, кстати, поездке? — Да из Орла в родную усадьбу... Но писалось-то это уж во Франции... Равно как и Н. В. Г.: он прицельно разглядывал русских мужиков, будучи в Риме. Там они *особенно русскими* кажутся, разве так уж трудно это понять? Эх, Анна Андревна!..

Так что если меня кто на нерусскости будет подлавливать, так я сразу скажу: не претендую. Зовут меня Мазанива Мвунги, я сижу, прислонясь к пальме, подо мной — пески народа хехе, надо мной — снега Килиманджаро и танзанийские звезды.

BABATI

Наташа и Маржарета любили Ваньку. Но не любили друг друга.

Что мне кажется неразумным.

Маржарета, как могла, укрепляла семейную жизнь Наташи. Кабы не рыжая поджарая Маржарета, Ванька, при единой Наташе, окончательно слетел бы с катушек. А так ничего, вкусил гармонии между семейным и внесемейным счастьем. То есть Наташа, традиционными ухватками дебелой клуши, выгодно оттеняла богемные замашки нервической своей помощницы. От которых Ванька с наслаждением отдыхал на обильной, хотя дрябловатой, затекавшей уже и в подмышки, материнской груди Наташи. Т.е., не будь у Ваньки одной из двух означенных жен, создававших динамическое равновесие, он, чего доброго, и в тюрьму угодил бы. Но сложилось так, как говаривают: *ласковое телятя двух маток сосет.*

Результаты этого удвоенного сосания не замедлили сказаться. «Давай себе возьмем Ритиного ребеночка, когда родит», — предложила Наташа (узнавшая о беременности Маржареты даже раньше супруга).

Происходило это вечером в «зале», то есть в помещении восемнадцати метров квадратных, занятом раскладушкой, щербатым столом, диваном, всегда застывшим на полуфазе своей трансформации в двуспальную кровать, фанерным шкафом со встроенным в дверцу овальным, рябым, как березовый ствол, зеркалом — и отраженным в нем кифо-сколиозным фикусом. Через мгновенье зеркало отразило Ивана Алексеевича Телятникова, который — схвативши ее за жиденький «конский хвостик» — охаживал-поучал драным ремнем тоненько взвизгивавшую супругу свою, Наталью Николавну Телятникову, урожденную Волкову.

ARUSHA

Я знаю нюансы Ванькиной жизни по двум причинам. Первая заключается в том, что Ванька, склонный к сумасбродствам и лицедейству (не исключаю их взаимную связь), избрал меня своим, что ли, Санчо Пансой. Ну, в определенном смысле, то есть в силу хотя бы и роста, я не вполне подходил на должность этого круглого, как пончик, оруженосца. Я был тощ, голенаст, энергично вытянут вверх — то есть возвышался над морем моих солнечнокожих русских собратьев, словно аспидный перископ.

Однако случилось так, что Ванька отбил меня, в самом начале учебного года, от стаи стихийных последователей графа Жозефа Артура де Гобино, которые с криками *срань черножопая* и *крыса недоебанная* избивали меня ногами за общежитским мусорным контейнером. Как мне потом рассказывали (сам я, конечно, не видел), Ванька выхватил из котомки свои легендарные банки — и одной, с размаху, запустил в самую гущу де-гобинских неофитов — а из другой, саданув по контейнеру, сделал весьма-таки внушительную «розочку»… Я отделался переломами двух ребер, выбитым зубом и порванной уздечкой языка.

Ваньке постоянно нужны были зрители, восторженная публика, фанаты. По этой части он был словно с цепи сорвавшимся. То есть, став его «ординарцем» (ладно, назовем так), я, конечно, начал невольно привлекать к нему неизмеримо больше внимания; когда же публики в распоряжении Ваньки не оказывалось, зрителем-за-всех становился я сам.

А вторая причина моего о Ваньке многознания связана с тем, что я у него время от времени жил. Вот, например, как и в то лето, когда его зимняя жена была, как обычно, сослана с детьми в деревню, а Ванька, перейдя на летнее расписание, полностью нацелился на Маржарету… Но тут я признался ему, что посумасшедшему влюблен в питерскую поэтессу, двумя курсами младше, похожую, клянусь моей жизнью, на Lauren Bacall. В общаге меня бы из-за нее линчевали, да и моей богине эти комсомольские ку-клукс-клановцы вряд ли калачи бы медовые уготовили. Ванька сказал мне на это лишь: а, понятно: Маза ищет хазу. Бросил мне связку ключей — и не забыл по-отечески предостеречь:

— Больше литра не пей.

MUSOMA

Жилище у Ваньки, как и он сам, было исключительно элегантным.

В холодильнике хранились сочинения Владимира Соловьева: десять томов дореволюционного издания. Все они были нарядно одеты льдом, и я понял, что русская философско-религиозная мысль не протухнет здесь никогда. Заглянув в морозилку, я раскопал там ножом, среди белоснежных айсбергов и торосов, одинокий темный предмет, который с голодухи принял за съестное. Но это было сапожное шило.

Телефонный аппарат, поднятый с пола, клацнул и начал распадаться в руках, несмотря на разнообразие ярких резинок, веревок и грязноватых ленточек, которыми, словно знахарь в танзанийской деревне, он был густо препоясан. К моему удивлению, телефон работал. Следовало только подобрать ему правильное положение в пространстве и уж после того не дышать. Однако (как я понял чуть позже, а часы незнания стоили мне многих терзаний сердца) у него был сломан звонок. Моя Lauren Bacall обещала дать знать о себе, и вот — ни гу-гу.

Хоть я и родственник Пушкина, а смирить гордость пришлось. И — о чудо! Стоило мне лишь поднять трубку — я мгновенно услышал ее низкий, прекрасный, как виолончель, голос! В дальнейшем это волшебство повторялось. У нас

установилась телепатия: мы звонили друг другу почти одновременно — она на пару секунд раньше. То есть, когда я поднимал трубку, чтоб позвонить ей, голос моей богини был уже там! И — ни одной осечки. Ни разу. Таким образом, необходимость в банальном звуковом сигнале отпала… Правда, Ванька мне потом объяснил, что дело не во мне и не в ней — а в его, Ванькином, телефоне — и что у него так всегда и со всеми.

Я не мог не поверить. Вот потому-то речь здесь идет не про меня — и не про нее, которая, увы, так и не стала моей женой, — а про Ваньку.

P.S. В остальном это была типичная квартира вполне *определенного слоя* Столицы (ярлык ему давать избегу): обилие икон, пыльных журналов и тараканов.

MWANZA

Если бы меня спросили, какой именно эпизод я вспоминаю в связи с ним чаще всего, я б ни секунды не думал. Вот эпизод-эмблема, состоящий, возможно, из сотни схожих, которые моя память, под давлением лет, ужала до одного-единственного — и я вовсе не «вспоминаю его чаще всего» — он со мной неразлучен.

…Ванька читает какую-то книжку — на изодранном до золотых пружин диванчике своих «спиногрызов». Книжка в левой руке — в правой, ясно дело, сигарета. Время от времени Ванька рассеянно опускает свою десницу, чтобы стряхнуть пепел. Сначала может показаться, что он стряхивает его непосредственно на пол — совсем как доцент древнерусской литературы. Но это не так.

Посреди густо разбросанной рухляди, детских игрушек и бумажного сора, что, в целом, резко сокращает обзор, лежит круглый — старомодный, довольно массивный — будильник «Рассвет». Он именно лежит — циферблатом кверху — и точно подпадает под рассеянную десницу Ивана Алексеевича.

У будильника нет стрелок. Но — ох, куда уж там Бергману! Самое важное — дальше. У будильника нет передней крышки — стеклянной, чуть выпуклой — должной защищать слегка «утопленный» циферблат...

Образованная таким образом емкость полна окурков и пепла.

То есть: Ванька-мудозвон превратил будильник в пепельницу, даже в плевательницу. Или так: Ванькин будильник превратился во все это сам, под жестким давлением Ванькиных обстоятельств.

Вот он, асимметричный ответ русского пофигиста — Времени, Забвению, Вечности.

Так и вижу этот натюрморт.

Куда уж там Бергману.

BUKOBA

Вообще-то он родился, если ему верить, в «благородной семье», чуть ли не от брака дипломата и секретарши — притом где-то там в Праге или Варшаве… Какая разница? Отпечатков ни той, ни иной среды на нем не было никаких, он сам себе был среда — и сам, волне нестесненно, мог отпечататься на ком угодно.

Во что я верю безоговорочно — он был талантлив с рождения, причем щедро, бурно и бестолково. Помню, рассказывал (мятежно жестикулируя), как в четыре года исполнял сочинения Паганини… Ну, не знаю, как насчет Паганини, но я неоднократно видел, что, заслышав по радио скрипку, он, продолжая свой всклоченный треп, становился белым, как мел. Однажды, во время какой-то самой высокой, невыносимой, оргиастической ноты, стакан в Ванькиной руке словно бы схлопнулся… из кулака на пластик кухонной столешницы закапала кровь…

Скорее всего, он был превозносим — учителями, родителями, публикой — до той поры, пока у него не стали пробиваться, скажем так, усики.

А вместе с ростом усиков замедлился как-то его искрометный полет. Из «гениального» он стал «талантливым». Потом — «богато одаренным». Потом — «способным».

Потом он спустил маленькую фотку Уильяма Джеймса Сидиса в унитаз — и разделил с ним лютую судьбу вундеркиндов.

KAGERA

Всякая счастливая семья несчастна по-своему.

Конечно, Ваня и Наташа знавали иные времена.

Вот какими я их себе представляю.

Бывало, он, перед тем как ринуться на свою угрюмо-стыдливую Данаю, то есть некоторое время стоя возле супружеского ложа, бойцовски пощелкивал членом по плоскому своему животу… Зло и лихо, очень даже хищно пощелкивал… Демонстрировал, то есть, военную мощь, как оценили бы политические журналисты. А пупок Ванькин в те поры был похож на вертикальную прорезь в американском игровом автомате… Ух! так и хотелось бросить туда монетку! Но, с годами, щелка приняла горизонтальное положение… а там и вовсе превратилась в горестный, будто плачущий, ротик…

Да: жена… Ванькин боевитый уд как-то быстро увял в ее утробе… Возможно, он был изжеван и высосан этой мощной крестьянской утробой слишком уж домовито… Слишком уж по-хозяйски (на семя, потомство) утилизирован…

И, в присутствии супруги, стал походить на идеальный плотницкий отвес.

Жена… Можно сказать (я видел фотографии), что ее компактные в прошлом губки сияли, как сочные вишенки; они были щедро покрыты польской помадой — словно для защиты от вредителей сада… Но после первой же Ванькиной алкогольной пятилетки ротик ее был уже тускл, скорбен, мелко присборен, затянут, словно бы на шнурок, и, в целом, напоминал анус.

Снимаемый на ночь ее бюстгальтер — из нежного, почти невесомого, похожего когда-то на лепестки нежнейших цветов и крылья стрекоз — незаметно превратился в два прочных, довольно вместительных кошеля под картофель. Однажды подойдя к зеркалу и взглянув на живот, дополнительно обезображенный вертикальным шрамом после женской хирургической операции (отчего жир стал откладываться как-то резко несимметрично), она вдруг поняла значение фамилии «Кособрюхова»…

Слезы свои она в юности яростно вытирала кулаками (словно втирала, отчего щеки ее румянились еще жарче), — в ранней молодости то рассеянно смахивала, то стряхивала — по-мужицки лихо и зло, как обильный пот, а в том неопределенном возрасте, в какой она навсегда угодила с Ванькой, Наташа научилась словно бы *выковыривать* свои мутные редкие слезки — вот так, по-бабьи, скрюченным досуха мизинцем, слезу за слезой.

KIGOMA

В то лето, когда Ванька наградил Маржарету плодом ее чрева, он все равно не жил у нее постоянно. (Она работала кем-то в трех библиотеках сразу — и снимала комнатку в Ясеневе.) Нет, не жилось у нее Ваньке: то и дело возвращался он в свое Братеево, на привычное лежбище.

Дело, конечно, законное. Но… Но омрачалось оно для меня тем, что, несмотря на обладание второй связкой ключей, которые я специально для него

сделал, Ванька взял себе за правило попадать в упомянутое лежбище непременно через окно.

Ну как — «попадать»? Телятниковская конура располагалась на четвертом этаже девятиэтажной коробки с лифтом. Однако Ванька (зверски перекашивая при том багровевшую рожу) предпочитал ползти вверх по ржавой водосточной трубе. Это ритуальное его мероприятие проходило следующим образом.

Сначала он орал на весь двор: «Ма-а-а-а-за-а-а-а!!!..» и, когда я высовывался из окна, приступал к альпинистскому восхождению. Время от времени он задирал свою большелобую очкастую голову и глядел, как я, словно чокнутая кукушка настенных часов, то и дело судорожно выглядываю в окошко, издавая кукующие междометия на суахили.

Где-то посередине своего вояжа в небеса Ванька обычно делал «привал», то есть доставал из кармана чекушку и, стоя в полстопы на хлипком подоконнике чужой квартиры — словно фольклорный пастушок с пастушьим рожком, — нежно-нежно охватывал его, рожок то есть, алчущими устами…

Я окаменевал на метровом балконе…

Утолив жажду, Ванька орал:

— Маза! Зе роуд ту хелл!!!*

Это означало, что на его раздолбанном кассетнике я должен найти соответствующий номер Chris'a Rea… Если я делал это недостаточно расторопно, в окно влетало гнусавое:

— Маза фффакер! Зе роуд ту хелл, я сказал!!!

Иногда в окна, пролегавшие по Ванькиному маршруту, выглядывали соседи, но, признаться, не часто. Они дальновидно избегали траты времени на дальнейшие свидетельские показания…

Вот мне видится, словно со стороны, как я лежу возле заброшенного под стол, почти развалившегося кассетника… Мой дрожащий палец еле попадает на кнопку… попадает все же… Освобожденным джинном, с размаху, шарахает по ушам Chris Rea:

Well I'm standing by a river…
But the water doesn't flow…
It boils with every poison… you can think of…

— Врубай, Маза, на полный! — влетает в окно. — На всю катушку врубай, фффа-а-а-ак йууу!

И я, на максимальных децибелах, врубаю с начала любимый Ванькин кусок:

Well I'm standing by a river…
But the water doesn't flow...
It boils with every poison… you can think of...
And I'm underneath the streetlights...
But the light of joy I know...
Scared beyond belief… way down in the shadows...
And the perverted fear of violence...
Chokes a smile on every face...
And common sense is ringing out the bells...
This ain't…no… technological breakdown...
Oh no… This is the road… to Hell!..

* *Искаженное «The Road to Hell» («Дорога в ад»,* англ.*).*

— Негр стал белый, как мел, — и наклал в штаны, — обычно именно с этими словами Ванька перегибался через свой подоконник и валился на пол.

TABORA

Иногда во время его аттракциона со мной находилась моя ненаглядная Lauren Bacall. Тогда Ванька получал, соответственно, двойное садистское наслаждение…

Менее всего мы с Lauren были успешны в наших от Ваньки побегах. Как правило, даже полярно расходясь в телесных устремлениях (после ночи любви мы хотели есть, он — только выпить), Lauren и я никак не могли от него оторваться.

Под предлогом «склеиваю лыжи без опохмелки» Ванька затаскивал нас в ближайшую братеевскую аптеку. Там он закупал горы флакончиков-пузырьков со спиртсодержащими каплями и, одним махом сметя их в свой фельдшерский саквояж (это был его второй, после холщовой сумки, фирменный «аксессуар»), отваливал от прилавка.

Стекляшки бодро погромыхивали в его саквояже, и разноцветные жидкости в них посверкивали скромной фармакологической отрадой: от глаз, от ушей, от головы, от живота — от жизни как таковой. Поставив саквояж на подоконник, Ванька начинал стремительно, словно фокусник-самоубийца, опрокидывать флакончики-пузырьки себе в пасть. В этот момент он, как правило, просил Lauren подержать его котомку с банками, а меня (словно я был Христос, а он — расслабленный) — поддерживать его самого. Испив все почечно-ушные и желудочно-глазные капли, Ванька всякий раз умудрялся вырываться из моих рук и — с дикими воплями: ой, помираю!!! — начинал, корчась, как роженица, кататься по искусственному мрамору аптечного пола — из конца в конец, из конца в конец. Когда его вышибали на улицу, он, ничтоже сумняшеся, продолжал свой аттракцион под открытым небом — катался, вопя и взвизгивая, по лужам, по листьям, по брусчатке, по обильным собачье-кошачьим экскрементам… ну не по персидским коврам же…

Мы не уходили, чтобы оберечь его от ментов.

SUMBAWANGA

Однажды, сразу после аптеки (как всегда, взявши меня с Lauren изначально в заложники), Ванька купил пару соленых огурцов. Они были широкими и плоскими, как разношенные шлепанцы. Та же самая бабка, ловко применив камуфляж из веников, продала Ваньке бутылку сладкого шампанского.

Рядом располагалась детская площадка. Детсадовские питомцы разноголосо попискивали в песочнице; толстые, грубо разукрашенные воспитательницы сплетничали непосредственно возле. Ванькино врожденное лицедейство, видимо, подсказало ему, что более благодарных зрителей грешно и желать.

Он примостился под отдаленным грибком-мухомором и, не вынимая шампанское из фельдшерского саквояжа (возможно, то был саквояж все-таки акушерский), начал там, в нутре саквояжа, его открывать. Эта операция вслепую была не менее рискованной, чем акушерский *поворот на ножку* при поперечном положении плода — и требовала, пожалуй, не меньшей квалификации. Наконец, миновав створки полуоткрытого саквояжа, обильная белая пена пошла верхом.

Это был Ванькин бенефис, он же триумф. И то сказать: минуло лишь одиннадцать утра, а он уже запустил башку в саквояж, и вот — лакает себе там, как

сказано в народной кинокомедии, опохмелку «аристократов и дегенератов»… Когда башку свою он наконец вытащил — ошалелую, словно новорожденную, сплошь в Боттичеллиевых пузырьках серебристой пены, — вокруг него таращили глаза большеротые детки, напрочь позабывшие про свои лопатки, формочки и песочные куличики. Это ли не успех?

Более того: от стайки воспитательниц отделилась самая-пресамая грудастая — и решительно двинулась к Ваньке — очевидно, не в силах противиться мощной гравитации его очарования. Тут Ванька вытащил бутылку на свет. Захлебываясь и кашляя, он принялся «добивать» свое изысканное лекарство, при этом, конечно же, и обливаясь им вследствие еще не до конца восстановленного равновесия. По-крестьянски крупно и степенно откусывая, заедал Ванька зелье-шампанское мятыми солеными огурцами… Пережевывая эти и без того словно бы жеваные огурцы, Ванька задыхался, хрипел и мычал, словно загнанный волком теленок… Но этого ему было мало: он выл и рычал, как загоняющий теленка волк… Детки благодарно смеялись… Еще приближаясь, воспитательница вежливо начала:

— А ну вали отсюда, ханурик. Ишь, прилабунился, вонь стоеросовая…

И, шагнув под грибок-мухомор, наотмашь хлестанула Ваньку резиновой детской скакалкой.

Но Ванька не растерялся. Он вывернулся от женщины-педагога, в пару прыжков достиг детской горки, взмыл на нее соколом и, помогая себе огурцом, взялся жестикулировать:

Приятен вид тетради клетчатой!
В ней нуль могучий помещен!
А рядом нолик искалеченный!
Стоит, как маленький лимон!!

О вы, нули мои и нолики!
Я вас любил, я вас люблю!!
Скорей лечитесь, алкоголики,
Прикосновением к нулю!!

Нули — целебные кружочки!
Они врачи и фельдшера!
Без них больной кричит от почки!
А с ними он кричит «ура!!».

Когда умру, то не кладите,
Не покупайте мне венок!
А лучше нолик положите
На мой печальный бугорок!!
На мой печальный бугорок!!
На мой печа-а-а-альный бугорок!!

Стоявшие вблизи детки начали плаксиво кривить рты… И тут Lauren пришла в голову идея. (Очевидно, ее натолкнул на то упомянутый в стихотворении «маленький лимон».)

— Иван Лексеич, — пропела она бархатным контральто, словно незабвенная Marian Anderson, — помоги нам, сударь, пожалуйста, немножко фруктиков купить…

Иван Алексеевич так и ринулся со своего постамента. Помочь он всегда был рад! Мы подволокли его к автобусной остановке, возле которой, под навесом, на

манер туркменских халатов, ярко полосатились арбузы, частично взрезанные до сочного, кроваво-красного мяса — и, словно соблазняя призраком исчезнувшей Янтарной комнаты, золотились дыни… Lauren выбрала самый большой, почти неподъемный арбуз — и самую увесистую дынищу — имперскую, словно бы с экспозиции ВДНХ… передала мне… расплатилась… «Зачем нам столько?..» — успел шепнуть я. Но тут подошел автобус…

— Телятников, — крикнула Lauren, — подержи-ка! — И, выхватив плоды у меня, вдвинула Ваньке в подмышки то и другое.

Так и запомнил я его, уплывавшего в окне этой раздолбанной муниципальной колымаги: растерянного, обманутого — руки в раскорячку, под одной — громадный арбуз, под другой — громадная дыня, в одной — котомка с банками, в другой — фельдшерско-акушерский саквояж, очки сползли на кончик носа… хармсовский персонаж, да и только…

— Зачем ты так, Lauren? — шепнул я ей в персиковое ушко. — Это жестоко…

— Подумаешь, непротивленец!!. — вскипела моя богиня. — Миротворец, тоже мне, понимаешь!..

И, слово за слово, мы рассорились навсегда.

DAR ES SALAAM

«В тридцать лет люди обычно женятся, — пытался оправдать себя Пушкин, — я поступаю, как люди». И поступил, как люди.

А я поступил, как Пушкин.

Результат — что у Пушкина, что у людей.

Одна моя отрада — воспоминания о Ваньке. Почему? Кто бы объяснил…

Наше общение не было безоблачным. Доброхоты очень старались. Мне они нашептывали: зачем ты связался с этим брандахлыстом? алкашом? отребьем? А ему, соответственно: зачем тебе эта черномазая обезьяна?

Ну и так далее. Я другой такой страны не знаю…

Но и без активной помощи русских людей, для которых характерна *всемирная отзывчивость*, между нами случались стычки. Например, однажды я выкрикнул Ваньке примерно следующее (оцените мои достижения в русском разговорном): если ты, коззззел, еще раз, бля, залезешь сюда по трубе, я, на хрен, просто свалю с твоей хазы! Он побледнел… Но, я видел, угроза подействовала. А я уже разогнался, мне было мало: я ему посоветовал («устал от тебя, Ванька!») закрепиться на лето у Маржареты — и в Братееве не появляться вообще… Вот именно тем самым летом, пребывая у своей любовницы беспрерывно, он и сделал Маржарету беременной… Но что поразительно: при первой же нашей осенней встрече в институте, выложив это горестное известие, он кинулся мне на шею (для чего мне пришлось сильно пригнуться) — и пошли жаркие причитания:

— А ведь ты, Маза, меня предостерегал! Ты, Маза, ты один! Ты говорил: Ванька-дурак, не ходи, блин, не ходи к Маржарете!.. Не ходи, Ванька, козленочком станешь! Козлом, вашу мать, отпущения!..

Кстати сказать, «козлом отпущения» он все равно оказался — и сейчас, когда мне на двадцать лет больше и меня терзают неизбежные гумбертовские мечтания, Ванька стал мне еще ближе. Дело в том, что, забросив скрипку, он закончил когда-то химический институт… И вот, в надежде подзаработать, весной того года, о котором речь, он пошел репетиторствовать. В апреле Ваньку наняли родители девятиклассницы — натаскивать ее по химии; к Новому году она родила девочку.

MKOANI

Цыганка напророчила Пушкину смерть от «белой головы»…

В мае 199... (последнего года моего обучения в РИИСе), в яркий солнечный день, для какой-то надобности привелось мне проходить мимо Киевского вокзала. Я покупал мороженое, когда, незаметно отделившись от стены, ко мне подкатилась старая, как ведьма, крашеная цыганка. От нее разило гнилью и сероводородом. Чтобы отвязаться, я сразу же сунул ей деньги. Но, видимо, желая показать, что дармовщина ей не нужна, гадалка, уже у меня за спиной, внятно реализовала свою сервисную услугу:

— Баклажанчик ты мой аметистовый!.. — голос был сиплый и отвратительно-внятный. — Запомни: примешь смерть от белой головы…

Я взялся было возразить: тетя, они же все вокруг белые!..

Оглянулся…

Старуха словно растаяла…

И ничего в тот год зловещего не происходило, ничего не происходило вообще, кроме закономерного развала их Объединенных Эмиратов, до чего мне не было дела.

Правда, обнаружили себя словно два предвестника еще более грозных событий, но о них чуть позже, потому что они, как я думал, перечеркнули в моей душе образ Ваньки на веки вечные.

А так — все шло по накатанному: в холодное время года полулегальная Маржарета регулярно возвращала Ваньку по месту прописки, в Братеево, подводила к дверям его трущобы, прислоняла лицом к стене, нажимала на кнопку лифта, затем на телятниковский звонок — и пулей в лифт обратно заскакивала. Ванька, видя перед собой вертикальную плоскость, оказывался не в силах бороться с благоприобретенным рефлексом и, пока Наташа — вытирая руки, или выключая конфорку, или вылезая из-под душа — достигала двери, он, вытащив из ширинки свой чупа-чупс (что свидетельствовало о не самой тяжкой стадии его опьянения), обильно мочился на дверь — но не на свою, а почему-то всегда на соседскую…

Иногда обе они, Наташа и Маржарета, теряли Ваньку из вида — и тогда, поочередно вооружившись шестом, сосредотачивали свои поиски на дне пруда, который располагался возле Ванькиного места жительства. Пруд был овален — со множеством овальных же, вытянутых островков посередке — и смахивал на лекало. Летом поиски осуществляла летняя жена, зимой — соответственно, зимняя (пруд, отравленный стихийно синтезированными антифризами, в морозы не замерзал).

Что еще? Ну да: наконец происходил переход на летнее время — и вскоре наступало лето. («То переход на летнее время, то переход на зимнее время, а жить-то когда?» — как говаривал Ванька.) Той весной ему как раз где-то свернули шею (в прямом смысле), и он носил изящный гипсовый корсет, который, оставаясь некоторое время белым, выглядел, как богатый воротник испанского гранда.

И снова Ванька заходил в аптеку — только уже не в братеевскую, а в ясеневскую, потому что снова, несмотря на традиционную ссылку Наташи с детьми в деревню, предпочитал жить у Маржареты («хоть какое-то разнообразие»). Теперь, невольно выглядя, как *благородный идальго* (вот! т.е. опять же зря упрекала Гоголя дезориентированная невыездным своим положением А. А. А.), он и покупки делал иные. К означенному здесь полудню уже опохмелившийся (законы давно ослабли), иными словами, благостный и даже просветленный, он зашел купить презервативы.

На продавщицу это не произвело ни малейшего впечатления. Ваньку, признаться, ее равнодушие несколько огорчило, потому что такое респектабельное

приобретение делал он впервые. Даже вдвойне респектабельное, потому что *эссенция цивилизации* сменила название — с «Резинового изделия номер один» на «Кондом *РАПСОДИЯ* с усиками», «Ароматизированный кондом *ХАРИЗМА* с силиконовыми ресничками», «Super-прочный кондом *МАТАДОР* с дополнительной смазкой» и т. д. Видя со стороны аптекарши такое неглежирование, Ванька (неожиданно склочным голосочком) потребовал на сдачу затычки для ушей. (Еще одна пижонская покупочка, чего уж там.) Получив требуемое, он воззрился в мутные очечки продавщицы и вопросил:

— А вы знаете, *кому* я покупаю эти затычки?

Квашня в желтоватом халате раздраженно поморщилась:

— Мужчина, задерживаете очередь!..

Но гордость, а может, гордыня заставила Ваньку ткнуть пальцем в хихикающую Маржарету:

— Вот ей!.. Поняли? Ей…

Затем, полагая, что аптекарша (равно как и очередь) не до конца поняла пикантность ситуации, уточнил:

— А знаете — *почему* я ей их покупаю?

Желтоватая квашня выдала автоматическое:

— Сами себя задерживаете, мужчина!!

Но Иван, вдохновленный терниями, выдал громко и даже не гнусаво:

— Потому что я — храплю!.. Вот так… — он изобразил гнуснейший из храпов. — Теперь — понятно?

Так, прибегнув к самым изысканным формам куртуазности, он сообщил населению Ясенева о переходе своего семейного положения на летнее расписание.

UVINZA

И вот он исчез. Исчез навсегда, можно ли в это поверить? Казалось, так и будет без конца длиться эта волынка, через запятые, запятые, а он поставил многоточие — исчез…

Его искали в общаге, искали на чердаке и в подвале у Маржареты, искали у той, которую он так эффективно натаскал по химии, традиционно искали в пруду, обшарили все углы и закоулки газораспределительной Станции… Сыновья, Ким и Арсений, написали совместно поэму: «Папу Ваню НЛО на опыты украло», за что были дальновидно поколочены Наташей, желавшей, видимо, таким образом выбить из них смертоносные гены графоманства. Участковый, принимая заявление, напомнил, что в стране каждый год бесследно исчезает сто тысяч человек, так что пусть заявительница особенно не расстраивается. Наташа, решив, что Маржарете и таких-то слов утешения никто не скажет, поехала к ней, и они, обнявшись, поплакали.

И все это я узнал от третьих лиц, находясь уже дома, в Танзании.

…С тех пор мне все время кажется, что Ванька может вынырнуть передо мной в любую минуту. Прошло уже двадцать лет…

Я вот думаю: что именно могло с ним случиться? Может, новейшие русские гангстеры используют его в каких-то своих целях, и вот — сделали ему пластическую операцию? Или, может, он решил пробраться на родину Ким Ир Сена? Да что угодно. Однако чаще всего крутится в моей голове следующая версия.

Дело в том, что Ванька ползал по водосточной трубе не только у себя дома, но и в общаге. Ночью водка заканчивалась, а вахтер запирал наружные двери уже в час. Вот поэтому и возникала *как бы* необходимость в таком роде экстрима — вернее говоря, эксклюзивного спорта.

Недалеко от общаги располагался таксомоторный парк. Это было воистину русское воплощение Джамбхалы* по части спиртного. Там, в любое время суток, можно было купить алкогольную продукцию буквально сказочного диапазона. Мне даже сдается, что русские, которых более рациональные этносы занудно упрекают в непрактичности, решили здесь продемонстрировать исключение, подтверждающее правило. То есть более мне нечем объяснить мудрость этого *триединого комплекса*, куда изначально входило общежитие РИИСа, таксомоторный парк и Станция скорой помощи.

Правду сказать, в походах к таксистам не было такой уж острой необходимости: на втором этаже общежития польское землячество от зари до зари спекулировало спиртным.

Но есть традиции. Их следует чтить. Особенно традиции, омытые кровью. А от таксистов редко кто возвращался целым. Работники таксомоторного парка, возможно, не без помощи медсестер со Станции скорой помощи, были научены мгновенно распознавать жизненную потенцию у посланцев от изящной словесности. И, если потенция эта трепыхалась на манер полудохлого комара, посланец муз бывал избит, лишался денег, шапки, ботинок — и вообще всего того немногочисленного, чего его можно было еще лишить.

Вот я и думаю: не укатили ли таксисты Ваньку в свой шоферской рай?..

TUNDURU

Последним моим воспоминанием о Столице — я имею в виду последним в строго хронологическом смысле — был косматый мужик, который преследовал меня до самого «Шереметьева», предлагая купить у него громадную лиловатую палку твердокопченой колбасы. Я осознаю всю несправедливость такого воспоминания — несправедливость по отношению к городу и стране, которые дали мне так много надежд и мечтаний, — ведь именно надежды и мечтания являются главными компонентами *человеческой* жизни: без них рамки этого мира, даже соответствуя «высоким социальным стандартам», на счет «раз» обнажают простую суть канареечной клетки. Ну и что, если она же, страна, эти мечты и надежды под корень во мне истребила? Благодарю за то, что по судьбе прошла, за то, что для другого сбудешься…

Что делать: я хроникер, не поэт (увы), и потому вынужден констатировать, что уже на троллейбусной остановке возле общаги (денег на такси у меня не было) я оказался атакован этим мужиком так стремительно, что даже забыл бросить прощальный взор на мое шестилетнее обиталище… Я впрыгнул в троллейбус, что было непросто из-за багажа, и собрался уже освобожденно вздохнуть — как мужик вырос передо мной возле метро «Белорусская»… На переходе к «Белорусской»-радиальной он, размахивая этой багрово-сизой дубинкой и зловеще припадая на одну ногу, гнался за мной с дикими воплями: «Черный, блядь, купи колбасу!!. Купи колбасу, я сказал!!.». На «Речном вокзале», где я вышел, мужик был уже тут как тут. Почему он пристал именно ко мне, ведь потенциальных покупателей было вокруг навалом?! В давильне автобуса, идущего к аэропорту, я увидел, с высоты своих шести футов и шести дюймов, как мужик, деловито продалбливая толпу колбасой, движется конкретно в моем направлении — и мне вспомнилось предсказание цыганки…

Палка колбасы была увесистой, ею вполне можно было убить. Ну, это если вмазать с умом. Ею можно было даже изнасиловать… Фаллическая природа это-

* *Джамбхала — бог изобилия у тибетских буддистов.*

го, казалось бы, пищевого продукта обнажилась во всей своей неприглядности, когда я уже прошел заградительные кордоны и обернулся… Мужик стоял по другую от них сторону, глядя безумными глазами в никуда, горестно обхватив голову руками, и палка колбасы дыбом ярилась у него между ног.

WETE

Предпрощальные эпизоды, связанные у меня с Ванькой, не были похожи на кинематографическое расставание двух друзей. Хотя… это как взглянуть. Ванька, будучи традиционалистом и новатором одновременно, разумеется, внес свое ноу-хау в ритуал «сугубо мужского» прощания.

А именно: на защиту диплома он, как и следовало ожидать, не явился. Руководитель семинара позвонил его супруге, которая важно заявила, что Иван *занимается в библиотеке.* Зная расшифровку этого кода, я ринулся вниз по Большой Бронной и быстренько, хотя и не без усилий, отлепил Ивана от одной из сопредельных пивных.

После защиты мы поехали к Ваньке. Честно говоря, перед этим, как и перед каждым рискованным шагом, я обратился за советом к моему предку, деду моего отца. К идее обмывания дипломов предок отнесся благосклонно. Сейчас я думаю, что он предвидел обретение мной в этом процессе некоего нового знания; таковое (забегая вперед) я получил. Но — по порядку.

Сначала мы с Ванькой сидели вдвоем на кухне, причем, несмотря на близость туалета (и мою смертельную в нем нужду), Ванька меня туда не отпускал: крепко-накрепко захватив локтем мою шею, то есть склонив меня в три погибели, он упорно обучал меня песне «То-о-о не ве-е-етер ве-е-е-тку-у-у кло-о-онит…», а потом «Броня крепка! и танки наши быстры!», а потом, раскачиваясь все сильней, — «Мммыыыыыы — дети Га-лакти-ки-и-и!..» (Знай Галактика о таких своих детках, она, думаю, давно бы добровольно коллапсировала — или что там с галактиками происходит.)

Неожиданно явился Ванькин младший брат, Герман, — статный, румяный, т.е. имевший все признаки человека, который начал просаживать свое здоровье только-только. Я упоминаю Германа неслучайно. Появление в этой ситуации третьей фигуры не столь придало ей классическую законченность, сколь внесло неожиданные последствия.

А именно. (Здесь я рисую расположение коек и раскладушек с такой тщательностью, с какой Mr Nabokoff рисовал американским недорослям интерьер спального вагона «Москва — Санкт-Петербург»): всего спальных мест в Ванькиной конуре было четыре: двуспальное, изгвазданное до сального блеска ложе Ивана и его зимней супруги, которое находилось в «зале» и летом полуслаживалось в диван; у противоположной стены, отражаясь в шкафу (как было упомянуто много ранее), мучила мой глаз оголтелой расцветкой хаки голая раскладушка — перманентно разложенная на те случаи, когда Иван был невменяемо пьян и, соответственно, отлучен от скромных радостей семейного ложа. В детской конурке понуро стоял диванчик, продавленный до златострунных пружин, и — опять же цветом хаки — дерзко являла себя вторая незастланная раскладушка.

С этого момента я попрошу особого внимания. Обычно Иван, стало быть, храпел на раскладушке в «зале»; мне, со времен Lauren Bacall, было по-царски предоставлено двуспальное ложе.

Но Герман спутал все карты. Он лег на Ванькину раскладушку. Точней, не «лег», а упал там, где стоял. Ванька, проявляя свойственную ему терпимость,

дополз до «детской» и уложил себя, соответственно, на раскладушку младшего «спиногрыза».

Таковы были исходные позиции фигур.

Важнейшая деталь: дверь между «залом» и коридором была, конечно, распахнута. Между стеною и дверью — скрытая ею — стояла моя, полная всякого разного, сумка.

Несмотря на количество выпитого, мне не спалось. Поэтому я не сильно испугался, когда увидел Ивана, который с невменяемым видом, по стенке коридора, упрямо полз в «зал». Я, вообще говоря, считал эти его навязчивые карабканья по водосточным трубам латентной формой лунатизма — и сейчас решил, что Ванькина сомнамбулическая болезнь проявляет себя наконец открыто.

Ванька вполз в дверной проем, затем привалился передом к двери и, вцепившись двумя руками в хлипкую ее ручку, осторожно потянул на себя. Затем, относительно аккуратно, шагнул он в сторону — и сразу же — в расширенное пространство между дверью и стеной. Там он судорожно полустянул семейные трусы. Вытащил свой чупа-чупс. Взял его в правую руку. Но, видимо, не выдержав такой тяжести, развернулся и безвольно опустился на мою сумку.

В комнате было темно. Лишь тот угол, где сидел Ванька, скупо освещала луна… И тут я увидел нечто… не знаю, что и сказать… Ванька мочился. То есть активно мочеиспускал отработанные им алкогольные яды… И делал он это, как делают женщины: сидя… Желто-зеленые струи, особенно желто-зеленые в близких им по цвету лунных лучах, бежали по уступам моей бедной сумки на щелястый пол… На продавленном неосвещенном участке пола, у порога, собралась лужа, черная, как кровь. Очухавшись, я бросился к Герману:

— Ге-е-е-ра-а-а!!. — я схватил его за плечи и, напрягши все силы, привел в сидячее положение. — Ге-е-е-ра-а-а!! — я тормошил его, как мешок. — Проснись!!. С Ваней нехорошо!!.

Герман открыл глаза. Они были неожиданно ясные, бодрые, абсолютно вменяемые.

— А-а-а! ты думал, я тоже — такая?! — заорал он на меня со злорадной ухмылкой. — Что можно забы-ы-ыть (меня-а-а?!) — И что брошусь (моля и рыдая!!) — под копыта гнедого коня-а-а?! Или стану просить у знахарок в наговорной воде корешо-о-ок?! Иль пришлю тебе стрррра-а-а-ашшшный подарок — мой заветный душистый плато-о-ок?! — он строчил, как пулемет, уверенно, самозабвенно — и никакая сила на свете, казалось, не могла бы его заткнуть (Троцкий на митинге — подумалось мне). — Да подддохни!! Ни стоном, ни взглядом окаянной души не косну-у-усь!! Но клянусь тебе а-а-а-ангельским садом — и здорррровьем своим я кляну-у-усь, и ночей наших пламенных чадом — я к тебббе никогда-а-а!!! не верну-у-усь!!!

— Гера, — взмолился я. — Надо бы Ваньку…

— А почему она ребенком ихним клянется? — агрессивно прищурился Герман. — Нехорошо-о-о-с!..

— Каким ребенком?..

— Ну, чадом этим… Ишь ты: «и ночей наших пламенным чадом»… Зачала чадо — чтоб им потом, стерва, клясться! Ведь кошке же ясно, что приползет к мужику как миленькая! Причем в ближайшие пять минут!..

— Да не «ночей наших *пламенным* чадом», а «ночей наших *пламенных* чадом»…

— Какая, на хрен, разница? Сам же слышишь, Маза, что нехорошо. Не-хо-ро-шо-с!..

Отчеканив последнее слово, Герман рухнул замертво. Ни тычки, ни толчки на него уже не действовали.

— Герман, господи… о чем мы тут говорим?.. — захныкал я сам для себя. — Это Ваньке, Ваньке нехорошо!

Пришлось приблизиться к Ваньке одному.

— А?!! — он с ужасом взглянул вверх.

Ну да: в темноте над ним нависли белые-белые зубы — и два больших белых глазных яблока. Могу себе представить…

— А-а-а-а!!.. — с нарастающим ужасом взвыл Ванька — и закрыл голову руками…

Я отошел, лег на диван.

— М'за, ты?! — вдруг сообразил Ванька. — А че зд'сь темно, к'к у негра в заднице?..

Тут, видно, до него дошло кое-что еще. Цепляясь за стенку, он криво вскарабкался с сумки. Стал шарить по стене… чего-то ища… не нашел…

— Все н'рмально… — Ванька попытался натянуть фиолетовые семейные трусы, при этом чуть подпрыгивая на одной ножке. — Все н'рмально… Все будет н'р-маль-но…

Но семейные трусы не натягивались: каким-то образом обе тощие Ванькины ноги, тоже фиолетовые, попали в одну и ту же штанину… Эту неожиданную шараду разрешить Ванька был уже не в состоянии… Ванькин уд, удлиненный жарой и спровоцированный подскоками, глумливым хоботком мотался туда-сюда — притом с амплитудой, явно смущавшей его обладателя…

— Маза, — вдруг отчетливо сказал Ванька. — Я умираю…

— Все там будем, — неоригинально отозвался я.

— А вот пи.деть, Маза, не надо. — Ванька любил, чтобы последнее слово оставалось за ним.

Когда он наконец уполз, до меня постепенно начала доходить причина невольного Ванькиного самопосрамления. Причина эта была сугубо технического свойства. Смещение первоначальной дислокации (спальное место, оказавшееся в другой комнате) — смещение, которое не уловила навигационная Ванькина система, неизбежно привело к автоматическому смещению точки назначения… То есть Ванька прилежно двигался к традиционной точке своего ночного назначения (сортир), неукоснительно следуя указаниям автопилота. Однако вследствие изменения точки старта, при *строгом соблюдении той же самой траектории*, точкой посадки оказался не унитаз (я теперь понимаю, что Ванька нашаривал на комнатной стене ручку слива) — точкой посадки оказался не унитаз, а моя сумка.

Если винить кого-либо в этой ситуации, то, я полагаю, исключительно и всецело Германа.

NZEGA

«И вот наступило утро, но все еще длилась ночь...» Говоря конкретней, утро наступило часа через два, потому что встал Иван.

— Худжамбо? (Как дела?) — бодро-пребодро обратился он ко мне на суахили.

— Акунта матата. (Превосходно.)

— Ты, Мазай, это… Я тут вчера… в смысле, сегодня… ты уж это… Вставай, пидарас!! (Герману) — Сейчас мы с Мазаем навеки брататься будем… — Вставай, я сказал, колода долбаная!

Он пнул братца в бок, нырнул под мой диван — и выволок оттуда странную штуковину. Это был чемодан. Полагаю, он знавал Первую мировую войну. А может, и революцию. В таких швейцарских кофрах борцы за народную волю,

как я уяснил из русских же фильмов, прятали бомбы, револьверы, члененые трупы и прокламации.

— Маза, слушай: тут у меня самое ценное. Самое-самое ценное для меня, понимаешь? Моя проза и мои стихи, начиная с шести лет. Ты понял, Маза, что хранится в этом архиве?! — с этими словами он наклонился и откинул ветхую крышку. — Ссы на это!! Ты слышишь, брат?! Я сказал — ссы!!!

Далее мне пришлось отчаянно бороться с двумя братьями сразу, которые пытались насильственно стянуть с меня трусы; сопротивляться мне было тем более тяжело, что мой мочевой пузырь на тот момент пребывал в крайне переполненном состоянии — и готов был взорваться — или безвольно опорожниться на благородно-смуглые, винтажного вида Ванькины манускрипты — ибо ладонь то Ваньки, то его братца — во время наших жестоких барахтаний — упрямо пыталась схватить мой беззащитный отросток, чтобы направить его возможную струю именно туда.

(Сейчас, через двадцать лет, мне весьма интересно, как эта сцена выглядела со стороны.)

Я мысленно взмолился перед своим предком — и он незамедлительно подсказал мне решение.

— Иван!! — завопил я. — Телефон звонит!! Не слышишь ты, что ли?!

— Кого? — поморщился Иван. — Звонок не работает.

Но какой-то важный момент братания был упущен. Я вырвался, натянул трусы, мысленно подмигнул предку, а вслух сказал:

— А ты вот возьми трубку!

Уже в туалете, облегченный, расслабленный, я сидел на крышке унитаза и — безо всякого удивления — слушал телефонные реплики Ваньки:

— И чёэ?.. Ну и чёэ?.. А я-то — чёэ? Я — ничёэ… И чёэ?..

Мне хотелось оставаться в сортире как можно дольше.

— Кто звонил? — выйдя в коридор, светски поинтересовался я.

— А, никто.

— Но ты же говорил с кем-то?

— А! секретарша ректора, сучка…

— И что? Хабарни гани? (Какие новости?)

— А! говорит, я диплом полностью с кого-то там списал; завтра к ректору на ковер…

— Но это же неправда!

— Конечно, неправда. Вот жаба! Буду я еще такой херней заниматься. Это Маржаретка для меня с одного позапрошлогоднего чувака все перепечатала… Она быстро печатает, всеми десятью, представляешь? вслепую!

— Что же теперь будет, Иван?!

— А! говорит, к госам меня, ясный пень, не допустят — и вообще все такое… Кстати, знаешь, эта дура снова залетела…

— Наташа?!

— Не, Маржаретка. Ты вот в Америке жил, скажи: могут эти… как их… ну, эти… через кондом просачиваться?

— Ваня, my God… наверное, нет… зависит, конечно, от качества кондома… ну, и этих самых…

— Ага! «Этих самых»! А от какого-нибудь другого качества не зависит? У нее там такая тяга — сквозь металлический кожух просочилось бы!

— My God, Ваня! Что же делать?!

— Больше литра не пей.

NJOMBE

Вернувшись в общежитие, я открыл поруганную свою сумку. Или так: я открыл свою сумку, прошедшую односторонний обряд насильственного братания.

Там у меня был аккуратно сложен мой парадный черный костюм и белая шелковая рубашка, французская, — все это я, иностранный провинциал, конечно, напялил на защиту диплома. Сейчас рубашку вдоль и поперек разукрашивали безобразные, словно бы ржавые, подтеки; на черном костюме следы урины видны не были, но от него разило так, что меня чуть не вырвало… Мокрыми, размякшими от мочи, были бумажные деньги — они расползлись в руках… моя стипендия раскисла почти целиком… расползлись также проездные билеты… отщелканная за полгода фотокассета элегантно всплыла в цилиндрической черной коробочке…

Но самое интересное (и поучительное) ожидало меня дальше. Именно эти впечатления, скорее всего, и подразумевал мой предок, когда благословил на обмывку диплома…

На самом дне сумки лежал упомянутый выше диплом, а под ним — множество моих рукописей, возвращенных мне из столичных редакций… Я хранил их прежде в институтской библиотеке — был у меня там специальный ящичек… Защищенные парадным костюмом и отважной французской рубашкой (принявшими химическую атаку на себя), бумаги почти не пострадали. У них оказались влажными всего лишь поля — что у диплома, что у рукописей…

За диплом я, кстати, огреб четверку — хотя претендовал на большее… Тема моей работы была, конечно же, связана с Пушкиным… Витиеватые выступления оппонентов, завороженных, как это бывает у русских, своим велеречивым, обильным, пустопорожним камланием, не прояснили для меня ни одной из причин моего поражения. Я собирался в аспирантуру, теперь расхотел.

И вот… нет, не может быть… Я увидел на полях диплома словно бы пометки… египетские значки какие-то… раньше их не было… или я не замечал? Нет, они, конечно же, были, но, набросанные химическим карандашом, оставались до срока почти непроявленными (ну да, латентными) — пока стихийный алхимик Ванька своей обильной уриной не сделал их наконец для меня визуально убедительными. Итак, под влиянием «таинственной влаги» на полях моего диплома проступили, нанесенные ядовитым химическим карандашом, следующие жестокосердные письмена:

«Не пора ли предоставить Пушкина русским пушкиноведам? Доколе…» (*далее неразборчиво*).

«Ну почему вы не выбрали тему по Элиоту, Китсу, Байрону — да мало ли поэтов на свете? Ну зачем вы все к нашему Пушкину при…» (*нрзб*)

«Вы полагаете, ваш цвет кожи, равно как иностранное происхождение, дают вам право…»

«Неужели на вашей родине нет своих собственных национальных поэ…»

«Чтобы получить высокое право писать о Пу…, надо сначала пройти окопы Сталингра…»

Господи боже, как безнадежно я плакал! Зачем ты, Ванька, приобщил меня к знанию, соприкоснувшись с которым даже единожды, мне уже навсегда будет тошно жить в любой, совершенно без разницы в какой, точке планеты!

Безотчетно ища утешения, я потянулся к рукописям. Мне вспомнилось, как, заходя в редакции, я всегда бывал ободрен и обласкан, даже чуточку подобострастно обласкан: хоть и черный, а иностранец, в Вашингтоне учился, знает языки… И вот всегда было так: задушевный чай, черствые, зато вдвойне хрусткие сушки, доверительные вопросы: а у вас там, в Танзании, много ли ядовитых

скорпионов? (женщины); а сафари — это, в принципе, дорого? (мужчины); ой, а львы у вас в деревнях на человека нападают? (женщины); а обрядовый каннибализм встречается? (мужчины); а… а право первой брачной ночи для вождя? (женщины); а насильственное лишение клитора? (женщины); а внутриплеменной промискуитет? (женщины); а вот за инцест наказывают? (женщины); а каковы разновидности смертной казни? (мужчины, женщины) — ну и т. д.

Но… Ванькина моча (алхимическая влага) таинственным образом проявила скрытые, истинные интенции моих старших коллег… Чувствуя себя Жаном-Франсуа Шампольоном, я жадно бросился разбирать кривобокие редакторские иероглифы. На полях рукописей «новые смыслы» оказались еще похлеще, чем в дипломе: одни редакторы (в отличие от профессоров, не ограниченные даже формальными рамками процедуры) шлифовали на мне, безгласном оселке, свои мертвые графоманские косы; другие же, пользуясь невидимостью химического карандаша, непринужденно выплескивали «темное бессознательное»:

«Эти рифмованные строчки не имеют никакого, я прибегну к метафоре, поэтического припека… хотя… при определенных условиях…» («Заря юности»);

«…нам явлена как бы вулканическая лава, уже окончательно застывшая в своем художественном становлении, — лава, которая словно обозревает сама себя, не оставляя, однако, читателю ни одного шанса <….>» («Юность зари»);

«Автор — просто подонок!» («Ноябрь»);

«Где это автор видел, чтобы мужские ноги *переплетались* с женскими?! Это же вам не вареные макароны в конце-то концов!» («Вольная сторона»);

«От ваших описаний природы я резко травануился. Тянет блевать». («Забрало Родины»);

«Автор — ублюдок, мерзавец и, сто процентов, гомосексуалист!» («Ноябрь»);

«Может, у вас там, в Африке, это нормально, но у нас…» («Вольная сторона»).

Ну и так далее.

Да. Недаром говаривал великий Ф. Бэкон: «Знание — сила; сила — знание».

Я размахнулся изо всей силы — и вышиб оконное стекло вместе с рамой.

UJIJI

Назавтра, как мы договорились, я ждал Ваньку возле кафе «ЖАН». Я с ума сходил от этого визита к ректору и обязательно должен был знать, как разрешилась эта ситуация; после чего меня ожидала беготня по Столице, куча неподъемных дел.

…На самом деле это кафе, чтобы привлечь студентов РИИСа, называлось «АНЖАНБЕМАН», но целыми на вывеске оставались, как правило, только три буквы; кличка уже прилепилась — да и вообще, назови это кафе как угодно, оно, расположенное на Большой Бронной, прямо напротив «альмы матер», все равно оставалось бы практически Главным ее корпусом — и посещалось бы, как всегда и было, гораздо большим количеством служителей словесности, чем лекционные залы.

— Ванька, ну как?! Худжамбо?! — бросился я к нему, как только он возник перед кафе.

— Чёэ — как?

— У ректора — как?

Закуривая, он взглянул на меня как-то рассеянно.

— Ты седни радио слушал?..

— Что именно?

— Астрономы-то хрень какую открыли?..

Он потряс головой, и мне показалось, что в его ошалелых глазах сверкнули слезы…

— Представляешь себе?! Оказывается, за два миллиона лет — это ж для Солнечной системы — тьфу! — всего за каких-то там два миллиона! — Земля… Да ты слушай сюда! Земля. Стала. Вращаться. Медленней. Вокруг. Солнца. На целых — пол-то-ры се-кун-ды!! Чуешь, Маза, к чему все идет?

— *Ножку приволакивает*? Как лектор по истории русской критики?

— Во-о-о-о-во. Рихтиг! Ножку приволакивает. А думаешь — с чего все это с ней, а?! — он вперился в меня ошалелыми своими зрачками. Прямо Рогожин какой-то после убийства…

— От грехов наших… — неуверенно начал я.

— Во-во… Угу. «На-а-аших»!..

— А ты хочешь сказать, Ваня, что конкретно и от *твоих грехов* Земля на орбите своей так катастрофически замедляется? Ну, то есть, что и *твоего* в этом деле кое-чего поднакладено?

— Ха! Именно. Уж моего-то в этом деле поднакладено… с избытком…

Как два пижона, мы взяли бутылку шампанского и сели снаружи. Под высоким кустом сирени белел хлипкий, но вполне еще дееспособный столик.

Ванька открыл шампанское просто, умело, без выкрутасов. Нам обоим было понятно, что мы сегодня почему-то расстаемся — независимо от того, выгонят Ваньку из «школы» или нет («школой» он называл институт), — и даже независимо от того, вернусь ли я к себе в Африку или задержусь здесь по какому-нибудь контракту.

Просто расстаемся сегодня — и все. Закончился какой-то период.

Бумажные стаканчики (бокалов на вынос кафе не давало) казались почти невесомыми; они готовы были упорхнуть в предгрозовом безветрии — даже от робких струек воздуха, которые возникали в пышных, душистых ветвях белой сирени… Мы утяжелили стаканчики шампанским, хотя какое-то время пена, зря занимая полезный объем, словно подражала царским белоснежным соцветьям… Но мы терпеливо переждали, пока она сошла, — и долили снова… и снова переждали… и долили еще… Мы так не делали никогда… Это была какая-то очень странная минута…

Наверху начал тяжко, медленно набухать дождь. Увесистые, словно ртуть, редкие капли стали валиться поодиночке здесь и там. Словно экзотические ингредиенты местного коктейля, они бухнулись и в наши стаканчики, вздымая длинные-длинные восклицательные знаки. Они были элегически замедленными, эти восклицания. Ну вот как прощание с ушедшим днем перед отходом ко сну — тайное, интимное, даже в чем-то уютное и всегда двойное: содержащее предвкушение нового дня — и неотступную мысль о своем неизбежном исчезновении…

Не притрагиваясь к ним, мы загипнотизированно глядели на наши стаканчики, и они выдавали нам бессильные, старые, как мир, восклицания: навсегда!.. везде!.. никогда!.. нигде!.. Это были очень странные минуты… Наконец мне удалось сбросить малую толику этой околдованности — и потихоньку включить в сумке диктофон: я знал, что после определенной дозы спиртного, даже такого легкомысленного и фраеристого, Ванька начнет тихонечко материться, уютно сдабривая свою речь односложными черными изюминками. Он умел это делать как никто.

А капли, становясь все крупнее, валились, валились уже целыми стайками, словно кучно подстреленные мелкой дробью. Рванул ветер, мы вцепились в ста-

канчики, — сыпануло наконец и самой дробью — она оказалась крупней и белей той, что я себе представлял…

— Хва, Маза, — сказал Ванька, — щас те градом кумпол пропорет…

И мы зашли внутрь кафе. Здесь Ванька в полной мере предался своему ужасающему пороку, я же, как всегда, остался на правах не самого одаренного ученика. «В полной мере» означает, что если Ванька сначала и соблюдал рафинированный алкоголический этикет — что-то с чем-то смешать, что-то чем-то «полировать», — то уже минут через сорок все заграждения этого синюшного политеса были сметены в прах огненно-красным быком страсти. Не устаю поражаться, что в таких случаях страсть жизни и страсть гибели сливаются воедино…

В кафе «ЖАН» было все что угодно: бормотуха и коньяки, рок-музыка и классика, приглушенный свет и крутобедрые подавальщицы, которых Ванька, предпочитавший дам гораздо более субтильных, все равно охотно хлопал по задницам. («Для порядку», — как он, «окая», это пояснял, убойно пародируя купеческую степенность.) Не было в этом кафе только WC.

И этот недостаток в сочетании с обилием выпитого — и ливнем, нещадно провоцировавшим мочевой пузырь, — превращался в тяжкое испытание. Поэтому время от времени я, поглубже вдохнув, закатав джинсы и втянув голову, выныривал под ледяной, вперемешку с градом, дождь — переходил вброд бурлящую Большую Бронную, где дикие потоки достигали мне до щиколоток, — и, мокрым петушком, заскакивал в священную «альму матер» — притом только затем (стыдно, но факт), чтобы облегчиться, т.е. освободить себя от издержек, которые мешают джентльмену таковым себя чувствовать. То же проделывал Ванька. Мы бегали в сортир по очереди, потому что в кафе находилась моя сумка, полная всякой всячины, — остававшийся ее сторожил.

SHINYANGA

Да-да: та самая сумка.

После Ванькиного в нее опорожнения я сумку вымыл, вытер, высушил — и снова запустил в обиход.

…Всякий залетный постоялец Столицы, да вдобавок окопавшийся, скажем так, не в самой центральной ее части, да вдобавок имеющий в Столице много знакомых, да еще, не дай бог, обладающий знакомыми за границей, — и, самое роковое, не располагающий притом своим транспортным средством — как правило, выходит утром из дома — на целый день — с такой вот, как говаривали русские в старину, «укладкой».

С какой именно «укладкой?» Ну, в моем случае это была серая, прочная, очень вместительная сумка. Она имела три вертикальных размера: малый, средний и большой — то есть разворачивалась вверх — или сворачивалась вниз — смотря по необходимости. (Когда Иван произвел в нее односторонний обряд братания, она имела средний размер.)

В день, о котором речь, она имела размер максимальный. Почему? Да потому, что вдобавок к сказанному (обычный день беготни по Столице с раздачей разнообразных предметов, получением предметов назад и/или их обменом) это был для меня один из последних в Столице дней. А потому (да не посчитают меня последователем одного персонажа из русской народной кинокомедии, который, явившись жертвой квартирного ограбления, раз от разу удваивал, утраивал и даже учетверял размеры потерь), — да не почитают меня последователем этого персонажа, если я позволю себе привести здесь список того, что находилось на день 30 мая 199… года в моей большой серой сумке:

1. Лекарства, полученные мной с оказией из Вашингтона, для передачи их вдове одного широкоизвестного диссидента и правозащитника;

2. Наборы макияжа из Нью-Йорка, прибывшие ко мне также с оказией, — для доставки дочери и двум невесткам опального поэта;

3. Памперсы из Сан-Франциско — для младенца, родившегося у знаменитого андеграундного режиссера;

4. Пчелиный мед из деревни Ногтеедово, собранный аграрным поэтом N. на своей личной пасеке для передачи редактору журнала «Семейные горизонты»;

5. Польский шампунь от перхоти и выпадения волос — для заброса директору издательства «Золотой Амфибрахий» — от эпизодически ночевавшего в общежитии прозаика Варвары Р.;

6. Мой диктофон;

7. Мой фотоаппарат;

8. Мои сто долларов — первый (!) гонорар, притом из Чикаго, за англоязычные стихи;

9. Музыкальные кассеты танзанийской рок-группы «URAMBO» для передачи на любую студию звукозаписи;

10. Ароматизированные витые свечи и плитка шоколада: скромное подношение от моего заболевшего соседа по комнате — предмету его страсти, студентке циркового училища;

11. Блок сигарет «Winston» и три пачки мыла «Кармен» — к поезду, для некоего Вити К., отбывающего в Рязань;

12. Книги в количестве четырех (возврат в библиотеку и владельцам);

13. Рукописи в количестве девяти (возврат авторам).

Вообще, как видно из списка, это была воистину Универсальная Сумка, минимальный жизненный набор. С таким можно без труда и даже в кайф прокантоваться недельку — хоть в тундре, хоть в пустыне Калахари.

MPANDA

А теперь я позволю себе перейти к одному из самых напряженных эпизодов своего повествования.

Дождь утих. Он почти перестал, когда я снова пустился в неближний путь до места моего телесного облегчения.

Возвращаясь в кафе, еще только подходя к воротам института, я увидел престранную картину.

Институтские ворота, до того гостеприимно распахнутые, были закрыты — и, вдобавок, заперты на громадный замок. Ну, само по себе это не являлось странным, потому что к вечеру, силами кого-либо из хозчасти, именно это с ними регулярно и происходило. Просто я не заметил, что наступил вечер. (Вот так в жизни и бывает. Думаешь — это непогода, непогода, а это давно вечер, вечер.)

Ну, само по себе замыкание ворот особой неприятности мне не сулило: двор РИИСа имел выходы в смежные дворики — таким образом, продолжай мы нашу пирушку, променад в сортир и обратно удлинился бы не более чем на одну минуту.

Однако я описываю свои впечатления не совсем по порядку. То есть я начал с ворот, а начать надо было бы с того, что, спустившись с институтского крыльца и аккуратно обойдя всегда переполненный бумагами мусорный контейнер с крупной белой маркировкой «РАИС» (словно нагло символизировавший суммарную ценность студентов одноименного института), я увидел Ваньку.

Ванька висел в воздухе. Подбежав, я увидел, что он висит не в воздухе, а на черной решетке ворот, словно пришпиленный к ней, — худенький богомол на

энтомологической распялке. Судорожно вцепившись в прутья решетки, он какое-то время, видимо, так и продержался (внизу стояла моя серая сумка — ее он, судя по всему, употребил как первоначальную опору), но, почувствовав, что я подошел, встрепенулся — и снова резко полез вверх.

Пишу «почувствовал, что я подошел», потому что виден я был в любом случае плохо, сгущались сумерки; кроме того — Ванькины глазенапы были выпучены, белы и безумны: если он даже зрил что-то, то, конечно, не здесь, — и вот к тому, — никому, кроме него, не зримому, — Ванька, зверски оскалив зубы, сейчас и стремился.

Запустив остатки здравомыслия на минуту вперед, я увидел, как черные пики решетки, между делом, пронзают Ванькин тощий живот; я увидел, как Ванька, тряпичною куклой, уже висит головой вниз, как из этой головы течет много густого и черного — а что-то извилистое, слизистое, по-змеиному обвивая прутья решетки, с неторопливой основательностью кошмара выползает из его пропоротого туловища...

— Ванька-а-а-а!!! — заорал я, одновременно хватая его за кеды и с силой таща вниз. — Слезай, дурак, слеза-а-ай!!!

К моему удивлению, он не сопротивлялся. Сполз на сумку, потом на асфальт.

— А чего ты из «ЖАНА» ушел? — спросил я.

— А меня блевать потянуло, они и выперли.

— Понятно, — сказал я. — Я сейчас вон из той подворотни, — показал подворотню рукой, — к тебе выйду. Давай греби туда.

— О кей, — Ванька подхватил мою сумку. — Больше литра не пей.

Я вышел из соседней подворотни (этот переход занял у меня секунд двадцать): Ваньки не было. Я огляделся вверх и вниз по Большой Бронной. Его не было. Улица, насколько она просматривалась, была пуста. В это время зажглись фонари…

Ваньки не было. Я заглянул в соседний дворик. Ваньки не было. Я стал его звать. Никто не откликался. Я обошел несколько соседних дворов. Не было Ваньки нигде.

Мне пришло в голову вернуться на прежнее место. Я зашел в институтский двор и обшарил его. Оба здания института были уже заперты. В это время снова хлынул дождь. Это осложнило мои поиски. Помимо того, что мои крики заглушались теперь падением огромных масс воды, к этому добавились громовые раскаты. Правда, молнии, словно треснувшие люминесцентные лампы, дополнительно освещали обследуемые мной закутки — за мусорными контейнерами, под скамейками, под детскими грибочками и взрослыми самосвалами — но дождь, сам дождь, как решил я, мог загнать Ваньку в более надежное место — и я стал шарить по подъездам.

Тщетно.

В злополучное кафе «ЖАН» я заходил четырежды. На пятый раз меня туда не впустили.

Я обшарил вдоль и поперек все, что было можно и что нельзя, в радиусе трехсот шагов. Куда он мог деться за двадцать секунд?!

Ваньку словно утащили потоки мутной воды, что неслись, клокоча, вниз по Большой Бронной… Ну да: потоки той самой реки, которая у Chris'a Rea «boils with every poison you can think of»*…

— Ва-а-а-анька-а-а-а!!! — орал я как резаный. — Ва-а-а-анька-а-а!!!...

* *Бурлит всяким ядом, какой только можно представить* (англ.).

Думаю, при такой тщательности поисков я мог бы найти кольцо, пуговицу, иголку.

Но Ваньку я не нашел.

KOLOSA

Конечно, я звонил после того Наташе, Маржарете — и той, которая до встречи с Ваней так слабо занималась по химии. Звонил на Столичную газораспределительную станцию… Куда-то там еще… У меня была такая «двушка» для телефона-автомата, с просверленной дырочкой — и с продетой в нее веревочкой… Звонить я мог таким образом сколько угодно… Правда, вытягивая из нутра автомата эту лживую наживку, я никогда не мог отогнать ранящее воспоминание о «Каштанке» — о Каштанке то есть, которой мальчишки сначала давали проглотить кусочек мяса, а потом вытягивали его на веревке у ней из желудка… (Проклятая Russian literature! Из-за тебя никогда не быть мне счастливым!..)

На следующий день доброхоты, которые работают быстрее любых телетайпных агентств, сообщили мне, что Ванька нашелся. Якобы в три часа ночи он позвонил своей жене — и задал сугубо гностический вопрос:

— Слушай, ты не знаешь, каким образом я оказался в Люберцах?

Спрошено это было с незамутненной интонацией пытливого, бескорыстно преданного науке естествоиспытателя.

Наташа (знавшая от меня о ситуации после кафе «ЖАН») немедленно задала встречный вопрос:

— Сумка с тобой?

На что Иван, научившийся дипломатии, видимо, у самого Ким Ир Сена, ответил вопросом же — притом самым непринужденным:

— Какая сумка?

Когда доброхоты передали мне эту реплику Ивана, у меня отнялись ноги.

После этого, во время подготовки к госам и их сдачи, со мной случился сильнейший nervous breakdown*, который проявился, в частности, кожной аллергией. Сначала дико зачесались ладони, что русские объяснили мне как верный признак близящихся денег — возможно, в компенсацию тому, что деньги я, как и многое другое, утратил (см. список). Вдохновленный такой народной приметой, я, махровый дурак, накатал в милицию заявление на розыски сумки, что было во всех отношениях непросто — хотя бы и потому, что, оказалось — мой паспорт в ней же и остался (забыл включить его в список). Имея в виду это заявление, полагаю, милиционерам — последующей ночью — было чем, помимо обычного, развлечь в постели своих законных и незаконных милиционерок.

Через неделю зуд ладоней стал невыносим, я разодрал кожу до крови. На руках и ногах, на туловище, даже кое-где на лице стали образовываться какие-то светло-розовые — почти белые — крупные пятна неправильной формы, в силу чего доброхоты польстили мне, сказав, что я делаюсь похожим на боливийского ягуара, — и добавили с нескрываемым удовольствием, будто Lauren (о, жестокосердная!) с хохотом обронила: дескать, «Мазаниве все равно вовеки не стать Майклом Джексоном — не стоит даже пытаться».

Как и следовало ожидать (а я-то этой реакции как раз никак не ожидал), симпатии народных масс, полностью и безоговорочно, оказались на стороне

* *Нервный срыв* (англ.).

Ваньки. Народное бессознательное именно его расценило как жертву, эту жертву жалело, всячески скорбело о ней — и ей горячо сострадало.

Делалось это сугубо заочно, более того, внематериально, т.е. не выходя за рамки «ноосферического», поскольку Иван, объект этого коллективного сострадания, на экзаменах, конечно, не появлялся. (Очевидно, с немалым удовольствием следуя ректорскому запрету.)

Как он действительно мог оказаться той ночью в Люберцах? Ведь чтобы попасть туда, надо было пройти как минимум турникеты метро. А он был пьян до… русскому языку здесь синонимов не занимать… ну, скажем, до предпоследней степени… Однако такие рассуждения — это с моей стороны полный наивняк: и не в таком состоянии бывалые алконавты (частое Ванькино словцо) столичные турникеты проходят…

Главная моя ошибка состоит, видимо, в том, что я пытаюсь применить к Ваньке законы материального мира. Конечно, это законы до отчаянья пошлые. Но если применить к нему мировоззрение эзотериков (а я последнее время в эзотерику довольно-таки глубоко погрузился), то это равноценно признанию того, что *Иван — не человек.* Не в этическом, сохрани бог, а прямом биологическом смысле. И тогда Ваньку следует — как сказал (правда, по другому поводу) мой родственник, Великий Русский Поэт, — надо воспринимать в соответствии с законами, им же над собой признанными. То есть, говоря конкретней, Ивана Алексеевича Телятникова следует воспринимать в прямой сообразности с игрищами и кознями юрких банных анчуток, с подвохами-забавами насморочных болотных кикимор и т. п. Но с этого же я, собственно, и начинал. Так чего же тогда, дурак, снова завел волынку?!

Кстати сказать, наиболее лояльные ко мне сокурсники, а это были коренные столичные жители, интеллигенты как минимум во втором поколении, из так называемых «хороших семей» (ну-ну!), не преминули мне напомнить: мы же тебя предупреждали! — не водись ты со шпаной, шантрапой, гопником!.. Почему никогда ты не интересовался компатриотами из землячества? Ты же ни на одно приглашение от вашего культурного атташе не откликался, ни на одно! Знал бы этот ваш атташе, с кем ты и что ты! Говорили тебе: зря этому свинству его умиляешься, Ванька тебе все равно устроит… это же неиз-беж-но… Что именно устроит? — меня всегда интересовали точные формулировки. Но зловещие формулировки были неточными: устроит, устроит, не бойся…

А я — не боялся.

В одно прекрасное утро, когда расчесы на моем теле превратились в открытые незаживающие раны, а язвы перекинулись даже на язык, я пришел к самому простому решению: а может, Ваньку взять да и простить? Ну да: мысленно простить — и все?

И простил.

P.S. Не следует думать, что язвы мои тут же и зажили. Эту бухгалтерскую философию оставляю домохозяйкам «с запросами». Я простил Ваньку не из соображений поправки здоровья («на основе позитивной энергетики»), а потому, что простил.

«Правда жизни», или короткое продолжение, были, однако, таковы: самым ценным в той сумке на поверку оказались рукописи. (Я сбрасываю здесь со счетов даже мою навеки поруганную репутацию в приличных домах обоих континентов.)

Рукописи… Их давали мне на прочтение русские отпетые гении, в чем-то похожие на Ваньку, — гении, которые, конечно, не обременяли себя суетными мыслями на тему: а не вставить ли в печатную машинку копировальную бумагу, чтобы сделать второй экземпляр? И, таким образом, эти экземпляры, которые они мне давали на прочтение, были первыми, единственными и невосстановимыми.

То есть реликтовыми изначально.

Они сильно меня поколотили, те гении. Я, правда, думаю, что пропажа рукописей являлась для этого лишь удобным предлогом. В рукописях были стишки, а гении помнят свои стишки наизусть. Скорее всего, у гениев просто чесались кулаки. Не так, как у меня, с волдырями, и не от предвестия денег, а так, как чешутся кулаки к пьяной драке.

Однако же после этих побоев мои язвы — а главное, двусмысленные белые пятна — как рукой сняло. И я снова стал черным.

...Придет ли час моей свободы? Пора, пора! — взываю к ней, брожу над морем, жду погоды, маню ветрила кораблей. Та-тА-та-тА, та-тА-та-тА-та, та-тА-та-тА, та-тА-та-тА-та, когда ж начну я вольный бег? Пора покинуть скучный брег мне неприязненной стихии, и средь полуденных зыбей, под небом Африки моей... под небом Африки моей... как там дальше?

P.P.S. А мне больше всего из пропавшего жалко пленку моего диктофона: на ней я, в последний наш день, пытался записать гроссмейстерский Ванькин мат.

DAR ES SALAAM

Региональный госпиталь

…Они говорят, что мне надо собрать воедино всю свою волю к жизни.

А я мысленно спрашиваю: можно ли услышать от вас что-нибудь менее трафаретное? Хоть когда-нибудь? Но мне нет никакого смысла размыкать губы.

P.S. Вот посещаешь какую-нибудь страну как турист — и она тебе нравится. Почему? Да потому, что знаешь, что твой визит временный, краткосрочный. А жизнь эту посещаешь тоже временно, краткосрочно — как турист, — и все равно она тебе не нравится. Почему?

DAR ES SALAAM

Региональный госпиталь

Как это все случилось?

…Позавчера… да, кажется, позавчера, в воскресенье… я шел со своей женой по базару… О чем мы говорили? Скидки, налоги, страховки… Еще, кажется, автодорожные штрафы — о чем люди говорят в этом мире?

Белокожие обычно представляют себе африканские базары этакими ожившими картинами — что-то от голландских натюрмортов, что-то от плодов и женщин Гогена, что-то от наивного изобилия Рубенса, что-то (и это — главным образом!) от трафаретов голливудского целлулоида и анилинового глянца буколических буклетов… Ну да: «красочность, щедрость, пестрота, живописность». А по-моему — это все та же универсальная, вненациональная помойка: грязь, вонь, сутолока, шулерство по умолчанию, крики зазывал, беспощадная атака тупой рекламы, тараканья суета мелочного расчета, немолчный плач детей…

Бессмыслица существования в плакатно-наглядной панораме.

В сравнении с базарами белокожих — ну, погрязнее, повонючей, покрикливей — но суть помойки все та же...

— Ты просто не любишь жизнь, — произносит моя премудрая жена. — Вот и она тебя не любит. Ах, раньше ты был не такой!.. Но зато я тебя всегда лю…

И на этом слове, когда мы проходим вдоль бесконечного ряда, заваленного детскими тишортками и микки-маусовской хренобенью, моя рука безотчетно отталкивает жену: дело в том, что я вижу Ваньку.

Он стоит примерно в сотне шагов. Несмотря на безостановочный грохот базара, на мерзость этой безвыходно-грубой, осклизлой ловушки, куда люди рождаются только затем, чтобы вопить: маисовые початки!! маисовые початки!! маисовые початки!! два по цене одного!! — несмотря на все это, мне слышится знакомое звяканье банок в холщовой его котомке… Они вызванивают: Маза-Маза-Маза-Маза… Он один называл меня так… Ванька поправляет очки, рассматривая что-то на лотке под полосатым тентом арбузной расцветки… Волосы его совсем седы… Ветерок, словно намекая этим — Маржареты больше нету, Маржареты больше нет, — делает то, что делала бы она: ласково треплет длинные седые его лохмы… Да: в тех местах, где они сохранились, волосы его белоснежно-седы… Он — единственный белокожий на этом черном, словно бы эбонитовом, рынке, его невозможно не заметить… Торговец жадно пялится на Ваньку, безо всякого смущения разглядывая его с ног до головы, — в кои-то веки выпадает развлечение на этой беспрерывной каторге добывания пищи, безостановочной, бессмысленной игры в кошки-мышки с болезнями, нищетой, старением, смертью… Глотки орут: маисовые початки, маисовые початки, маисовые початки, они орут, орут и орут, чтобы дома иметь возможность засадить початок в глотку себе, жене, детям, чтобы иметь право мирно рыгать на семейном, набитом соломой диване, вяло почесывать себе яйца, вяло совокупляться с телеящиком, всхрапывать, очухиваться, стелить постель, засаживать собственный початок своей законно обрыдлой супруге, пррраз — и по глотку, вот, baby: один отменный початок по цене двух, ха-ха-ха! — isn't it, baby? — а после спать, спать, спать без снов, как бревно, потому что завтра, вариантов нет, надо снова перекрикивать другие глотки, уже этим пытаясь заранее отбить у них химерическую, еще не добытую еду, — перекрикивать другие голодные глотки — до заката дня, до заката желаний, до полного заката сознанья, до заката жизни, надсаживать себя в кровь: маисовые початки!! маисовые початки!! маисовые початки!!

Ванька, мне снова двадцать семь, посмотри на меня, Ванька, скажи между делом, как ты говорил раньше: Маза, тебе нужна хаза? А я тебе отвечу: думаешь, я не знаю, что такое «хаза»? Да будь я и негром преклонных годов! Нассав на режим их уродский! Я русский бы выучил только за то! Что им разговаривал Бродский!.. Ванька, не бросай меня в этой страшной морилке, не оставляй меня здесь, молю тебя, Христа ради, возьми меня с собой, возьми меня с собой, возьми меня с со…

…Почему это случилось, когда я увидел его? Почему именно в тот самый миг, в тот самый миг? Да, в тот же самый: ведь моя боль, которую невозможно перекодировать в буквы, не заняла много времени, она всегда со мной, — так вот — кого мне спросить об этом? — почему именно в тот самый миг, когда я увидел его, откуда-то, словно с самого Неба, хлынуло в мое сердце вот это самое, это самое, это! —

Well I'm standing by a river…
But the water doesn't flow...
It boils with every poison… you can think of...

И сердце вошло в инобытийный ритм. Ванька, кричу я, стой, Ванька, стой, я пытаюсь бежать, расталкивая плотную толпу, что-то грузно валится с лотков, что-то скользко рассыпается под ногами, валятся сами лотки, а я вижу только, как он уходит, уходит, он удаляется, пересекая площадь, прямиком на закат… Ванька, ору я, стой, стой, ору я, стой, Ванька, стой, он, замедлив шаг, вроде приостанавливается, но не на мой беззвучный крик, а, как мне кажется, на совокупный оглушительный рев толпы, на визг и вой возбужденных скорой кровавой расправой глоток, я, видимо, на лету сбил с ног торговцев, покупателей, я, видимо, порушил, превратил в хлам какие-то их материальные ценности, стой Ванька, стой.

Но Ванька не слышит меня… прикурив, он идет дальше… Только перед тем, как завернуть за угол, он слегка оборачивается, и, над эбонитовыми баррикадами озверелого мяса, в последний миг, что я стою на земле, я вижу: он не похож на Ваньку, он не похож на Ваньку, а меня уже валят, меня повалили, мне заломили руки, меня уже избивают, то есть отвлекают от важной мысли: разве я не помню, Ванька, что новые русские гангстеры сделали тебе пластическую операцию?.. а иначе — зачем они тебя украли? И, главное: разве я не помню, как ты оборотничал, Ванька, даже вне своей воли, как ты становился огромным, а потом вдруг, резко, маленьким, как с непривычки падали в обморок женщины, как отступались от тебя менты, так что уж на такой-то мякине, Ванька, ты меня не проведешь, меня можно сбить ногами на землю, вот как сейчас, но сбить с толку оборотническим твоим обличьем — одним из бессчетного множества твоих обличий — нет, Ваня, ты меня этим уже не собьешь, кстати, я почему-то почти не ощущаю ударов, мне уже не надо тратить мысли на боль, правда, я еще вижу ноги, они мелькают-мелькают-мелькают, черные, на фоне синего неба, на фоне синего неба, да-да, неба, пора покинуть скучный брег мне неприязненной стихии... стихии... стихии... и средь полуденных зыбей, под небом Африки моей, вздыхать о сумрачной... вздыхать о сумрачной... как же там было? О сумрачной... Ноги безостановочно молотят того, кому ты говорил, *негр стал белым как мел* и наклал в штаны, они обрабатывают его подробно, добросовестно, как тогда, в Столице, за мусорными контейнерами, странно, что боли уже совсем нет и словно бы нету тела, а есть только ясное знание, которое я тебе сейчас выложу, Ванька: знаешь, а я ведь это сразу понял, еще тогда, когда впервые услышал тебя, ну да, когда впервые вобрал в себя твою речь, я ведь уже тогда, с самого начала, знал, что ты не отпустишь меня вовек, что мы навсегда вместе.

Константин Ваншенкин

Воспоминание о сухом пайке

Симка

Когда мы с Симкой шли куда-то вместе,
Он вечно на два шага впереди, —
Как будто ждал какой-то важной вести
Или моторчик пел в его груди.

Я говорил: — Ты почему не рядом?
И что тебя за странный зуд берёт?..
Он взглядывал слегка смущённым взглядом
И снова на два корпуса вперёд.

Вот так мы дружно двигались на пару
У нашей общей жизни на виду.
А нынче по тому же тротуару
Я в полном одиночестве иду.

Монета

Нагибается скорей,
Как всегда стеснённый сметой,
За оброненной своей
И не лишнею монетой.

На последнем рубеже,
Сверстников опережая,
Нагибается уже
Даже если и чужая.

Воспоминание о сухом пайке

Затишье это не впервые,
Не вечно в капсюль бьёт боёк.
Отстали кухни полковые.
Сухой нам выдали паёк.

Об авторе | Постоянный автор «Знамени». Предыдущая публикация стихов — в № 12 2008 года, прозы — № 9, 2009.

Слова команд не слишком гулки,
По-прежнему ни ветерка.
Да две осиновых рогульки
По сторонам от костерка.

Приобретеньям и утратам
Душа внимает втихаря.
Обёртка с пшённым концентратом
Да два ржаные сухаря.

А посторонним нету дела,
Какой отсюда выйдет прок, —
Однако жёрдочка истлела,
И завалился котелок.

Война

Опять я повествую
О том, как бедный тыл
Брал в дело подчистую
Всех тех, кто годен был.

И как трещал на диво
По швам военкомат
От нового призыва,
Что был великоват.

Как в платьице из ситца
Ты плакала, близка,
А мимо шли грузиться
На станцию войска.

Как писарь в той сторонке,
Где дымны небеса,
Готовил похоронки
И в наши адреса.

Ведь были мы впервые
Судьбой вовлечены
В событья мировые
Такой величины.

Симфония

Суровый композитор про войну
Стал сочинять симфонию одну.
Она была о разном понемножку —
Про первую жестокую бомбёжку,
Про чёрную промёрзшую картошку,
А больше про победную весну.

Но, пробиваясь темой очень веской,
Был слабый шелест, связанный с повесткой,

Которую прислал военкомат
Ещё до построений и команд.

Но, Боже мой, как эта скрипка пела
О многом, что бывает по ночам!
Как за окном ещё сосна скрипела,
А может, в тёмной комнате топчан.

И даже этот стон казался к месту,
И слушал задыхающийся зал
Как что-то симфонический оркестр
Почти неразличимое шептал.

Подсознанье

По различным фронтам разбросало
Одноклассников целой страны.
Как гремели кремень и кресало!
Как ползли госпитальные сны!

На закрутку шуршала газета,
И трещал филичёвый табак.
Да несчастных солдатиков где-то
Хоронили отнюдь не в гробах.

…Вновь трепещет, едва согревая,
Костерок, что в ночи не угас,
Или песня слышна строевая
Где-то там, в подсознанье у нас.

Ранение в живот

Ранение в живот —
Боль от любого чиха!
До свадьбы заживёт, —
Утешила врачиха.

Когда придёт пора,
Не будут делать драму:
Невеста до утра
Не раз привыкнет к шраму.

Кто остановит взгляд
На этой бывшей ране?
Вниманье обратят
На пляже или в бане.

Да с правой стороны,
Как давняя наживка, —
Участникам войны
Понятная нашивка.

Оборона

В наскучившей траншее,
В разбросанных снегах
Фурункулы на шее,
Экзема на ногах…

Среди холодных вёсен,
Близ редкого леска
Кровоточащих дёсен
Привычная тоска.

Назойливая мина —
Германский тот товар.
Да вместо витамина
Из лапника отвар.

* * *

С махоркою расстался я давно, —
Лишь перестал вдыхать армейский воздух.
К другому приобщился заодно —
Жёг в три затяжки папироску-гвоздик.

А в стороне, на каждом пятачке,
Полно повсюду девочек хвалёных,
У каждой в миловидном кулачке
Имелась струйка семечек калёных.

* * *

Все эти скромные ласки,
Робко дозволенный шмон,
Эти резинки, подвязки
Из предвоенных времён.

Вся эта девичья упряжь!
…Позже, пока не заснёшь,
Щёчки старательно пудришь,
Губки помадой мазнёшь.

Откровенность

С этой женщиной быть откровенным
Оказалось, конечно, нельзя,
По тропинкам, таким сокровенным,
На проклятом протезе скользя.

С этой женщиной быть откровенным
Оказалось дороже себе
С тем нелепым рассказом военным
О такой же нелепой судьбе.

А кто же мы все?

А кто же мы все?
Поколенья остатки.
Вы помните наши
Обмотки и скатки.

А кто же мы все?
Поколенья осколки,
В старшинской каптёрке
Сметённые с полки.

А кто же мы все?
Поколенья ошмётки.
Хотя на отдельных
Приличные шмотки.

Запевала

От запредельной стужи
Лиловая щека,
Однако пел не хуже
Иного ямщика.

Как в залихватской позе,
В которой самый шик,
От пенья на морозе
Простуженный ямщик.

* * *

Хорошо бы, чтоб во сне,
Положась на Чью-то милость,
Снизошедшую извне…
Хорошо бы, чтоб приснилось
Не причастное к возне.

Хорошо бы, чтоб во сне.

Наталия Червинская

Запоздалые путешествия

рассказ с примечанием

Скушно, господа, всю инкарнацию
томиться в родном и том же отечестве.

Саша Соколов

Более того, даже если ты уже родился дважды, и знаком тебе до слез этот город, приютивший тебя в своих утесах, город, который любую гагару научит наслаждаться битвой жизни — да именно гагары и наслаждаются тут битвой жизни, гагары открывают по утрам двери своих ресторанчиков и магазинчиков в утесах огромных зданий и тело жирное в дверном проеме своего владения, своего замка и крепости гордо демонстрируют, победители в битве жизни...

Этот город, да... Так вот: даже из этого города хочется иногда отправиться в те места, на которые смотрели мы когда-то с завистью и ностальгией из своего прежнего отечества, из той, изначальной, инкарнации. Места, увиденные нами сначала в черно-белом, а потом и в цветном изображении. Из закордонных, заэкранных широт долетал до нас изредка какой-нибудь лоскуток, обломок, звук, понюшка табаку, и мы, как радостные мартышки, подолгу лелеяли и приспосабливали это сокровище к употреблению в нашем хотя и коммунальном, но необитаемом — в смысле, для обитания не приспособленном и к обитателям враждебном — пространстве.

Не пора ли, не следует ли вспомнить свои юношеские иллюзии, не пора ли гагаре, сильно утомленной битвой жизни среди прейскурантов, адвокатов, смет и назойливой бухгалтерии нашего малопоэтичного быта, из здешней бури, и утесов, и скалолазания ежедневного в запоздалое путешествие отправиться? И в какую же сторону нам ностальгировать? Не в прошлое, конечно, не в страну первоначальной инкарнации. Это было бы хронологической неопрятностью и продажей нашего первородного права свое родство и близкое соседство вольно и заведомо презирать. Нет, ностальгия наша — по неосуществленным мечтам юности. Их можно теперь пощупать, понюхать, физиологически устаревшее свое существо погрузить в различные средства передвижения за умеренные деньги, оказаться внутри декораций, по ту сторону экрана. Пора эту несостоявшуюся третью ипостась, несбывшийся вариант примерить.

Как не оглянуться на места, к которым уносились наши юные мечтания — с некоторой насмешкой, но все-таки и с нежностью: ты жива еще, моя старушка?

Об авторе | Наталия Червинская — постоянный автор «Знамени». Последняя публикация — «Истории о женщинах и детях» (2009, № 2). Живет в Нью-Йорке.

Короче говоря: не пора ли съездить в Европу, тем более что из Нью-Йорка билеты недорогие?

* * *

Англия — не Европа. Франция выпендривается, но она всего лишь только Франция, а не вообще Европа.

А здесь — вообще Европа. И названия городков такие, что можно питаться одними названиями: сырные, сытные. Каждый житель говорит если не на трех, то уж наверняка на двух языках, и у страны два имени, даром что маленькая страна. Вся — как комната, как растение на подоконнике, в банке, скажем, из-под сгущенного молока. Улицы такие одомашненные, как будто не улицы уже, а коридоры. Как будто внутри ты, в интерьере, а не в пейзаже.

Колокола в соборах звонят очень долго; видимо, времени много накопилось.

И трамвайные колокольчики звонят, трамваи ползут по туманному Амстердаму. Как же его окраины похожи на центр моего бывшего Ленинграда пустынностью своею и сыростью, и как же центр этого Амстердама похож на некоторые окраины моего Нового Амстердама, вторичной моей инкарнации... И у нас тот же красный кирпич, те же узкие дома, море-океан, меркантильность, многоязычность благословенная...

Вначале здесь каждое окно принимаешь за витрину. Думаешь: антикварный магазин? Или магазин мебели? А потом понимаешь, что это гостиные выставлены для всеобщего обозрения: занавески вешать не принято. Внутри белые стены, люстры. Украшений немного. На подоконниках иногда вазы, или скульптуры, или свечи зажжены. Такая японская лаконичность. Абсолютная чистота.

Иногда один-два члена семьи сидят. Для натуральности.

Потом я забуду, как неуютно было ехать в декабрьской темноте, искать адрес пансиона на незнакомой окраине, тащить чемодан. Хорошо еще, что расстояния здесь короткие.

Как сказал поэт: «Расстоянья таковы, что здесь могли бы жить гермафродиты»...

И вот тот пансион, где я буду ночевать. Окно огромное, но почти все окно занято чем-то огромным — неужели это хозяйка? Та самая?

Знаменитая амстердамская блудница, героиня западной, такой завидной для нас сексуальной революции, та, чью книгу мы с подружкой читали когда-то со словарем, хихикая от смущения. Думали, это — юмор. А книжка была совершенно всерьез написанный учебник. Инструкции, правила: для каких частей тела взбитые сливки употреблять, куда лед класть, как тренироваться, как специальные интимные упражнения делать.

Мы-то были уверены, что в этом искусстве существуют только импровизация, вдохновение и полная самодеятельность. Мы ведь и штаны и юбки себе сами шили, а уж любовью-то занимались совершенно как бог на душу положит.

Теперь она сдает комнаты туристам, и я сняла из интересу. Она ли это в окне, необъятная, как Марлон Брандо в фильме «Апокалипсис»?

Да, это она, блудница Апокалипсиса, эк ее разнесло!

Фотографии развешаны по всем стенам. Фотографии, впрочем, не ее целиком, а особо занятных фрагментов ее анатомии: лоно, перси, ланиты, цветок любви, который приосенял крылом пушкинский непотребный голубь. Цветок

любви в различных ракурсах, повторяющийся многократно, как Мэрилин Монро на картинах поп-арта того же периода. Фотографии замечательные, сделанные знаменитыми фотографами для порнографических журналов, в те времена еще революционных. Теперь это называют: сексуальная индустрия. А ведь тогда за порнографию и в свободном мире сажали. То есть в ее персях был некий оттенок троцкизма. Ее причинное место было лобное место, носило общественный характер, это был символ эпохи, как борода Че Гевары.

Вот она сидит, как идолище поганое. По ее могучим чреслам ползают два сиамских котенка, два крошечных зверища на блуднице. Дурачатся и играют, приосеняют бывший цветок любви лапками.

И не успеваю я поставить чемодан, как она уже рассказывает мне про свою профессиональную карьеру.

В какой-то момент она поняла, что ей очень нравится спать с мужчинами. Так почему бы не заработать деньги тем, что тебе действительно нравится, к чему у тебя талант? Дело у нее пошло замечательно. Вскоре она уже совокуплялась не сама, а наняла большой штат, и списки клиентуры росли.

Это она молодец, потому что здесь, конечно, конкуренции много. Я забрела сегодня в район, где в окнах выставлены девушки. Ничего стерильнее, чище, здоровее и вроде бы добродетельнее этих девушек нельзя придумать. Ну, не может живой человек быть более похожим на пирожное с кремом, чем амстердамская жрица любви. Такие зефиры и безе. Да и занимаются ли они на самом деле этим... Ну, знаете — этим... Не сувенирные ли они? Не муниципалитет ли их оплачивает? Такие славные, сливочные, в бельевом кружеве, как пирожное на бумажной одноразовой кружевной салфеточке. Подвязки у них на ногах, как бумажные фестончики на жареном гусе — ах, какие гастрономические шлюхи! Пальчики оближешь!

Полная свобода бюргерского секса.

Рассказываемая хозяйкой пансиона история напоминает классический сюжет женских романов. Бедная честолюбивая героиня использует свой талант — например, к закатыванию консервов, или выпечке пирогов, или в области кройки и шитья. Вскоре у нее своя лавочка. Живет она трудно, у нее много разочарований в жизни. Но к концу романа она — глава международной корпорации и обретает личное счастье.

Я читала книжку, где героиня под конец оказывалась примой-балериной, герцогиней и девственницей. Да, девственницей — на этом и держалось напряжение сюжета. Зато в последней главе она теряла девственность на сорока страницах, со всеми анатомическими подробностями, которые так любит моя хозяйка.

Людей мужского пола она описывает несколько необычно. Например: он был высокий голубоглазый блондин. Ну, это понятно. Но она говорит: высокий голубоглазый блондин, а член у него был такой, знаете ли — и так далее. Я чувствую себя недостаточно компетентной, как если бы разговаривала с завсегдатаем бегов о качествах скаковых лошадей. Но в то же время довольно уютно: атмосфера напоминает женскую консультацию, коммунальную квартиру, роддом...

У нее, как я узнаю в первый же час пребывания в пансионе, была одна беременность, да и то внематочная, от любовника — ортодоксального еврея и закончилась выкидышем после ночи страстной любви с египтянином, кинорежиссером очень маленького роста, но с огромным, огромным членом, а ей гинеколог строго запретил на время беременности допускать проникновение огром-

ных членов куда не надо, но она совершенно забыла, просто вылетело из головы в тот момент, потому что ортодоксальный еврей ее не удовлетворял; а после выкидыша у нее была депрессия, она остригла свои длинные волосы и стала есть.

Есть она с тех пор не переставала, а лет прошло уже много. Так что результаты внушительные. Она мало похожа на свои фотографии.

Тут она начинает меня расспрашивать о моем житье и бытье, то есть о моих сожительствах и бытовом разложении. То ли допрос этот входит в оплаченную программу вместе с ночевкой и завтраком, то ли мой акцент ее заинтриговал.

Такое огромное, ужасающее божество сексуальной революции шестидесятых годов двадцатого века призвало меня на Страшный суд.

А что ты делала во время революции?

А мы что? Мы ничего.

Ну, мы умели слушать. С нами романы заводили, чтоб поговорить.

Нам полагалось побольше молчать, склонять голову направо-налево, кивать, понимающе улыбаться. Я поэтому считалась хорошей собеседницей. Я знала, что женщина обязана слушать и помогать мужчине сформулировать свои идеи, а не лезть с мыслями, выработаными в ее скудном умственном хозяйстве. Это из Толстого. Про эти мысли, выработанные в женском скудном умственном хозяйстве, я прочла в ранней юности у Льва Толстого. Очень было обидно, потому что мыслей у меня тогда было полно, намного больше, чем теперь, и очень хотелось их высказать. Но не поверить было нельзя — великий писатель.

Поэтому я молчала для женственности. Да и было о чем подумать про себя в лирические моменты. Были у нас проблемы, не снившиеся и маркизу де Саду: возможность аборта, например, или, по крайней мере — как в сортир коммунальный в чужой квартире пробежать, чтоб соседи не увидели, не донесли в милицию... А тут тебе Бердяев, и Флоренский, и «Философия Общего Дела»...

Она говорит: но у вас есть ребенок. Значит, у вас была большая, большая любовь? Страсть?

Какие все-таки наивные женщины шлюхи. Дети им кажутся какой-то экзотикой. Детей они считают признаком любви. Но ведь непорочное зачатие — повседневное явление, если считать порочным всякое удовольствие для женщины. Хотя, может быть, порочность происходит от удовольствия, получаемого мужчиной? Этот вариант в религиозных рассуждениях почему-то никогда не рассматривается.

Большинство детей на белом свете зачинается безо всякой любви. Так бывало и в старые времена, до сексуальной революции. А теперь сколько детей рождается если не от духа святого, то на почве достижений науки.

Она, конечно, феминистка. Феминизм всегда упускает из виду, что проблемы происходят не от взаимоотношений между мужчинами и женщинами, а от взаимоотношений между мужчинами, женщинами и детьми. Обычная женщина, вроде меня, в общем и целом проводит за свою жизнь гораздо больше времени с детьми, чем с мужчинами. Большая, непреодолимая, на всю жизнь любовь, страсть — она, конечно, бывает. Но необязательно к мужчине. Чаще — к ребенку. И притом довольно часто совершенно безответная.

Книгу, которая принесла ей когда-то международную славу, она обсуждать не желает.

— Лучше почитайте мою книгу о еврейском вопросе.

Она, представьте себе, еврейка. Где только наш пострел не поспел!

Этот еврейский вопрос у нее все время стоит, как в прошлом — многочисленные члены ее многочисленных любовников. Впрочем, среди любовников

были и лишенные членов: пять лет она сожительствовала с подругой. Что еще удивительнее — в какой-то момент ей так вся эта активность надоела, что она жила несколько лет в воздержании! Могу ли я этому поверить? Могу.

Потом у нее был инфаркт — видимо, от воздержания, — но она нашла свое счастье в законном браке. Она впервые в жизни вышла замуж! Могу ли я этому поверить? Могу: хотя кошек у нее в доме полно, но есть и муж, очень тихий.

Вот что интересно: женщины, если им скажут про кого, что, мол, бабник, — будут осуждать и не доверять. Мужчины же наоборот. Если женщина общедоступна, они к ней немедленно чувствуют не только физический интерес, но и искреннюю душевную симпатию. Почему-то им кажется, что из всех видов торговли именно этот — признак золотого сердца.

Она рассказывает, как они дружной семьей ходят вместе плавать в бассейн для нудистов. Могу ли я себе это представить? Могу, но не хочу. Я только что смотрела выставку Рубенса, но тут и Рубенс бы содрогнулся.

Нет, спасибо, не хочу я читать ее книгу о еврейском вопросе. Ни о судьбах еврейства, ни об экологии не хочу читать, ни о мире во всем мире. Я устала. Я уже в молодости про умное начиталась, предала сексуальную революцию, просидела на обочине.

Не достроил и устал, и уселся у моста... По мосту идут овечки...

Пансион декорирован тематически: такой бордельный диснейлэнд. Подушки на моей кровати из красного шелка, в виде сердец и сердечек. Почему-то напоминают скорее об ее инфаркте.

Вместо овец я пытаюсь на сон грядущий подсчитать свои немногочисленные романы, и мне становится мучительно стыдно перед грозным судией за то, что не была я активным участником революции, а всего лишь наперсницей разврата...

За ночь меня посещают два-три кота, требуют любви.

Утром хозяйка не появляется — она, по старой профессиональной привычке, спит поздно. Посредине стола сидит один из моих ночных клиентов. Серый, гладкий, похожий на кувшин с ушами.

Молодой человек неопределенного пола, не то прислужница, не то нахлебник, скорее гермафродит, подает мне завтрак. Он, она из Аргентины, мы почти соотечественники — из одного полушария. Узнав, что я еду во Францию, оно ужасается. Все жители нашего полушария ненавидят и боятся французов. По крайней мере, ту группу французов, с которой им приходится сталкиваться, — французских официантов. Он рассказывает мне о том, как ему назло дали непрожаренное мясо, а она ведь не ест с кровью. Это очень интересно: в Аргентине, на родине говядины, не едят непрожаренного мяса. Жаль, что я не успеваю его, ее расспросить — за такими колоритными деталями люди и отправляются в путешествия. Но мне пора ехать дальше.

* * *

По дороге в Дельфт много овец и толстых коров в тумане. В Дельфте звонят колокола и играет шарманка, пахнет копченой рыбой и клубникой, базарный день. Уличная еда тут — селедка, сама по себе, без хлеба. А рядом с базарной площадью магазинчики, где в витринах сладости и печенья из семнадцатого века, из голландских натюрмортов. Здесь пахнет кондитерскими. Не обычными человеческими кондитерскими, а теми, небесными, платонической идеей кондитерской, снившейся в раннем детстве.

Серебряные коньки, мальчик с пальчиком в плотине.

Детям продают фиолетовые воздушные шарики. Шарики эти улетают в небо, а выдохшись, плавают в каналах вперемешку с крякающими утками. Через каналы перекинуты легкие ван-гоговские белые мостики. И, конечно, вдоль каналов множество ларьков с луковицами сувенирных тюльпанов и с бело-синим дельфтским фарфором.

Обедаю я в закусочной среди рабочего класса: булочки с копченым угрем, гороховый суп с черным хлебом.

Бог эту нацию не особо одарил внешностью. Костей в лице не наблюдается. Так, ежедневные лица. Это можно увидеть и в живописи Золотого века, и у малых голландцев заметить, если не обращать внимания на богатство всей этой масляной краски, и на сосредоточенность живописца, и на прелести мазка и всей этой пастозности и лессировки. Посмотрите-ка на лица. Не очень красивая нация.

Из Дельфта в Гаагу идет трамвай. Идет он полчаса, но, видимо, есть какая-то грань между Гаагой и Дельфтом, считающаяся сельской местностью, потому что опять начинаются коровы, овцы, бараны. Может, потому и спится в этой небольшой стране так глубоко: овец много, есть кого считать.

Гаага — хороший город, жаль только, что его вроде бы эвакуировали. Людей нет, населения. Пусто, и дождь накрапывает. Иногда, впрочем, проезжает кто-нибудь на велосипеде. Трамваи ходят. Учрежденческий город, много здесь всяких учреждений и кафкианских международных судов.

В некоторые страны ездят пить минеральные воды, или прыгать на лыжах с гор, или охотиться на львов с фотоаппаратом. В Голландию надо ездить спать. Спишь в этой Гааге, как на гагачьем пуху. Комната белая в маленькой гостинице. Тихо: улицы-то пустые, только трамваи позванивают. А кровать сияет, особенно простыни. Чистые такие, будто их в корыте стирали, на стиральной доске терли и утюгом гладили. Толстые и шершавые. Занавески на окнах вишневые, из панбархата. Картинки на стенах, выложеные из цветной фольги, из крашеных серебряных бумажек: фрукты, цветочки — но почему-то не противно.

И спишь, и во сне тебе снится, что ты спишь... Целые сугробы сна, переходящие один в другой, как белые овцы, как небо из окна самолета... уснул обратно в детство, начитавшись книжек до одурения, и снится про вычитанные далекие места, и снится, что еще есть дальние, чужие, необъезженные страны.

* * *

В поезде, не успели отъехать, сразу и стемнело.

Поезд едет медленно, останавливается на тоскливой станции в захудалом городишке. Видна только стена кафельная, освещенная люминисцентным светом. Подростки околачиваются, как они околачиваются по всему миру, в надежде, что произойдет что-нибудь интересное и неожиданное. Если только смеяться и громко орать, и что-то жевать и сплевывать, и подталкивать друг друга в бока — вот-вот что-нибудь такое-этакое да и произойдет. Тоскливо им, должно быть, в такой глухой дыре...

Поезд сдвигается с места, медленно ползет мимо платформы, мимо станции, мимо надписи: Утрехт.

Утрехт! Это — Утрехт?

Мы на все эти имена и названия только облизывались в юности, вожделели к их недоступности. И все эти имена так и остались в юности, а реальные места, в которые мы притащили свои уже немолодые кости, оказались совсем не такими. Только изредка что-нибудь не обманывает — Дельфт, например. Там шар-

манка играла и пахло клубникой. Или Венеция... А вот Лондон — ведь он совсем не такой оказался. Наш Лондон был черный и темный. Трубы, трубочисты, цилиндры, цилиндрический черный бюст королевы Виктории, черные мокрые столбы газовых фонарей, черные сюртуки и стоячие воротнички жестоковыйных стряпчих и жестокосердых подьячих...

Лондон оказался светлым, довольно квадратным. Дружелюбный город. Широкие улицы, почти южная толчея... И Утрехт этот, он, может быть, и прекрасен, но в моей жизни навсегда останется долгой стоянкой у грязной кафельной стены. Больше я Утрехт не увижу.

* * *

И его, думала, не увижу. Думала, что встречать он меня не придет. А если придет — не узнаю.

Еще как узнала. Вот он идет по платформе в длинном широком пальто, очень у него европейский вид. Так всегда было, даже и там он казался европейцем, иностранцем, чужаком. У него интересное, элегантно поношенное лицо, со сложными морщинами, заработанными трудной жизнью в нескольких цивилизациях, с таинственно приплюснутым носом.

Это хорошо, что меня встречают, потому что тутошний серый рассвет мне не нравится. В этой стране мне неуютно. Тут говорят: «ахтунг». Тут говорят: «аусвайс». Мне все время кажется, что скажут: «хенде хох!». Я знаю, что это несправедливо, но лучше бы им было в процессе национального раскаяния и язык поменять. «Ахтунг!» — ну куда же это годится?

Он живет в маленьком университетском городке. Мы сидим в кафе. Внизу какая-то немецкая река. Например — Шпрее. Или Стикс. Или Лета. Разговаривать нам не о чем, вроде как камешки в реку Стикс кидать и смотреть, как круги расходятся.

Теперешняя его жена тоже присутствует и к задушевности не располагает. Она здешняя, нос у нее уточкой. У нее есть иллюзия, что она умеет говорить по-русски, и совсем нет чувства юмора. Это не сразу замечаешь. Как, бывает, у человека странное выражение лица, а потом понимаешь, что один глаз стеклянный.

Мы все время сворачиваем на разговор о прежнем нашем месте жительства. Я эти разговоры не люблю. Уехали так уехали. Нечего претензии предъявлять, пусть они там сами разбираются. Они же и отдуваться будут, не мы.

Но как и почему он живет в маленьком немецком городке — об этом я тем более не хочу расспрашивать. В доме повешенного не говорят о веревке. С ним произошло тут, в Европе, страшное несчастье: он всю жизнь проработал на обычной работе, с восьми до пяти. Жена, славистка эта, заставила. А ведь предполагалось, что он книгу напишет, философский роман, станет знаменитым...

Поэтому мы обсуждаем то, что происходит в местах нашей прежней инкарнации. Он говорит, что не ездил туда ни разу с самых с тех пор, как начали нас, бывших покойников, пускать. А ведь мы можем там появляться. Как зомби. Вроде бы входить в контакт с прошлым. Хотя контакт-то какой? Про это я могла бы ему порассказать. Я там была, мед-пиво пила: мы кидаемся обниматься и ловим воздух, руки наши проходят друг через друга, целуем призрачные лица, как много раз целовали во сне. Общение ускользает, между пальцами проскальзывает. Ах, ты совсем не изменился! Ах, я бы тебя сразу узнал!

Как бы не так.

А наша-то встреча? Я теперь начинаю понимать, как сильно он изменился, Он говорит много лишнего и заведомо очевидного.

Например, он говорит о своей неприязни к возникшим там после нас явлениям, особенно к жутким неологизмам. Я эти неологизмы тоже ненавижу, они оскорбляют оба моих родных языка — и английский и русский. Как будто у тебя любимые кошка и собака, а какие-то подонки их скрестили и заставляют производить на свет монстров и химер. Это уже не лингвистика, а вивисекция, остров доктора Моро.

Но ведь чтоб прощать и даже любить жаргон, надо его знать еще с зарождения. Вот и противного подростка с прыщами любишь, если знал младенцем.

Я его все меньше узнаю. Зато себя узнаю, не теперешнюю, а прежнюю: я автоматически начала слушать, кивая и поддакивая, чего уже давно не делаю. Привычка, значит, где-то сидит.

Наши герои, битые по голове и всячески униженные в своем мужском достоинстве — как мы их жалели! Неправильно считается, что в русском языке нет приличного эвфемизма, обозначающего секс. Есть он. Это дело называется: жалеть. Его одна баба жалела. Она Ваську пожалела и забрюхатела. То-то и оно.

А в нашей интеллигентной среде жалость выражалась и в виде страсти, и в виде интеллектуального подобострастия.

Там, где я теперь живу, такое бывает только в черном гетто. Если группу населения унижают скопом и в историческом масштабе, то мужчины начинают много думать о чести и уважении, или, как теперь по-русски говорят, — о респекте. Получить это негде, кроме как от женского пола. У нас в Нью-Йорке аристократическое понятие чести существует только в городских бандах, у них же и забота о респекте. Им необходимы женская самоуниженность и самоотверженность. Черные женщины, ну, совершенно как мы когда-то, — работают, содержат семьи и мужчин своих жалеют непрестанно.

Жена его все говорит: «Я будет уходить, я будет уходить», но никуда она не уходит. Она, видимо, принадлежит к распространенной породе славистов, которым все мерещится, что от них скрывают тайну русской души, этакий философский камень из сказки Бажова. Они всегда сидят до победного конца, прислушиваются к пьяным разговорам, надеются уцепить эту Душу. Как будто им тут же за это и полную профессорскую ставку дадут.

Славистов я не люблю. Не переношу я их. Очень неприятно, когда тебя изучают заживо. Один славист целый вечер просидел в моем доме, а потом возьми и спроси: «Скажите, до какой степени вы типичны?». Задушить тебя мало, думала я тогда. А теперь думаю — очень даже была я типична со своими домашними пирогами.

С другой стороны, может, она будет уходить, будет уходить — а сама ревнует к соотечественнице? За такое человеческое чувство можно ее и простить. Но не нравится она мне. Косноязычие ее мне кажется безнравственным. Если уж чистоплотность считается богоугодной, то чистота речи — тем более. И притом она ему договорить не дает, все время перебивает.

А я слушаю проникновенно и истово. Как паства в черной церкви: Аллилуйя! Аллилуйя! Воистину!

Хотя ничего особо интересного он не говорит. Все, что он говорит, я знаю заранее, более того, я уже когда-то так думала, а потом перестала. Чужие мнения надо уважать, но очень трудно уважать свои собственные устаревшие мнения, свои собственные прежние глупости. Однако я дарю соотечественнику почтительное женское внимание, как сувенир прошлого. Вроде пачки «Памира».

Но, к сожалению, он начинает мне объяснять про мою теперешнюю страну, про ее ужасные недостатки. Это теперь в Европе модно. Это ему ночная кукушка накуковала.

Ну и пусть, пусть объясняет. Не могу ведь я ему рассказать за пять минут чем прекрасен остров, на котором я живу, не могу зараз преподать суровую науку: как любить Нью-Йорк ***(см. примечание)***.

Тут и славистка вступает:

— Это типично для русский эмигрант — национализм, где страна живешь. Почему защищать этот американцев?

— У меня ребенок американец, — отвечаю я бестактно.

И утрись. Я против тебя совершенно ничего не имею, бездетная утконосая славистка. Но не трогай мою где страна живешь. Не учи меня про эмигрантский национализм, а я с тобой не буду ни о чем, начинающемся на «наци»...

— До свидания, — говорю я.

Какое там «до свидания», больше мы не увидимся. И сказать нечего, и времени нет. Дни, как шелуха, как кочерыжки объеденные, как труха на дне старого ящика, к употреблению непригодные... Ни утра, ни вечера, сон наплывает с полудня...

Но в маленьком немецком городке уснуть невозможно. Говорили мы о какой-то ерунде. Но не молчать же. Молчание и все, приближающееся к нему, как сказано в одной старинной книге, напоминает об альковных тайнах. Об альковных тайнах нам вспоминать теперь ни к чему.

Он жил в узкой комнате, где одна только койка и помещалась, в коммунальной квартире на далекой окраине, и много там творилось всякого греха. Пили мы исключительно коньяк «Плиска», хотя один раз достался нам валютный «Наполеон», потом мы бутылку под свечку приспособили. Свеча горела на столе, такая романтика. Окно было всегда занавешено байковым одеялом, потому что на первом этаже. И холсты висели впритык по всем стенам, авангард и нонконформизм всяческий, довольно жуткие картины. А комната была не просто маленькая, как келья, она и вправду была бывшая келья. Когда-то там был монастырь. Подворье монастырское. Грачи летали. Колокольня, но никакого колокола, ни, тем более, креста.

Он был таинственный, к чему-то всегда причастный, каким-то боком относился к истории. Его в детстве так мучило скудоумие ровесников, что он и взрослый побаивался людей, подозревал в них удачно мимикрировавших двоечников. Комплекс вундеркинда. Там, в стране взаимной умильности и взаимно напудренных мозгов, где добродушие сливается с равнодушием, он был совершенно не к месту. Очень неприятно выделялся со своей вежливостью и корректностью.

Со мной-то он не был вежлив, и я считала, что это большой комплимент. Но так продолжалось несколько лет, и мне надоело быть для него каникулами, плавать в невесомости. Выдохлась я, как дельфтские воздушные шарики.

Он скрылся по ту сторону горизонта и только присылал иногда письма из миража, а мираж этот казался совершенно несуществующим, возникшим на почве моей жажды и безнадежности окружающей пустыни. Какие там пальмы, какой оазис — голову напекло в коммунальной, на пять семей и четыре конфорки, кухне... А потом, в теперешней инкарнации, в скалистом моем городе, на суровом моем острове, где простая и непреложная бухгалтерия доказывает невозможность никаких разлюли-малина романтических воспоминаний, и европейских капризов, и безответственных каникул — до того ли было?

Но все же вспоминала и думала, что встретимся и что-то разъяснится...

Теперь это полуразвалившееся подворье покрасили, крест позолотили, религию реабилитировали, газовые плиты у дверей больше не стоят. И та замечательная комната теперь опять келья, свечки в ней зажигают с другими целями. Но греха там, я уверена, полно. Под кроватью, небось, опять запрещенные книж-

ки спрятаны. Только теперь — унылая монашеская порнуха, а не стихи, романы и религиозно-философские трактаты, не самиздат, как у нас...

Мне попадался и другой учебник, сочинение маркиза де Сада «Сто ночей Содома». И опять поразило меня количество правил, списков, дотошных расписаний, и одна, самая удивительная фраза: «Все оргии должны завершаться в два часа ночи». Ах, маркиз, маркиз, да где ж ты такие оргии видал, которые «должны»? Да еще в два часа ночи?

Они ведь похожи были — самиздат и адюльтер. Незаконные свидания на одну ночь, наслаждение, обостренное опасностью... Прочти и передай, извините за выражение, товарищу. Свободная любовь, свободная литература, тяжелые последствия...

А объективные качества наших партнеров, как и объективная ценность прочтенной нами тогда литературы, были неизвестны и останутся неизвестны... Лучше не смотреть в ту сторону, не перечитывать.

Вот что я о нем знала, чего никто не знал: он всегда так боялся скуки и обыденности, как люди боятся крыс и темноты. Кто чего боится, то с тем и случится. И будет случаться, каждый день, с восьми до пяти, до самой смерти.

...Кузина, помнишь Грандисона?

* * *

Во Франции, в приближающейся Франции, есть у меня не то чтобы кузина, а дальняя родственница, скорее подруга. Приятельница.

Днем я буду бегать по городу, а ночевать у Дашеньки.

Дом старый, внизу булочная, и дом весь, как булка, с лепниной. Я похожие узоры лепила когда-то из теста на пирогах для неблагодарных славистов. В подъезде изразцы с порочными модернистскими извивами, болотного, извращенного цвета. Узорчатые перила лестницы; по таким лестницам в фильмах, стуча каблуками, сбегают убийцы. Древний, красного дерева, трясущийся лифт. Очень красивая трущоба.

Дашеньку не видела я много лет. Она рыжая, кузина Дашенька, широкая душой и телом, тициановская и роскошная.

Она предлагает мне борщ. Квартира пахнет капустой и махоркой. Видимо, в Европе их не обеззараживают, не дезинфицируют, как нас в Новом мире. Мы уже давно не пахнем, тем более — капустой.

Весь первый день Дашенька поит меня спитым чаем из гжельского чайника, побуревшего от частого употребления, с ущербным горестным носиком. К вечеру, то есть с пяти часов, мы пьем водку.

Я отвыкла сидеть часами за неубранным столом, покрытым к тому же платком с бахромой, с пятнами борща и свекольного цвета розами. Посредине стоит резная славянская шайка с окурками.

Мы вспоминаем прошлое. Она почему-то думает, что в прошлом у нас было много общего. Но ее прошлое было гораздо интереснее. Ей бы с амстердамской блудницей познакомиться. Впрочем, между двумя такими массами экзгибиционизма может произойти не притяжение, а отталкивание.

Хотя страсти у Дашеньки, конечно, другие. Страсти ее не только не доходные, а всегда убыточные. Она романтик, у нее собственная жизнь с прочитанной сливается.

Все дело в том, как ты об этих страстях первоначально узнаешь. Вот теперь для детей учебники выпускают, и там написано, что у пап бывают краники, а у

мам — дырочки, и эти нудные краники и мерзопакостные дырочки входят в контакт исключительно с демографическими целями.

Как говорила королева Виктория: «Зажмурься, дочь моя, и думай о Британской Империи».

Оправдывается этот ужас тем, что иначе дети узнают о фактах жизни от своих ровесников, получат искаженную и вульгарную информацию.

Я получила информацию от ровесников, но тоже про империю часто вспоминаю. Нас информировала бледная и недокормленная восьмилетняя Раиска, жившая на фабричной заставе. И сказало это дитя народа следующее:

...Пришел Пушкин к Императрице Екатерине Великой. Она ему показывает и говорит — это что? А это что? А это?

Пушкин все назвал. Тогда Императрица Екатерина Великая говорит:

— Ложись, Пушкин, на поле Алтайское, звони в колокола Китайские, суй штык Наполеона в пещеру Соломона!

И что же тут, скажите вы мне, вульгарного и что тут неправильного, кроме небольшой хронологической ошибки с Екатериной?

Так это и слилось неразделимо в наших девичьих мозгах: штык Наполеона, и поэзия, и история, и необъятные просторы Алтая, и Песнь Песней, и храбрый Пушкин, дающий всему имена, как праотец наш Адам.

Голландская сонливость у меня прошла совершенно — или это было с перелета? В четыре часа ночи за окнами шум, как во всяком бедном районе, а в квартире душно и прокурено. И подумать только, что когда-то и я курила! Теперь даже вспомнить странно.

Я встаю с дивана, пробираюсь в незнакомой темноте к столу, выкидываю окурки из шайки. Подхожу к окну с бронзовой задвижкой, с мраморным подоконником. Из окна виден и вправду мокрый бульвар, дрожат фонари в лужах, по бульвару и вправду под мелким дождем спешат люди с зонтиками — видимо, парижане. Утром я отсюда сбегу.

Утром на бульваре и вправду жареные каштаны продают. Серо, мокро, свет перламутровый. Я в Париже? На углу под деревьями — вход в метрополитен. Самый красивый в мире, порочный и растленный шрифт модерн. Но там, внизу, я еще не была. Я и изразцов в подъезде больше никогда не увижу. Меня кузина не отпускает. Окно заперто, она по старинке сквозняков боится. А внутри квартиры из французского — только голубенькие пачки «Голуаза».

— Чего ты там не видела, — говорит Дашенька. — Дождь, простудишься. Скучный город, уверяю тебя. Никакой в нем романтики. Лучше поговорим, посидим. Хочешь чаю? А водочки? И ничего не рано. Я борщ могу разогреть. Помнишь, как...

Дашенька закупает водку в цистернах: одна ручка сбоку и дополнительная ручка у горла, иначе не поднять. Это под крышами Парижа так можно, а у нас, если о прошлом размышлять, — как раз без крыши над головой и останешься. У нас больше про завтрашний день задумываются.

Я не совсем в Париже. Я совсем не в Париже. Дашенька с большим трудом достала где-то гречку, специально для меня, и угрожает сварить гречневую кашу, и не верит, что живу я в таком городе, где мирно сосуществует еда не только всех народов, но и всех эпох.

А из нашего общего прошлого я помню только одну ночь.

Она прибежала ко мне поздно вечером, без звонка, с очень тяжелым чемоданом, набитым книгами, с бутылкой водки и двумя дефицитными свеже-зеле-

ными огурчиками. И книги, и огурчики принес в ее дом иностранный журналист. Водку она купила сама.

Весна была, шел проливной дождь. Дашка переоделась в мой халат и сушила свои огромные, дикие, замечательно рыжие волосы.

Вначале предполагалось, что мы немножко выпьем, она пойдет домой, а я припрячу эти опасные книжки на неделю. Они с мужем боялись обыска. Но выпить немножко она уже и тогда не могла. Кроме того, до самого моего дома за ней шел какой-то тип.

— Ну, ни в жизни не догадаюсь: это слежка или он ко мне пристает? Может, хвост. А может, я ему просто понравилась.

Чекист шел за Дашенькой или сексуальный маньяк, а все одно лучше было пересидеть. Тем более что потом даже гроза началась.

И она целую ночь рассказывала мне про свой тогдашний роман.

Рассказывала она, с одной стороны, с глубоким психологизмом и с множеством литературных параллелей, с другой стороны — с деталями, достойными амстердамской блудницы. Замечательная рассказчица была Дашенька. И замечательный конспиратор: имени своего возлюбленного так и не назвала.

Под утро она убежала домой, муж ее к тому времени уже с ума сходил, думал, что загребли ее тепленькую с чемоданом.

А я осталась размышлять о странностях любви и перечитывать принесенные ею сокровища. Орвелла, который воспринимался особенно остро, так как мог в любую минуту перейти в реальность. «Доктора Живаго», который наводил на мысль о том, что чего не бывает, любовь зла.

Полюбишь и козла — по описаниям Дашкин возлюбленный показался мне сущим козлом. Дашенька считала своего козла гением, и было ясно, что он это мнение полностью разделяет, что он претенциозный пижон. Какую-то он собирался философскую книгу написать и прославиться на весь мир. И она, глупая, рыжая, пьяная Дашка, во все это верила.

«Доктор Живаго» производил тогда неизгладимое впечатление на наших молодых людей: высокая и самоотверженная любовь, которую герой чувствует одновременно к двум женщинам, и особенно — взаимное уважение и мир между его избранницами. Нам Лару и Тоню ставили в пример, и мы в своем скудном умственном хозяйстве старались смириться с этой несколько утопической гаремной идиллией. Но натура-то наша, в самой основе и утробе своей косная, потому что детородящая, чадолюбивая — натура-то наша все равно втайне жаждала моногамии.

И ведь мне казалось тогда, как всем кажется в молодости, что жизнь у нас была самая обыденная и скучная. Ну, роман у Дашки. Ну, притащила чемодан. Тяжелый чемодан, тянет лет на десять. У подъезда ходит тип. То ли чекист, то ли сексуальный маньяк. Скучно все это, а настоящая жизнь начнется когда-нибудь позже, в Париже или в Утрехте.

Что с ней потом произошло, я все-таки смутно понимаю. Например — зачем она в Париже? В конце концов, «Голуаз» теперь можно всюду достать.

— Дашка, — спрашиваю я, — а помнишь, ты мне рассказывала про свой роман?

В так называемом Париже идет дождь, и опять водка, и окурки, и опять Дашенька рассказывает про свой роман. Она уже не такая красавица, как была, не такая рыжая. Но все еще широкая и душой и телом, и прекрасная рассказчица.

Оказывается — нет, не всю свою жизнь она мне рассказала в первый же день. Оказывается, еще много чего произошло. Любовь ее к тому претенциоз-

ному козлу была величайшей любовью ее жизни. Так она его жалела, так жалела. Но они с мужем уехали на лето подальше от обысков в деревню, и там, среди еловых и сосновых лесов, и сбора грибов, и постоянного подпития, у них случилось короткое семейное примирение. И она понесла. Вот ведь интересная история: можешь понести. По пьяной лавочке. И из всякой ерунды — грибов, дождя, жалости — такое получается, что уже за всю жизнь не расхлебаешь.

Тут она начинает плакать.

Дашенька отказалась от своей любви. Она осталась с мужем, потому что хотела, чтоб ребенок рос с отцом. Ребенок и растет с отцом, а отец живет с совершенно другой женщиной в Англии.

А почему она в Париже? Ну, Европа все-таки, ближе к Англии. В саму Англию не получилось, визу не дают.

А что же возлюбленный ее, козел тот, который должен был прославиться?

Он, оказывается, женился на какой-то зануде. Живет в маленьком университетском городе.

— В Германии? — пугаюсь я.

— В Германии? — удивляется зареванная Дашенька. — Нет, почему, он в Италии....

Франция, Англия, Германия, Италия... Бред.

— Ведь ты сама знаешь, — всхлипывает Дашенька — каково жить на чужбине...

— Я не живу на чужбине, я в Нью-Йорке живу, — поясняю я автоматически и тянусь за пачкой «Голуаза».

Так мы и сидим, курим: ветераны революции.

Потом я вру что-то о перенесенном рейсе и от похмельной опухшей Дашеньки убегаю в Париж.

Гостиница оказывается постоялым двором, караван-сараем для перемещенных лиц арабского происхождения. Запах тут тоже тяжелый, основные составляющие все те же: удушливая беженская тоска и французская махорка. Но хоть борща нет — тут кус-кус.

Зато в комнате жалюзи, скрипучий большой шкаф с незакрывающимися дверцами и специфически французский предмет, называется: биде. На завтрак выдают кофе и кусок сухого хлеба, называется: багет. Биде, багет, мелкий дождь, чего мне еще надо?

Я иду в Лувр. Музей этот очень похож на вокзал. Хорошо бы уйти в боковые комнаты, там посвободнее, там висят тихие натюрморты. Но долг — то есть долг на кредитной карточке, цена, заплаченая за авиационный билет, — велит проталкиваться к Моне Лизе.

Среди толп и шума лучше гулять по улицам, хотя реальный Париж ничем не отличается от своих изображений. Голод мучает, потому что у французских официантов и вправду куска хлеба, то есть багета, не допросишься. Ремарк, Эренбург, Хемингуэй, Генри Миллер, Сислей, Моне, Флобер, Жанна Моро, Жан-Люк Годар, Дюма отец и сын, Ренуары отец и сын... А далеко на севере, в Париже, холодный дождь идет...

Холодно в караван-сарае. Жалюзи скрипят, шкаф скрипит, биде бормочет.

И не спится. Какой-то мелкий, неопасный для жизни инцидент, вроде бумажного пореза, вроде разговора с Дашенькой, может быть остро болезненным, так что всю ночь не заснешь.

— Скажите, а вы типичны? — спрашивает меня во сне утконосая славистка, — Ведь вы типичны? Признайтесь, иначе я не будет уходить.

* * *

Зачем меня понесло в эту Европу, в эту альтернативную инкарнацию? Здесь слишком сложно. У нас проще. У нас считают, что врать — нехорошо. У нас не любят морального разложения. Приеду — хоть одежду выбрасывай, так все у Дашки прокурилось. У нас свободное время отчасти даже и позор, символ деградации, клеймо европейского разврата. А у них тут в Европе — торжество социализма, бездельники они. Каникулы, сплошные каникулы, сплошное вранье. Все эти мои встречи с прошлым — факт, но к реальности отношения не имеют.

Правильно сотрудники мои подмигивали, узнав, что я еду в Европу. У нас при упоминании Франции принято подмигивать, а при слове «Амстердам» смущенно хихикать.

Ну их всех — и я уже начинаю думать на другом языке. На этом языке я думаю проще и конкретнее. Как будто скидываю разношенные туфли и надеваю тесную деловую обувь. Не в шлепанцах же скалолазанием заниматься.

Надо будет в самолете путеводители почитать, названия соборов в Дельфте запомнить. Как эта река Стикс в Германии на самом деле называется? Эльба, что ли? И музеи, кроме Лувра. А то дома рассказывать будет нечего.

Вот уже и белые овцы облаков редеют и расползаются. По замусоренному светлеющему самолету разносят фальшивую еду. На экране самолетик прыгает, прыгает — приближается к родным берегам. Объявляют, какая там, внизу, температура. Надо же, дикий холод. Ничего, сегодня пятница, а к понедельнику, глядишь, дикая жара начнется. У нас бывает.

И уже начинают приближаться беспощадные кристалы и сталактиты, розовые и аметистовые в ледяном рассветном солнце, и крошечным пламенем елочной свечки загорается веселый «Крайслер», скребет небо, подмигивает мне.

Никому он не родина, зато никому и не чужбина. Мой город, Новый Амстердам, где всегда — завтрашний день.

ПРИМЕЧАНИЕ: КАК ЛЮБИТЬ НЬЮ-ЙОРК

Знаком до слез весенней аллергии этот город, наплывающий сперва обонятельным облаком благоухания, заранее, еще за квартал до зримого облака розового и избыточно цветущего дерева; да чего уж там, даже и тревожащее, противозаконное и прельстительное облако марихуаны подплывает к тебе в весенних сумерках, анонимное и глубоко волнующее — вон, не от того ли хмыря... Да чего уж там, чего уж там — даже и яростная вонь хлорки, от которой глаза слезятся, щедро выплеснутой поздно ночью уборщиками на ступени лестницы, текущей вниз, в ад, в апокалипсис, в безлюдную, и нехорошо освещенную, и отнюдь не безопасную станцию — даже хлорку-то эту уже знаешь и любишь.

В глубине души своей, вибрирующими костями наизусть знаешь и чувствуешь приближение в туннеле долгожданного и спасительного поезда, когда этот поезд еще и не начал даже высвечивать постепенно разгорающиеся туннельные рельсы.

О, как они разгораются, и скоро, скоро будешь уже сидеть в вагоне и через час, через полтора уже и на поверхности.

А по дороге, на пересадках, пока тащишься по бесконечным кафельным подземным коридорам, сколько еще музыки услышишь. И саксофоны услышишь, и мексиканский аккордеон, и свирель с Анд, и маримбы, и там-тамы, и гулкие металические котлы с Ямайки, и кореец возле эскалатора будет водить смычком по какой-то ноющей струне, и пожилая пара будет петь под гитару

печальный испанский романс, заглушаемый визгом и скрежетом вагонных тормозов...

Чтобы играть в особо престижных местах — на платформе под 59-й улицей или в переходах под 42-й — люди проходят прослушивание, серьезный профессиональный конкурс. Здесь можно очень хорошо заработать, среди рева проносящихся поездов, неподалеку от бегающих по рельсам существ, про которых жители города любят туристам баки забивать, что это, мол, подземные белки.

Белочки у нас такие, с голыми хвостами...

А там только добежать до дома, до того места, которое на данный момент называется домом... Вернуться домой из тесной захламленной Европы...

И из этого дома можно и нужно уходить и ходить долго, очень быстро и очень далеко. Возникает тогда ощущение невидимости; ты проходишь и уходишь, и совершенно уже невозможно остановиться и ввязаться во что-то или заговорить с кем-то. Проходишь мимо и уходишь, и постепенно дохаживаешься до транса, до восторга такого, какой от музыки бывает, до экстаза собственными ногами дохаживаешься. И все-то думают, что идешь по делу с таким устремленным видом, а ты просто идешь мимо. Глядишь глазами, и ноги уже помимо тебя движутся, и ты соглядатай. А на самом деле интереснее всего соглядатаю. Соглядатаю мерещатся тайный смысл, сюжет и интрига.

Расы и народы здесь все еще разноцветные, не перемешавшиеся до вялой европейской бежевости. И погода здесь не мелкопротертая, как в Европе, а рубленная крупными, малоцивилизованными, колониальными кусками. Вьюги перемежаются тропическими ливнями. Вишни, расцветшие по ошибке в понедельник, к среде гнутся под сугробами мокрого снега. К пятнице вишни заледенели, и цветы во льду — как мухи в янтаре.

За ночь зима на лето сворачивает, температура поднимается градусов на двадцать. Ветер воет, как в аэродинамической трубе, железо скрипит и скрежещет, и возбужденные ураганом машины воют сиренами. Нью-йоркские автомобили очень чувствительны к погоде: ветра, грозы боятся и начинают выть, звать хозяев.

К утру огромные ветви старых деревьев будут валяться повсюду.

— Это Лаура? — спрашивают прохожие.

— Нет, это уже Матильда.

Имена ураганов. Ветра спрашивает мать: Где изволил пропадать?

Дома стоят вплотную, нет между ними промежутков. Там, раньше, в прежней нашей инкарнации, были эти промежутки между домами, ничейная земля, черные провалы в никуда, и подворотни, и арки дворовые; и все это вызывало чувство жалости. Предметы, тени от предметов даже, вроде бы, были несправедливо обижены. Тени от домов лежали незамысловато, тупо, покорно, под прямым углом. Желтая краска облезала со стен, серый снег обрушивался под ногами. И все вызывало это приторное, похотливое, достоевское чувство жалости.

Здесь ничейной земли нет, каждый дюйм обмерен и оценен. Здесь тени домов взлетают по фасадам, как акробаты, как обезьяны, отражаются, преломляются. Здесь и деревья между собой конкурируют, и листва на них шелестит не просто так, а для пущего пиару.

Как любить Нью-Йорк? Как любить этот город, которого не жалко?

Посредине города находится парк, посредине парка находится карусель, в пестрых ладьях и каретках, на расписных лошадках кружатся и кружатся дети

под узорчатым шатром, и с утра до вечера несется оттуда механическая цирковая музыка.

В других городах находился бы в этом месте главный собор. Или правительственный дворец. Или мумия основателя лежала бы в мраморной гробнице под охраной очумелой стражи.

Тут — карусель. Такой фривольный город.

Кругом красота природы. Облака стоят над лугом, как концертные рояли в белых чехлах. На горизонте деревья, за ними — небоскребы. Летом на этом лугу будут филармонические концерты, придут тысячи людей, множество пестрых скатертей расстелят для пикников, будут пить вино и слушать музыку в сумерках, в постепенно темнеющем парке, и где-то после аллегро, в начале анданте — зажгутся фонари.

А пока деревья только занимаются, зелень еще скромнехонькая, совсем желторотая.

Но вот у богатых людей уже благотворительный вечер. Богатые люди, они уже загорелые, они очень хорошо смотрятся в летних сумерках. Они кушают. В белых шатрах.

Сегодня такой вечер, когда все белое светится в сумерках. Кажется, что-то произошло: толпы, оживление. Но ничего не произошло, просто самый лучший вечер в году, в начале весны.

Много собак. Мелкие ничтожные собачки, дрожащие от истерической, почти кошачьей, любви к себе, и большие, доверчивые собаки с обслюнявленными теннисными мячами в улыбчивых ртах, сияющие рыжей шерстью на весеннем солнце.

Одна лежит на траве навзничь, подставив громадную грудную клетку для публичного чесания. Народ ее чешет, а линяет этот пес так, что от дуновения ветра шерсть летит на близлежащую свинину и курятину на всех жаровнях и прилавках.

И в то же время идет мимо демонстрация Хари-Кришна. Не в знак вегетарианского протеста, а просто по совпадению, что городу свойственно.

Еще в траве школьники валяются, с тетрадями, учебниками и компьютерами, потому что по весне бог посылает студентам и школьникам экзамены, чтобы отвлечь их хоть немного от мыслей о сексе.

И тут же дама, с огромным трудом присевшая на корточки в тесном, почти лопающемся атласном платье, сосредоточенно раскладывает шлейф невесты на фотогеничной траве, и ассистенты фотографа высвечивают лицо невесты экранами-рефлекторами, а невеста, продукт работы множества профессионалов, давно уже, бедняга, за пределами добра и зла...

Да, мы дошли до музея... Если вы так настаиваете — зайдем.

Вот слепой, в инвалидной коляске, на экскурсии, с приставленной к нему искусствоведкой. Она описывает для него каждую картину. Это звездный час искусствоведки, наконец-то ей удалось своими велеречивыми словесами полностью заменить изображение. Слепой, по-видимому, был прежде зрячим, так как она ему описывает цвета: жемчужный, слоновая кость, синий, глубокий такой, как у Матисса. Слепой счастлив, он все поддакивает, энергично, с наслаждением: «Да! Да! Да!». Практически совокупляются люди.

Это, может быть, впервые и от искусствоведки произошла какая-то польза, от паразитической ее профессии. Бесплодная смоковница окотилась.

А вот музей Латинской Америки. Восхитительный музей, каких теперь уже не делают: солидный, скучный, коричневый. Витрины и шкафы полированного

ореха, с бронзовыми замками и засовами, на терракотовых ногах. В некоторых витринах этикетки, представляющие самостоятельную музейную ценность: напечатаны еще на пишущей машинке.

Сюда редко ступает нога человека. Музей находится в бедном и малопосещаемом районе, где живут люди из Латинской Америки. Однажды, лет тридцать назад, в самый нехороший момент, когда город был в финансовом и прочем кризисе, работники музея позвонили в полицию и сообщили, что произошла перестрелка и на ступенях музея лежит покойник. Полиция была в те времена так занята, что мертвое тело убрали только через сутки. А теперь — ничего. Даже посетители иногда бывают. Гойя тут, между прочим, висит.

Прелесть Музея естественной истории и этнографии в том, что он полон жителей Нью-Йорка. Многих посетителей можно поместить в витрину, даже не переодевая. Все время думаешь: насколько посетители отличаются от экспонатов? Ведь не на тысячелетие отстоят, лет на сто — двести от силы.

В витрине засушенные головы. На табличке написано: теперь у этого южноамериканского племени засушивать головы убитых врагов незаконно. Спасибо, объяснили.

Перед витриной на музейном ковре, изнемогая от скуки, валяются разноцветные нью-йоркские школьники.

Девочка, возможно, потомок того же племени, которое больше головы не засушивает, говорит корейской подружке:

— Какие они все были трудоемкие!

— Трудолюбивые, — строго поправляет грамотная кореянка.

— И су... су…

— Попробуй употребить это слово в предложении.

— В чудеса верили?

— Ты хочешь сказать: они были суеверные.

Но подруга уже не слушает, увидев витрину: «Ритуальное употребление наркотических средств».

— Моя религия! — вопит она.

Набоков пишет в мемуарах, что тут в фойе музея изображен его отец. Но ведь Набоков и соврет — недорого возьмет? Однако — правда. Вот фреска: «Подписание русско-японского перемирия». Над головой джентльмена в сюртуке в виде нимба надпись: «Набоков».

В галереях современного искусства на вернисажах все обычно стоят спиной к стенам. Разговаривают и знакомятся, пьют белое вино.

И правильно: спиной к стенам гораздо красивее. Можно смотреть на девушек с плоскими загорелыми животами и серебряными серьгами в пупах. По крайней мере они сделали свое дело, потрудились над животами, повысили эстетический уровень выставки.

Над самой экспозицией никто так не трудился, да и некогда было — все эти художники днем зарабатывают на жизнь какой-нибудь настоящей работой. Поэтому современное искусство отличается быстротой выполнения.

Главное — оно бунтарское, мятежное, провокационное, революционное и эпатажное. Оно эпатирует буржуазию. А буржуазия любит, чтобы ее художники эпатировали. Она это прилично оплачивает.

Позднее, ночью, девушки с серьгами в пупах будут танцевать в клубах, где стены выкрашены черной краской, где в полной темноте ревет электронная музыка.

Девушки танцуют поодиночке, извиваются в трансе, как змейки заколдованные, их удивительные юные животы и прелестные лица освещены снизу таинственным голубоватым светом мобильников: танцуя, они не перестают виртуозно быстро перебирать одним большим пальцем клавиатуру, отправлять послания в ревущую тьму пространства, как будто каждая из них — радистка на своем собственном тонущем корабле. Они шлют сигналы туда, где хорошо, туда, где нас нет. Ищут и ищут чего-то еще более интересного, чем этот ночной клуб, такой закрытый, такой подпольный, что только по паролю в дверь пропускают.

Мы-то стены в черный цвет не красили, у нас и так было цветовое голодание.

Мы хотели ярких цветов, за которые дружинники арестовать могли. И одежду нам дизайнеры не рвали. Ее для нас снашивали иностранные стажеры и туристы, потом перекупали фарцовщики, и нам одежда доставалась на черном рынке уже такая полуистлевшая, как теперь и дизайнерам не снилось.

И еще наша юность имела в изобилии нечто совершенно подлинное, высшего качества: опасность у нас была настоящая.

А ведь молодежи необходима опасность, как оленям — соль полизать. Отверженность им нужна, романтическая мятежность. Вот они и приходят в эти клубы, как на солончак.

Ну а местное современное искусство, оно по большей части — да, ужасно. Но в других местах еще хуже, так как является имитацией здешнего искусства. Как у глупого школьника, подражающего выкрутасам главного идиота в классе.

Возле Музея гималайского искусства происходит буддистская ярмарка.

Рыжий еврей, истощенный не свойственным еврею вегетарианством, на гималайской свирели играет. Предлагают лечить собак иглоукалыванием. Собирают деньги на афганских сирот. Интересно, что на эти деньги афганские сироты себе купят?

Все в восторге от собственной политической активности, на всех лицах — блаженные любвеобильные либеральные улыбки.

Вдруг раздается оглушительный, металлический, резонирующий грохот. Что ли, началась? Обещали демонстрацию танцев страны Бутан: Изгнание Неистовых Демонов или Пляски Ужасающего Божества. Но нет, это помойная машина приехала, мусорщики грохнули урнами — такой мелодичный звук.

А когда начинается Ужасающее Изгнание Неистовых Демонов, то его и разглядеть и расслышать в общей толчее трудно.

Два монаха в халатах и митрах брусничного цвета сидят на ступенях. Они тихо тренькают медными тарелочками, изредка ударяют по расписным барабанчикам.

Потом дервиши выходят, шаманы бутанские. Одеты шаманы намного ярче, чем обычный нью-йоркский сумасшедший, но совершенно в том же стиле. На головах разноцветные косы, как войлочные веревки, тряпки разноцветные у пояса навязаны, обмотки на ногах, бубенчики. Вот они начали потихонечку подпрыгивать, иногда немножко кружиться.

Бутанцы обещали помочь городу Нью-Йорку по части очищения от дурных духов, и они очень стараются. Но наших злых духов такими танцами не изгонишь, особенно после недавнего биржевого краха. Сейчас по всему городу неистовые демоны разбежались, как тараканы по кухне от тараканомора. Но постепенно понимаешь, что цель этих нежных бутанских танцев — не изгнать бесов, а усыпить: многочисленные присутствующие дети и младенцы уже прикорнули.

Продают целебный напиток из таинственной комбучи, и оказывается, что это тот самый чайный гриб, который рос в виде отвратительной медузы на коммунальных подоконниках, в поллитровых банках с чаем. Жители коммунальных квартир свято верили, что этот фунгус вылечит их от всех болезней, включая смерть. А теперь в это же верят просвещенные жители Нью-Йорка.

Большое здание, глухая стена, без окон, только огромная дверь, как ворота гаража. Сегодня ворота раздвинуты; перед зданием стоит фургон, выгружают мебель. Заглядываешь: неожиданно огромное пространство, в пыльной мгле золоченные ярусы лож, бархатные кресла партера. Все это в странном ракурсе, под углом, с правой стороны кулис. Тротуар здесь переходит прямо в сцену, улица превращается в подмостки — без всяких ступенек, без границы. И мебель несут не в чью-то квартиру, это не обычные столы и диваны, они актеры...

И город по основной своей профессии — актер. Крыши его, башни и шпили — как готические скулы Марлен Дитрих, суета улиц — как утиная походка Чарли Чаплина.

Даже и актерский псевдоним у него есть: Готэм. Так он называется в комиксах. Актер он в основном комический и характерный, отнюдь не первый любовник и ни в коем случае, ни в коем случае — не трагик. Он — клоун, шут.

...Может, хватит искусства? Поговорим лучше о еде.

Вот фермерский рынок — самое политизированное место в городе. Здесь постоянно агитация и пропаганда, демонстрации и протесты. Это, конечно, в традициях западной демократии: и в Древней Греции политика обсуждалась на рыночных площадях. Но в древнегреческие времена политика была сама по себе, а еда — сама по себе. Теперь же все политизировано: фермеры, покупатели, картошка, помидоры; особенно картошка и помидоры.

Сейчас фермер Джонс вам все объяснит. У большинства этих фермеров если не докторская, то степень бакалавра уж точно есть. Они говорят с покупателями о необходимости спасения маленьких семейных ферм, о применении в большом агробизнесе химикалиев и искусственных удобрений, о злокозненности западной цивилизации и индустриализации... У ацтеков существовали сотни видов картошки и помидоров, а индустриальная агротехника все стандартизировала… Падеж пчел связан с потеплением климата... Глобализация пчел загубила.

Несмотря на все докторские степени, есть, однако же, что-то в самом процессе обработки земли, что прививает фермерам некую пасторальную наивность: «Вот Обама, — говорит фермер Джонс, — все изменит».

— А где тут майки с Обамой продают? — спрашивает турист.

— Вон там, где Махатма Ганди стоит. Видите, маленький голый старичок? Там еще ларек с сыром, у них сыр замечательный — овечий с крапивой. А дальше добровольцы с бездомными собаками на усыновление. Между сыром и собаками Обамой торгуют.

Собаки улыбаются, покупатели улыбаются, продавцы улыбаются, младенцы улыбаются в колясках. Сияет солнце.

Счастливые улыбки местных жителей принято считать фальшивыми или прямо-таки дебильными. Это не совсем так. Вообще-то люди тут улыбаются, чтобы поддержать друг друга, проявить вежливость и доброжелательность к встречному или просто потому, что жизнь, несмотря ни на что, хороша, особенно на рынке.

Посмотрите, например, на редиску. Она разложена по цвету: от белой к светло-розовой, к ярко-красной, к густо-фиолетовой, как свежевыдавленные краски

на палитре. Баклажаны и формой и размером напоминают гиппопотамов. Маленькие, бородавчатые, колючие огурчики тут продают, молодой чеснок-рокамболь, синюю картошку, лиловые помидоры — восстановленные высокообразованными фермерами реликтовые сорта ацтекской эпохи.

Что касается течения времени и непостоянства всего сущего, и того, что нельзя вступить дважды в ту же реку — это не относится к торговле пищевыми продуктами в этом городе, где время стоит на месте, замершее на том самом моменте, в который эмигранты покинули страну первоначального пребывания.

В некоторых местах эмигранты уж совсем барочные, маньеристские. Не просто евреи, а ливанские; не просто корейцы, а узбекские. Аргентинка, родившаяся в Риге, продает в кошерной пекарне песочное печенье, совершенно мусульманского вкуса. В гастрономе бухарцы молятся — даже не бормочут, а вовсю поют. С ремешками, с коробочками на лбу, и тут же сгущенка в банках 50-х годов, кильки, гречка, маслята, мишки на севере. А что это у вас в мешках? Сушеные лимоны. Они их кладут в плов. Кто — они? Ну, иранцы же.

А в мексиканской лавке висит плакат: «Оборудование для оживления находится за прилавком». И нарисованы на плакате подавившийся и спасающий. А рядом картинка: ацтекские боги, ведущие куда-то мертвого, — очень похоже по стилю. Также Матка Боска Гваделупска в рамочке с розами. И тут же делают фальшивые иммиграционные документы по дешевке.

Как любить этот город, которого не жалко? Как жить в языке без уменьшительных суффиксов?

Можно поехать якобы за копчушкой и гречкой, а на самом деле — за уменьшительными суффиксами, в те места, где густопсовая жизнь течет вне времени и пространства, переливается, как речка по песочку, из пустого в порожнее.

— Ленусь, солнышко, с чем пирожочки?

— С капусткой и с яблочком. Ну что, Танюсечка, как жизнь молодая?

— Ох, Ленок. Мой-то хрен моржовый опять без работы.. Кинь мне еще с вишенкой и с грибочками.

И уходишь, объевшись сладкими пирожками и сладостными суффиксами.

Говорят часто: «в моей стране». Это про страну, откуда выбыли, и обычно про еду.

— В моей стране мы пекли картошку в углях... Выкапываешь молодую картошечку, разводишь костерик...

— Конечно! — умиляется собеседник. Он из Мексики, где картошку изобрели. — А зеленые бананы вы так не пекли! Никогда не пробовали? Вкусно!

— Тут нет смородины. Без смородинового листа нельзя огурчики засолить — не тот аромат...

— А папайя, а разве же тут авокадо? Разве же тут манго? В моей стране манго, его рвешь с дерева и ешь, и сок течет... Дети мои не понимают — американцы.

— И мой не понимает...

Зато мы прекрасно понимаем: и в его «моей» стране, и в моей «моей» стране на улицах в людей стреляют, полиция берет взятки, а мэры на бандитов работают. Мы оба рады, что дети не знают ни про смородиновый лист, ни про манго. И ни за какие печеные бананы мы их туда не отпустим...

В городском летнем лагере — родительский день. Родители стоят за загородкой и зовут на всех языках мира:

— Мерседес! Линь-Линь! Агнешка, Тадеуш! Светик! Йоселе, Ривка! Нассим! Ахмед! Радж! Мария-Тереза!

Бассейн весь плещется и кишит разноцветными детьми, и несется оттуда хором, на одном на наглом английском языке:

— Оставь меня в покое! Отвали! Потом!

И тогда родители поворачиваются друг к другу и начинают жаловаться:

— Ах, какие они грубые! Настоящие американцы! Ах, в моей стране, у нас в Тимбукту, в Тиране, в Ташкенте, в Тайпее, в Тмутаракани — да нас бы за такое родители бы убили!

Многие из них бежали, спасаясь от настоящего голода, от смерти. Люди пробирались сюда ночью через пустыню, на плотах через Рио Гранде, из Кубы — на автомобильных шинах. Вьетнамцы в лодках, африканцы из беженских лагерей. Представляете, как неуютно в беженском лагере ребенка растить? Ребенку уют нужен.

И вот они добрались сюда, до этого города, и смотрят теперь с гордостью, как в городском басссейне варится и кипит порожденная ими грубая, непослушная, наглая, самоуверенная американская нация.

Наши китайские, корейские, вьетнамские дети перерастают своих родителей на две головы, а ведь еще вчера, казалось бы, на их младенческих макушках дыбом вставал легкий пух иссиня-черных волос — нет ничего прелестнее макушек азиатских младенцев.

Наши еврейские дети играют в бейсбол во дворе ешивы, умудряясь сбалансировать все свое оборудование: и биту, и ермолку, и развевающуюся из-под пиджака бахрому талеса, и кожаную бейсбольную перчатку. И даже фетровую шляпу некоторым удается на голове удержать — такие они носят шляпы, как, бывало, носили члены Политбюро. А орут ешиботники еще громче наших испанских детей.

Вот они выходят из ворот католической школы, наши испанские дети, латиноамериканские наши девочки.

Идет такая чикита... Квинсенеру, конфирмацию то есть, еще не отпраздновала, а никакого амстердамского инструктажа ей не нужно.

На ней чулки-гольфы до колен, смуглые бедра едва прикрыты форменной клетчатой юбочкой, обтягивающий свитер с эмблемой монастыря Пресвятой Матери Кабрини, первой американской святой, покровительницы иммигрантов... В ушах золотые обручи, во рту жвачка...

Вау, чикита! Умри, Гумберт Гумберт... Именно что умри и даже не помышляй, потому что братаны-кореши уже поджидают нашу чикиту у ворот. Братаны в спадающих штанах гармошкой, в рубахах ниже колен, с татуировкой до зубов, а на зубах — золотые накладные фиксы, целая челюсть самоварного золота, как радиатор «Роллс-Ройса». Может, бандиты, а может, и тихие мальчики, с мамами каждое воскресенье к мессе ходят. Ну, приоделись по моде — красиво жить не запретишь.

Наши индийские дети целуются при всех в вагоне поезда, сидя друг у дружки на коленях, и шумят, и слушают модный теперь индийский рэп, и не собираются следовать заветам родителей, вступать в брак по сговору и решению старших.

Наши черные дети с наушниками на ушах отключены от всего мира. И не будьте так уверены, что рэп слушают. Может, партитуру Баха разучивают или роль в пьесе Беккета.

А если и рэп? Что есть Гомер, как не чистый рэп? С похвальбой: как наша банда ихнюю ухайдокала, и всех баб уделали, а у нашего пахана шмотки фирменные, а колесница-то у него обалденная, а золота-то у него сколько.

Цепи золотые так и остались, перешли из Гомера в рэп без всякого изменения, а также любовное описание оружия, сделанного и украшенного на заказ.

То, что европейцы называют местной бездуховностью, — вовсе не бездуховность. Уж точно не отсутствие религиозности. Просто между высоким и низким, массовым и элитарным тут не замечают и не признают никакой разницы. Между прошлым и настоящим нет почтительного музейного стекла.

Древние греки и римляне с трудом бы поняли белых людей, чья культура вроде бы от них произошла. А город Нью-Йорк с его разноцветным населением поняли бы отлично.

Вот они смотрят, древние греки — Сократ, Аристотель и Софоклы всякие, тут же и Шекспир примешался, — смотрят они с фронтона Бруклинского музея на вакханалии и сатурналии Вест-Индийского парада.

Много в этом городе парадов, каждая нация и деноминация любит помаршировать. Но Вест-Индийский парад особенный. Вне конкуренции.

Костюмы такой величины, что шлейфы едут за ними на колесиках. Они танцуют... Ну, это не совсем танцы... Это скорее про штык Наполеона и пещеру Соломона. От музыки кости вибрируют, как от поезда, летящего из туннеля.

И идет этот парад не час и не два. Он начинается — нелегально — еще с предыдущей ночи и продолжается, уже под присмотром полиции, весь день до самых сумерек...

— Поймите, — перекрикивает грохот барабанов тринидадская медсестра. — Вы поймите, мы же унаследовали от Британской Империи эту сдержанность, мы стараемся не выражать своих эмоций, все держать внутри, важен фасад, важны манеры... Но раз в год! — у нас! — Карнавал! Карнавал — наша тринидадская психотерапия!

А сын ее не пришел. Пока маленький был — заставляла, а теперь не хочет.

Мальчик не хочет смотреть на женщин, одетых только в блестки и стеклярус, виртуозно вращающих задами? На непристойные ужимки вакханок и менад, бешено трясущих колоколами китайскими? Это же, казалось бы, не Тургенева читать — от чего наши русские дети, понятное дело, отказываются.

Но нет, и это — родительское, традиционное, принудительное, вчерашний день…

Дети забудут все сразу, но и родители забудут постепенно. Будут помнить в виде неправдоподобных, заученных легенд, как чужие сны. Забудут суеверия и предрассудки, войны, резню и погромы, обычаи и запреты, патриотизм всех видов, амбиции и претензии. Забудут названия улиц в забытых родных городах. Все это вытеснится именем хозяина магазинчика на углу, актрисы в телевизионной передаче, номерами телефонов в смененных квартирах, перевранными и искаженными словами нового языка...

Город — шут гороховый, но он шекспировский шут, тот, который при короле Лире. Он дурака валяет, дразнится и слезам не верит. Но он ведет за руку ослепших от обилия новизны, онемевших без языка, раздавших и потерявших наследство, не дает их обидеть.

У нас в городе вообще-то не так легко кого-нибудь обидеть.

Один ястреб, живший высоко в вершинах домов на Пятой авеню, подвергся дискриминации.

Этот ястреб, по кличке Бледный Самец, построил гнездо между кариатидами и, имея такой престижный адрес, брал каждый год новую жену.

Жители роскошного дома взъелись на ястреба, хотя некоторые из них и сами брали каждый год по новой жене. Квартиры там несказанно дорогие, а Бледный Самец не платил ни копейки и оставлял на зеркальных стеклах эркеров подтеки помета с прилипшим пухом.

Утром жильцы уезжали в лимузинах на биржу, а Бледный Самец улетал в Центральный парк. Когда они, заработав миллион, возвращались обедать, он гордо парил перед их окнами с жирной крысой в клюве.

Обслуживающему персоналу приказали разорить гнездо. Это и было сделано, как раз когда очередная жена должна была вот-вот снести яйца.

Что тут началось! Какой сыр-бор загорелся!

Город встал горой на защиту ястреба. Квартирный вопрос у нас очень острый, и все население с доходом менее десяти миллионов в год было на стороне Бледного Самца. Пикеты и демонстрации начались в тот же день. Весной, в хорошую погоду, всякому приятно попротестовать. Тем более в одном из лучших мест Нью-Йорка, а значит, и планеты, а если нет на других планетах жизни — то и всей Галактики.

С другой стороны: теперь принято чрезмерно уважать и оберегать природу и недостаточно уважать цивилизацию. А цивилизация тоже хрупкая. Зачем было на кариатиды гадить?

Нет, у нас не так просто кого-нибудь обидеть. Можно. Но непросто.

Взять хоть ту бабушку. Дональд Трамп однажды захотел снести старые дома и построить небоскреб. Это часто бывает: богатые люди разрушают какой-нибудь кусок города с тем только результатом для обычных уличных людей, что небо там, наверху, отражается в новых плоскостях стекла, под новыми, еще невиданными углами; а внизу возникает новый ритм — для пешехода летом очень важный — безжалостной жары и временно милосердной тени.

Так вот, Трамп захотел построить небоскреб, все жильцы съехали, а бабушка не съехала. Отказалась. И пришлось Трампу строить вокруг бабушки. Она уже давно умерла, а небоскреб так и стоит с вмонтированной в него маленькой халупкой.

Вот и администрации здания на Пятой авеню пришлось построить Бледному Самцу новое гнездо, со специально спроектированным поддоном для сбора помета. Жена снесла яйца. За первым самостоятельным полетом благополучно вылупившихся птенцов следили сотни жителей города, вооруженные биноклями и телескопами.

Заодно они надеялись подметить какие-нибудь интересные детали из жизни людей с доходом более десяти миллионов в год.

Там, наверху, где витает Бледный Самец с крысой в клюве, там шпили, и купола, и гигантские деревянные цистерны для воды. Их множество. Эти дощатые бочки на железных ногах с коническими крышами похожи на спустившийся с неба десант инопланетян. Как будто не хватало нам всех других — еще и марсиане эмигрировали.

Строят эти бочки в течение многих уже поколений, с начала девятнадцатого века, два семейства мастеров. Редкая удача — увидеть их там, наверху. Они сидят на краю цистерны, на высоте двадцати—тридцати этажей, болтая нога-

ми. Там, говорят они, не слышно шума городского, и суеты нет, и приятно поглядеть вверх на небо и вниз на человечество.

Трудно представить себе более высокую аристократию, чем эти поднебесные бондари...

Разве что — еще выше, на самом верху, видите, видите?

Тучи несутся между небоскребами стремительно быстро, как в ускоренной съемке.

И гигантская обезьяна Кинг-Конг с зажатой в кулаке блондинкой взлетает, как акробат, карабкается по фасаду.

И летят над городом геральдические его символы, святые его комиксов, всесильные его покровители: Паук, Летучая Мышь, Супермен.

Всех суперменов и героев комиксов, гротескные святцы города Готэм, знаете, кто их выдумал? Их выдумали в сороковых — пятидесятых годах тихие интеллигентные мальчики из Бруклина и Бронкса, очкарики, чьи семьи бежали из Европы. Их звали Шустер, Сегал, Фингер.

Хорошо живется городу, который не обижает своих евреев.

Раз в год, осенью, в сентябре, поднимаются в небо два столба света, два световых призрака. И удивительно, и страшно видеть тогда, как по ночному небу приближается к светящимся колоннам самолет и пронзает одну, и потом другую, пролетает сквозь неуязвимые призрачные башни... И самолет летит дальше по темному небу, обычный рейсовый самолет, в свой Денвер или Лондон.

Нет, никого у нас особенно не обижают.

Перед райсоветом — мэрией — Бруклина установлен плакат, поздравляющий граждан с праздником Рамадана. Повсюду реклама арабской торговли недвижимостью. Район густо-арабский, тут должна быть очень хорошая еда. Но — Рамадан, а до заката еще далеко, поесть не удастся.

Благородного вида белые старички-добровольцы раздают листовки. Такие старички традиционные, англо-саксонские, сухощавые, что теперь уже и экзотические. Со Среднего Запада они, что ли, приехали? Нет, местные они: члены расистского общества Джона Берча. Листовки у них о вреде иммиграции. Ничего, пусть и старички порадуются напоследок.

Огромное не бывает обаятельным и не вызывает умиления. Как любить город, который к тебе равнодушен?

Нью-Йорк обаятелен почти с первого взгляда и, когда узнаешь его хорошо — умилителен. Его любишь, как домашнее животное, как большую собаку.

Глупо, конечно, испытывать к Бруклинскому мосту чувства, которые обычно испытываешь по отношению к любимым домашним животным.

Но, видимо, каждому человеку выдается на жизнь как оборотный капитал, как фишки в игорном доме, некоторый запас, некоторое количество любви. И этот запас надо обязательно весь целиком растратить. Если не рискнуть, не поставить на кон, хорошего ожидать не приходится. Оттого и кошки у старой амстердамской блудницы, а у моей Дашеньки — водочка, а у меня — дурацкая моя любовь к городу, от которого доброго слова не дождешься.

Что я — весталка какая при храме? Что ли, меня с Бруклинским мостом обвенчали?

* * *

Вот в грязном окне плакат рукописный, исписан тесно и убористо, от края до края, так шизофреники пишут. Еще и в пластик завернут, какой в химчистках дают. Это и есть химчистка, прачечная. В окне для красоты были когда-то поставлены старинные угольные утюги, портновские манекены, все это не сдвигалось полвека и покрыто древней пылью.

И наверняка написано на этом плакатике, что лавочка закрывается, потому что хозяин уходит наконец-то на пенсию, или потому что ренту повысили...

Нет. Вот что на плакатике написано:

Это не окончательная жизнь.
Это репетиция. Это не премьера, а только репетиция. Если бы это была премьера, то вы бы уже знали, что надо говорить и что делать.
Это — репетиция.
Это учебная тревога. Это не настоящая катастрофа. Если бы это была настоящая катастрофа, вам бы заранее объяснили, куда эвакуироваться и что брать с собой.
Это — учебная тревога.
Это контрольная работа. Это не экзамен. Если бы это был выпускной экзамен, вы бы уже знали весь материал и выучили правила.
Это — контрольная работа.
Это не окончательная жизнь...

— Ладно, — говорю я, — ладно. Хватит, хватит. Я все поняла, спасибо. Конечно, ты врешь как сивый мерин, и все это ерунда. Но дорог не подарок, дорого внимание. Спасибо на добром слове, город.

Татьяна Риздвенко

Странно начинаться на букву Ф

* * *

У нас по утрам выбивают ковры.
В снега их швыряют и палкой колотят,
и в чёрных квадратах вся наша земля,
хотя и не вся, и, по правде, не наша.

У нас по утрам человек с бородой,
усохший сатир в пальтеце и бейсболке,
батоны крошит голубям, голубям,
простейшим пернатым на радость, на радость.

На детских площадках пасут малышей,
на тучных газонах — собак и собачек.
Подробностей будних простой передатчик,
привыкла я к этой обычной возне.

Вот будней гербарий, нехитрый улов,
привычный набор обстоятельств и зрелищ.
А кто зарисует и кто перескажет,
а кто ещё тихо похвалит его?

* * *

Как мы блины, как нас блины, как я…
Как ели мы друг друга — я и блин.
Друга в друга заворачивали масло,
Икру, сметану, сердце, пикули.

И стопками, как писчую бумагу,
круглы и нескончаемы блины,
нам всё несли…

Увидишь блин — и он тебя зовёт,
Он катится к тебе, а ты навстречу.

Об авторе | Татьяна Андреевна Риздвенко родилась в 1969 году в Москве. Закончила художественно-графический факультет Московского государственного педагогического университета. Преподавала живопись и композицию в театральной гимназии Галины Вишневской. В настоящее время работает в сфере рекламы. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Знамя», «Дружба народов», альманахе «Мансарда». Автор двух поэтических книг — «Личный воздух» (Глобус, 1999) и «Для Рождества, для букваря» (ОГИ, 2002).

Бери и ешь — себе я говорю.
Достаточно! — сама себе перечу.

Нам б простоять,
пробиться, продержаться,
и прожевать, и вытереть уста.

Три дня осталось
до Великого Поста.

* * *

1. Мне тихих наслаждений череда
отпущена: прогулка, сон, еда,
опять прогулка, главное же нас-
лаждение — неспешность:
шаг, поворот, глоток, смеженье век —
всё медленно, подробно и вовек
не повторится в этом воплощенье…
Я тишина, я сон, я человек —
прозрачность, понимание, сгущенье…

2. Так яблочно — почти не проникает
сквозь эту яблочность ни свет, не пересвет.
Источник света — яблоко само,
источник влаги — яблоко само же.
Из тонких пор выходит нежный воск —
на самое себя наводит лоск,
и всё оно — от хвостика до пяток —
довольства целомудренный придаток.

И эти глянец, нега и пыльца
в макушки проникают и сердца...
Все веселы, и на любой конфорке
пылает газ, на голубом газу
пылает медный таз, а в том тазу
мурчат варенья, булькают повидла…
Все по уши в антоновке — видать
поэтому-то никого не видно…

Так яблочно, так прочно и тепло.
Так лето неожиданно прошло...

3. О, яблоко, хватательный рефлекс,
приманочка, наживка, искушенье…
Мы с животом проходим вдоль тебя
сквозь линзу уменьшенья.
Мне хорошо, я только лишь хочу
сидящую не в мякоти, но в плоти,
занозу ожиданья и тоски
изъять — чтоб не успела исколоти…
И раньше, чем отвалится само,
сорвётся с верхотуры, с плодоножки,
ударится
заплачет
закричит —
принять его, родимое, в ладошки.

* * *

Заноза зависти, восторг и укоризна.
Я по-чужому думаю, дышу,
завишу и пишу.

И каждой подлой порою внимаю.

И посторонний облик принимаю…

Мне мука постороннего письма
больна и разрушительна весьма.
Полёт чужой органики и клеток
зачем так обольстителен и меток!

…Мне бы остаться, чем я есть,
и несть
себя как вашу честь!

Чувствительность, действительность нагая,
меня смущая и чужих пугая,
зачем мне папой-мамою дана…

Я молнию разверзну на боку
и горделиво выгоню наружу
всё, что в себе чужого обнаружу,
и затопчу, и в лужу уроню.

С меня достаточно! — с достоинством воскликну.

А может быть,
я так не поступлю.
Освоюсь, успокоюсь, попривыкну.

* * *

Телесность пуговок и пряжек,
резинок, вытачек и проч.
Когда всё это совлекаем,
всё это скидываем прочь,

стоим моллюском бескожурым,
робеем, жмуримся, дрожим.
Не знаем, что нам с этим делать
великолепием, стыдом.

Стоим, белеем, розовеем,
себя стесняемся и млеем,
и озираемся зеркал…

Итак, мы подошли к черте.

А здесь — привычка к наготе.
Её здесь мнут и изучают,
а прочего не замечают.

Здесь не обязан быть трельяж,
здесь совершается массаж.

Здесь вы при теле состоите,
как пёс смышлёный при слепом.
Как переводчик при заезжей
звезде в сиянье золотом.

* * *

Всё станет предметом стиха…
Всё то, что шумит и стиха-
полно драгоценного смеха,
шелковистого и мехового.

Ох, какая потеха!

Что же в этом смешного?

Хохоча мы сидели, и шли,
и лежали, и только когда
голова разрывалась от боли,
лишь тогда не смеялись, не боле.

И когда под наркозом лежали,
не смеялись, а тихо дрожали
и нарколога тем раздражали…

И дитя первый раз в самолёте…
Оторвался от самой земли,
рассмеялся, от смеха зашёлся,
хохотал, пристегн**у**тый ремнём,
невесомостью шумной снедаем,
меж зазором и краем.

С чёрной кромки апрельской земли
в смехоте, дурноте и икоте
мы снялись, сорвались, поплыл**и**.

Пылкий смех меж локтей и лодыжек,
мелкий смех и мурашки в паху.
Ха-ха-ха, хо-хо-хо, ху-ху-ху.
О мой смех, мой щекочущий ёжик.

Живы этим разжиженным смехом,
мы открыты ветрам и потехам.

И когда приземлимся, коснёмся,
отстегнём пояса и ремни,
ты смеющийся стриженый ёжик
к полу пыльному тихо пригни.

Я без смеха, как кегля пустая,
ты без смеха обычный, простой.
К аппарату весёлого смеха
подключён наш мотор холостой.

* * *

1
…Совсем уже взрослый мальчик,
а путает *ц* и *ч*,
читает: грачия,
зайцик…
Не любит читать вообще!
В книгу не тычет пальчик!

2
…Азбуки в самом конце
редкоземельное *ц*
И того далече
нечернозёмное *ч*
Забористые *ш* и *щ* —
дальше некуда, вообще!

3
Ещё водится в тех краях
нимфа лампочки,
фея вольфрама, —
эфемерная фифа *ф*.

Но это другая тема.

* * *

Посвящается Ф

Странно начинаться на букву Ф.
Внебрачная неметчина, чужая вотчина.

…Стоять тебе в конце букваря, уперши руки в боки,
Ф-ф-ф-ф…
Во не хватало мороки
отыскивать в долгом списке.
Ведь столько прекрасных буков,
простых и не очень,
разной степени удалённости,
так нет же.
Так ведь надо же.
Угораздило же родиться
на букву Ф.
В середине конца, на запасном пути,
куда и идти-то страшно,
одному, без фонаря, без собаки.
Соль изгнанничества на губах — не поэтому ли?
Поэтому, поэтому.
Поэтому
Поэт
Фет
Афанасий Афанасьевич
И поэтому тоже.

Екатерина Шевченко

Дриада

новелла

Весна начинается в январе. Показывается на один час. На верхушке дерева, на морщинах коры. Здесь ребристо течет по ветвям световая вода. Это перебирает волны вещество весны. Тут высоко, никому не достать, одна только ворона каркает из живота через горло громко, трубно, легко, — вот именно здесь протекает справа налево сухой водой по стволу и плоится, и прокатывается невесомое слюдяное тело весны.

Сквозь кору чую: там, по ту сторону темноты, — слабый пригрев. Я одеревенела. Как чага. Онемела шея. Подбородок прирос к груди. Приросли пальцы к ключицам. Нахожу затылком дупло позади, — это дупло — там светло и разверсто; выдвигаюсь макушкой наружу. Свет. Резь. Небо пахнет голубым белком. Земля — дерном. А дерево — лубом и мшой. Одной рукой держусь за ствол, другую вытягиваю, и по земле бегут — нет, не тени, как от ветвей, — а лучи.

— А почему эта разница между нами? — говорю дереву, — объясни: от тебя — тени, от меня — лучи?

Дерево отвечает, что оно — есть, а меня — нет.

— Как же меня нет? Не будет меня — не будет тебя.

— Знаю, — молчит дерево. А потом шелестит: — Когда дриада покидает дерево, оно сохнет. Скажи, сколько я еще простою?

У Валериана Викторовича прямой родни нет. Непрямая родня нанимает ему в складчину в двадцатой больнице ночную сиделку Зулю. На сутки — очень накладно. А на ночь — хоть как-то терпимо. Кстати, больной ходит сам. Ему нужно, чтобы ночью подали стакан воды. А если честно, то не дали умереть, бежали бы к ординаторской и стучали ногами в запертую изнутри дверь, крича: у Вяликова инфаркт, кома. Зуля молода, желто-бледна лицом, вся безропотна. Сидит ночью в общей палате при включенном настенном бра на неустойчивом стуле с железными, но эфемерными ножками. На коленях сумка — замшевый мешок. Вы трогали камыш, вот этот коричневый валик на конце камышины? Такого же табачно-коричневого цвета и такая же точно на ощупь у нее сумка. Ручки вообще особенные. Деревянные дуги из бамбука. Они кажутся обсосанными косточками лани. Волк обгрыз лань, обсосал косточки, их нашли и приспособили: выгнули дугой, сделали ручки для сумки. Зуля вынимает красно-ртутную банку, с шипом открывает и полночи пьет глоток за глотком. Энергетик.

Об авторе | Екатерина Шевченко родилась в Москве, окончила Историко-архивный институт и Институт журналистики и литературного творчества. Как поэт печаталась в журнале «Новый мир» (лауреат премии журнала за 1997 год). Как прозаик — в «Новой юности». Живет в Москве и Старом Осколе. В «Знамени» публикуется впервые.

Чтоб хватило сил не уснуть до трех. В три ей положено, вернее, она сама себе положила, прикорнуть на кушетке в коридоре у открытой палатной двери. В половине шестого она становится на ноги и садится на стул. Ее наняли, ее хватились нанять спустя неделю, как больной без нее один отлежал. Строго предупредили, чтобы, мол, вот такая и вот такая — прошмандовка с хвостиками — к их Валериану Викторовичу на пушечный выстрел не подходила… Не подойду.

Валериан Викторович такой человек… — таких сейчас не делают. У него вот-вот подкосятся ноги. Походка — не могу! Он кондыбает по коридору, — а у тебя в уме слово «выдвиженец», — у него очень выдвинуты колени, а позади волокутся пятки тапок, великоватых. Другое дело, когда он стоит. Тогда он серебрит тебя сверху высокими костистыми плечами под серым свитером. Если опустишь взгляд, кстати, совсем немного, потому что у него очень длинные ноги, — если чуть-чуть опустишь взгляд, прямо перед тобой — узкие бедра. Стоять ему очень идет. Но чаще всего мы сидим. Мы только и делаем, что сидим. Где тут сидеть, в больнице? А напротив сестринского поста в коридоре — окно. Под окном — батареи. Мы тут пьем чай на стуле. А медсестры курят запоем в курительной сестринской, так что на посту в коридоре — ау! Мы сидим у окна в дерматиновых креслах, кстати, в бордовых. Это я приперла второе кресло из конца коридора. Медсестра Катюша шла в это время навстречу, сказала: «Не женщина должна жертвовать для любви. Пусть сам волочит». — «Да ладно, у него грудная жаба в груди». — «А сейчас у каждого пердуна — стенокардия». Теперь для меня Катюши больше нет.

Мы сидим друг напротив друга у батарей. Если перегреешься от батарейного жара, то просто накинь на батарею ветровку — и не душно, а если зазнобит, в нагретую ветровку так классно укутаться. Ветровку он называет зюйдвесткой, — он мореман. Валериан Викторович сидит нога на ногу, опирает голову на длинную кисть. Да! Руки. У него — руки. Фортепьянные. Он бы взял две октавы. Кости суставов немного толще длинных фаланг. Когда я целую ладонь, она пахнет, как моя.

Лицо. Лицо лошадиное. Нет, лосиное. С выпуклыми коричневыми глазами. Скулы начинаются сразу у глаз, по бокам лица долго спускаются вниз длинные долгие худые щеки. Подбородок…

— У вас самый прямой подбородок.

— Не знаю, — говорит он. Смотрит на похоронный автобус за окном.

— Видите там?

— Что именно?

— Баллон с кислородом везут.

— Нет, после трех операций ничего вдаль не вижу.

— Я влюбилась, — говорю.

— Мудрено. В кого, позволь спросить?

— В вас.

— За что меня можно любить? За что?

— За родновость.

— Я тебе честно скажу. Я тебе честно скажу. Ты мне мила. И… Я тебе сразу скажу: у нас ничего не будет.

— Я прям выпрашиваю, как милостыни.

— Полно, Кутик.

— Я люблю.

— За что? За что меня можно любить?

— Вот вы повернете голову, лицо станет другим, я его читаю, как лоцию.

— Ты про лоцию знаешь?

— Меня ж на географа запихали учиться.
— Кто?
— Бабуся.
— И долго тебе учиться?
— Если будут платить, то четыре года.
— А кто платит?
— Мой парень.

Все позавчера началось. Мы оказались в потопе. И там, в потопе, как две лошади, потрогали друг друга губами.

Валериан Викторович позавчера забыл вечером мыло на бортике ванны, и… утром его там не было. Он мне за завтраком в столовой говорит: «Кутик, я вечером под фонарным светом на дворе ничего не вижу. Ты меня за территорию не проводишь в лавочку магазинную?». А я этого хотела-прехотела. Вот чего я хотела — так это с ним выйти куда-нибудь, чтобы сделать подарок похитителям мыла — еще одно мыло.

Мы пошли. Дождь хлобыстал. Лил по воздуху и по земле. Мимо подъезда в проходном дворе текла хлябь. Я встала на приступку под козырек.

— Отчего ты остановилась?

Я-то сюда встала с мыслью: вот бы он тут поцеловал. А сама говорю:

— Отдохнуть. — Я же знаю: он «тормоз», и потому, что он «тормоз», он не догадается, ну не может он догадаться, зачем я по правде остановилась. Честное слово, я не увидела, как он приблизил лицо и наплыл. Он соединился старомодно, на какой-то возвышенный лад, о котором я даже не знала. Тебя просто касается длинный вытянутый ветер, но не везде — а посередке губ. Стоишь, а на губах остановился дождевой свежий воздух. И все. Это даже не поцелуй. И те люди, что были когда-то в метро, в автобусах, на всех асфальтах в толпе, все те старики, кому тоже, как ему, семьдесят, про которых я думала, что они — хлам, про которых мой парень говорит: «отстой», — я стою и узнаю с его губ, что все эти старые на самом-то деле — нежно-лучшие. Он отпускает меня, смотрит сверху и опять вбирает к себе в свою воду. Кладет под затылок ладонь, покачивает, и когда отводит ладонь — приснимает поцелуй, а когда приближает к себе, накладывает сильней. И — море. Он, наверное, так долго был в море, что оно вошло ему в кровь, и когда он забывает про все, то оно качает его. И он качает меня.

Я говорю:

— Ты — море.

И думаю: «А Рушан — кашалот. Целует — втягивает в свой кашалотный желудок. Там перистальтика, мускулы, гнет. Тяжело».

Мы пьем чай у коридорного окна. Стаканы с красным чаем, с заваркой на ниточке, стоят на красном дерматиновом стуле. Я мечтаю: вот бы он покачал. Я хочу с ним завтракать, ужинать, засыпать, просыпаться. Я люблю — за поцелуи. Я их переживаю. Если он в этом месяце и правда, как он говорит, умрет, уйдет под поверхность земли, на земле одна земная тварь, то есть я — будет переживать его поцелуи.

— А эту чашку на подоконник ты кому поставила?
— Пакетики из-под чая вынимать и класть.
— А вот это темное у нас за окном, это что?
— Липа, что ли.

Мне приснилось, что он под решеткой. Внизу сточные воды, шумит нагнетаемая вода. Я опускаю вниз портновский затерханный сантиметр. Не достает. Спускаю в узкий квадрат решетки лесенку из арматуры. Коротка. Его голова, поднятая ко мне, и серый свитер на плечах видны мне сверху в темном коллекторе входа в городской местный ад. Я открываю себе ножом лаз в животе. Кровяная колбаска показывается. Короткая. Выпрастывается наружу, она длиннее, длинней, — если тянуть — тяни сколько хочешь. Спускаю вниз кровавый спасательный шнур. «Нет, — отказывается он снизу. Нет». «Ты почти на таком вышел на свет. На, бери». «Нет». «Да я умираю, на, хотя бы ты живи».

— А кого ты раньше любил?

— Любопытка. Nomina sunt odiosa.

— Да, а что это?

— Имена — ненавистны.

— А ты был хоть раз в жизни в шаге от женитьбы?

— В одном кабельтовом.

— Ты для нее тырил цветы?

— Нет. И не покупал. Рынок был в другой стороне, она далеко от порта, за Балтийским вокзалом жила. В тупике. Вечером я к ней бегом рвал, было не до чего, кроме как — быстрей. А однажды поезда поставили чертом, три товарных встали один за другим, не обойти. А я — в белой рубашке. Стал подлезать под вагон, и спиной — дрыг — задел. И — на другой конец города — переодеваться.

— И она тебя полночи ждала?

— В ту ночь — да... А потом… Жалко, что я вдруг так ее бросил. Из-за ерунды. Знаешь, мы искупались в Невке и на трамвае поехали к ней. Я там в коммунальной ванной в тазу оставил свои мокрые плавки. А два дня спустя мы опять пришли, смотрю: они где лежали, там и лежат. Я подумал: какой же она будет женой? Ужас! И перестал встречаться.

— И она не узнала, почему?

— Нет.

— Вот так да! А вдруг у вас уже мог быть ребенок?

— Нет, дружок.

— Но ведь ты мог не знать!

— Нет, дружок.

— Спорим, у тебя кто-то родился?

— У-тю-тю. Мы только поцелуями миловались.

— Что? Ты ненормальный.

— Нормальный. Сейчас, конечно, того. Роман с простатитом. Я — как это дерево с наростом. Вон на дереве нарост — на шишигу похож.

— Ты не будешь болеть. Я тебя отцелую. А хорошо, что так дерево близко? Мне особенно это сидение нравится. Видишь — спил?

— Корой все обросло. Значит, заботится кто-то, дриада. Зарубцевала его.

— А я стрелку забила. На субботу и воскресенье напишу заявление, чтоб отпустили, и поеду к парню.

— Кутик, я тебе дам две сотенки. Купи сыр «маасдам». Мне их костромской хуже редьки.

Я еду в троллейбусе. Сижу у окна. Провожу взглядом по кирпичным домам. Ни шершавинки. Скольжу кожицей взгляда. Нет трения! Мне больше не больно. Скользишь по домам — а не больно, все обернуто шелком, трения нет, взгляд по шелку скользит. Я пять дней назад не была влюблена, и жизнь была — шершавая. А сегодня я — в шелковом коконе.

— Тебя кто-то там брал, я смотрю?
— Руш, хватит, а?
— Ты теперь не такая.
— Руш, хватит, а?
— Ну, ты не такая.
— Хватит, а?
— Врач?
— Хватит, а?
— Сейчас поеду — увижу.
— Хватит, а?
— А-а-а — кричит он.

Он всегда кричит «а-а-а». А потом выдыхает тихонечко: «б». С прибавочкой «ять».

Гараж принял только его. Ее уже не было. То есть он ее ввез, но маленькую, сложенную, с коленями, придвинутыми ко лбу. За ночь она одеревенела, как чага. Ее положили чин по чину, на кладбище, но в безымянку. Щупом можно было наткнуться на колоду, но кто заныкан — не знаем.

Зуля ушла с индивидуального поста от Валериана Викторовича через девять дней. Он предпочел ей другую ночную сиделку — заоконную.

Константин Кравцов

Рождение воздуха

Детский праздник и его икона

Стало плотью и словом о плоти,
О воробьях, например, или рыбах всякого рода,
Смоковнице или драхме, о том и о сём —
Плотью от плоти, словесной тканью,
Лучшим её порядком, не уступающим лилиям,
Не говоря уж о ризах — царских там или
Архиерейских, видимых еле во свете
Лимонного кадмия в самое тёмное время года —
Время заносов, снега на борщевике вдоль дороги,
Скользких ступеней, уверенно попранных
Лёгкой стопой, маленьким сапожком

Рождение воздуха

Памяти Эндрю Уайета

Оттепель явит мёртвых
Трав зазеркалье, волны,
Волны и пух над ними, борозды океана,
Выпростал руки спящий из льдины, ветер
Сеет зелёную соль в солнечные лабиринты

Ныне Ты отпускаешь раба Твоего, Владыко,
Ибо видели очи мои довольно травинок,
Утренников и проталин, а эти пятна
Рыжих волос, и то, как ложился
Луч на лодыжку, переливался бисер
Воды на снопе пшеничном

Раб Твой исполнен днями и сыт Чеддс-Фордом,
Ныне от сна, позволь, не восстану, пусть остывает
Печь дровяная, благодарю, что ломились
Вёдра всегда от лисичек, смородины и брусники,
А по зиме чернобурки сбегались из леса
Подкармливаться на свалках
Не тяжелей моё сердце пёрышка чайки-баклана,
Лодка на сеновале и в поле телега тоже

Об авторе | Константин Павлович Кравцов публиковался в «Знамени» с подборкой стихов «Салехард» в № 4 2006 года.

Не тяжелей, чем перышко, тоже белы, прозрачны,
А городов я не видел, Владыко, только
Ветра дощатый мир, перья, витая, строят
Лестницу винтовую

Станислав Красовицкий, он же — отец Стефан

На столе блюдо с рыбой, — вероятно, карп, —
Мансарда с окнами на Радонежские леса,
Всё дальше на север, и вот уже соловецкое солнце
Горит над Секиркой — не лампа,
Вот уже морестранник воздвиг кельтский крест
Над святилищем Аполлона Гиперборейского,
И линия Маннергейма свет отделяет от тьмы —
Свет, трогающий всё вокруг тебя,
Как будто кровью рыбы золотой, сказал Айги,
Сказал: *так прячут может быть за вьюшкою алмазы*
Как был ты нежен в ветхих рукавах,
И эта улыбка попа-передвижки,
Хранителя сокровищ Нибелунгов, улыбка скальда,
Теперь — аскета (ты всегда в пограничной зоне),
Вкупе с обещанием пропуска к твоим озёрам —
Дар драгоценнейший для сотрапезника

Ты во взломанный склеп...

Ты во взломанный склеп привела с собой сад —
Беззаконный, сырой, охраняемый лишь
Светляками да брачным весельем цикад,
Звёздным воинством — там, над уступами крыш

Петр к себе возвратился, ушёл Иоанн,
Ну а ты всё стоишь, всё плывёт наугад
Аромат бесполезный сквозь месяц нисан

Что ж ты плачешь среди глинобитных оград,
Как на известь на эти глядишь пелены —
Известь ям, где останутся все, кто распят?

Никому не жена, никому не нужны
Ароматы твои, но плывёт аромат,
Запах чистого нарда из склянки твоей,
В этом взломанном склепе усилив стократ
Свежесть снящихся мёртвым волос и ветвей

Красота по-американски

Беги, Божье Дитя, в поющую пустыню
Томас Мертон

Буквиц горчичные зёрна
В растительной зелени лампового монитора,
Кириллицу из жидких кристаллов,

Взрастил нам портал францисканцев:
Вот фотография утренней кельи трапписта —
Сарая, в котором устроил он скит,
Крест поставил, к нему прислонил колесо от телеги,
Вот утварь, корзины из ивовых прутьев
И клавиатура реликтовой, в Кремль набивавшей
Протестные письма печатной машинки.
Обломки какие-то. Света и тьмы.
Семена созерцания. Может быть, тыквы,
Лилий долин, нарциссов Саронских,
А вот и он сам, Иона. Он видит: горит Ниневия,
Не лучше ли было б остаться во чреве кита?
Ведь и Сам бы управил Господь как-нибудь,
Уберёг Пастернака. Нет, странный какой-то он,
Этот траппист, от ожогов умерший в Бангкоке.
Вокруг него — дети цветов, и в поющей пустыне
«Беги, — говорит Суламифь, —
На горах бальзамических серне подобен будь
И молодому оленю»

Алтари твои, Босх…

Ивану Жданову

Алтари твои, Босх, дураков корабли,
Над бетонкой висит мёртвый спутник земли:
Лёд и трупные пятна листвы под льдом —
Под светящимся льдом над ступенями плит,
Но не славен никто, да и жив ли пиит,
Там, за морем дождей, свой поставивший дом,
Обустроивший скит?

То коньками изрезанный лёд за бортом,
То ночные под ним проплывут патрули,
И погасят огни Геркуланум, Содом,
Алтари твои, Босх, дураков корабли…

Пересекая Таганскую площадь

Памяти Николая Шипилова

Мачты рвущей корнями обшивку листва,
Череп Йорика, бедный японский фонарик ли в ней
Над пустынным кварталом, над палубой,
Над неподвижным, как солнце любви,
Кораблём дураков… и морские ежи —
Утром всюду, ты знаешь, морские ежи —
Они тоже не прочь за военные астры,
За сливок альпийских кувшин

И несут меня двое, дурак и дурнушка, несут,
Утирают друг дружке платочками пот и несут,
И склоняется вечнозелёная мачта, шумит,
Миска для подаянья в зубах у пловца проблеснёт —

Может, дать ему вишен? Сказать: это кровь бедняка?
Может, выйти на площадь? Опомниться, встать?

Нет, не вьюга меня целовала, язык — нет, не дом бытия,
А игорный — пожалуйста! — дом «Достоевский», но пусть,
Пусть какой ни на есть, но пребудет фонарик в ночи,
И в руках у монахини — лютня… гляди:
Узел с нечистью всякой нисходит с небес,
Мол, не брезгуй, закалывай, ешь, дурачок…

Остров короля Георга или эсхатология в Боинге-777

По прихоти им вымышленных крил…
Баратынский

Лохмотья красных водорослей, ртуть
Лишайника и птицам несть числа
Как звёздам за бортом. Мороз и мгла,
Блестит Дорога Мёртвых — Птичий Путь

Сгорит земля и все её дела,
И брачный нам чертог, его стропил
Обломки над крикливою водой
В том сне приснятся, явится берилл
Под облаков летучею грядой,
Винтами этих вымышленных крил

Чернеет Антарктида вне времен,
Но флорентиец, помнишь, говорил:
Он первою любовью сотворён

Стихи Великим Постом

Не народ-богоносец, а лебедь-кликун,
Тот морозный замес облаков кучевых,
Этот двор с искривлёнными прутьями струн
И лохмотья чуть свет на осях лучевых,
Сыропустной седмицы канун

Лисы язвины имут и, знать, неспроста
Столь красна мерзлота тебе, лебедь-кликун,
Птичья Русь Велемирова, дней долгота,
Этот двор с искривлёнными прутьями струн
И чернеющий следом за Веди Глаголь

Лисы язвины имут и, знать, неспроста
Провожая во тьму перекатную голь,
Соль просодии русской проступит как та
Из весны в Галилее языческой соль,
Как светильники те в кругосветной ночи

Перекатная Голь, согласиться позволь
Стать жилищем Твоим, укачай, научи…

Арина Холина

Пристрастие к неудачникам

рассказ

«Успех — это жизнь после смерти, — рассуждала Анастасия Аверьянова. — У тебя все есть, желать больше нечего».

Удача Анастасии не была случайной: с каждым годом, двадцать лет, она набирала вес в обществе, добавляла в прибавочной стоимости, расширяла круг влияния. Времена лишений были так далеко позади, что роман сначала превратился в рассказ, а потом и вовсе в анекдот — тремя предложениями, с иронией, Аверьянова поминала жизнь, в которой приходилось заботиться о марке бензина и счетах за телефон. В ее настоящем беды одолевали людей, только если от будничной скуки те хорошее обращали в лучшее.

Аверьянова уважала предсказуемость своей жизни, защищала и берегла успех, давшийся не с первой попытки, но судьба неудачника, который все еще мечтал, сочинял каверзные и блистательные планы, у которого лучшее, возможно, было впереди, — казалась ей драматичной, интригующей, соблазнительной.

Настя любовалась молодыми людьми, чьих песен не понимали, художниками, чьи картины не продавались, актерами, ожидающими «роль своей жизни», журналистами, не оставившими мечты о литературной славе. Она сопереживала отчаянию, одержимости, злости, надежде, радости от малейшего намека — и будто становилась, как они: трепещущей, ранимой...

За этот трепет Анастасия рассчитывалась славой — она была для многих счастливым случаем, ответом на мольбу, проводником в мир тех, чье мнение дороже денег.

В этом мире одни приживались, других же Настя сравнивала с орхидеями: цветы-паразиты распускались на сухой древесной коре, но гибли на щедрой земле.

И ее талантливые паразиты не выносили плодородной почвы, склоняли головы, вяли и грустили, пока их не затаптывали новые, сильные — и не такие красивые, и не такие изысканные, но стремящиеся вверх к свету...

В сорок один год Анастасия была трудолюбива, благополучна и одинока.

Для женщин ее лет возраст уже не был бесцеремонной судьбой, что выхватывает из рук список желаний и вычеркивает из него строки. В сорок ее подруги оставались интересными женщинами с мускулистыми ногами, высокой грудью,

Об авторе | Арина Холина родилась в 1974 году в Москве, дочь поэта-авангардиста Игоря Холина. Бросила учебу в МГИМО на втором курсе отделения международной журналистики и начала работать с журналами «Птюч», «Медведь». Писала для газеты «Вечерняя Москва», для «мужских» и «женских» журналов. В 2004 году в издательстве «Вагриус» вышла книга «Слишком много блондинок». Издательство «Эксмо» опубликовало книгу «Письма на воде».

В «Знамени» публикуется впервые.

румянцем на нежной коже с тонкими морщинками, почему-то особенно привлекательными для мужчин младше их на поколение.

Настя никогда не хотела детей, потому и не беспокоилась, что мужчина может увидеть в ней не объект желания, а женщину, не годную к материнству. Может ускользнуть лишь потому, что она стара для семьи, для воспитания отпрысков. И уйдет он не осознанно, а его унесет глубоководным течением, что гонит чувства из сердца в голову.

«Биологический разум!» — фыркала она.

Некоторые принимали уходящие годы близко к сердцу: с тридцати пяти вдруг толстели, прерывали светскую жизнь, теряли записную книжку с телефонами любимых когда-то мужчин.

Иногда они уезжали на морские берега, где их наготу постепенно украшало солнце и где от жары невозможно было всерьез сомневаться, и утренний зной сменял вечерний зной, и алкоголь не пьянил, а будто убавлял десять или двадцать лет, и повсюду были вздохи, поцелуи... Там было возможно все: любовник, едва окончивший школу; любовник, чья беременная жена в это время держала руку матери и признавалась: «Мне страшно...»; любовник, который не понимает ни одного твоего слова — и все равно бы не понял, даже если бы говорил на одном с тобой языке...

А потом они складывали в чемодан не одежду, а собственные чаяния, и говорили: «Три часа ехала из “Шереметьева”! По дороге от отдыха ничего и не осталось!».

В сорок один год блистательная Анастасия Аверьянова, в маленьком белом платье, с только что уложенными у парикмахера волосами и в сопровождении главного редактора программ Ольги, пепельной блондинки в очках, своей фаворитки, перешагнула порог, отделявший Кузнецкий Мост от клуба «Мост», и нахмурилась, уткнувшись в толпу.

Протиснувшись вниз по лестнице, Настя на миг задержалась перед фотографами, салютовавшими десятками вспышек. Цифровые фотокамеры отразили брюнетку с короткой игривой стрижкой, крепкой челюстью, широким ртом, чуть загнутым вниз кончиком носа и светло-карими глазами. Никто бы не решился назвать ее красавицей, но уверенность в собственной внешности и даже независимость от нее Настя сообщала всем, кто смотрел на ее неправильное лицо.

Аверьянова кивнула Ольге, и они спустились в ресторан, где располагалась зона для избранных.

И вот ее уже стиснули в объятиях. Руки были крепкие, на первое впечатление — жилистые и уж слишком цепкие. На мгновение Анастасия испугалась — казалось, что эти руки нащупывают ее душу...

Высокая немолодая блондинка, не красивая, но интересная, в облегающих кожаных джинсах.

— Ленка! — искренне обрадовалась Анастасия.

И немедленно призналась себе, что радоваться нечему.

Елена Трауб была одной из тех, с кем жизнь, несмотря на все твои усилия, не позволяет расстаться. Так давно, что лучше и не считать, они снимали на двоих квартиру. Спустя несколько лет — вместе работали. Аверьянова давно уже определила Елену как человека, для себя неинтересного, бесполезного и даже беспокойного, но в ту секунду, благодаря неуправляемой страсти к неудачникам, вдруг приятно удивилась этой встрече.

Двадцать лет назад Елена плыла. Вперед, к горизонту, к миражам, сочиненным юностью, а потом — к обозначенным зрелостью берегам. Ее мотало от мужа-художника к мужу-политику, и художник был мил, но беден, а политик — пил.

У нее был муж — знаменитый режиссер шестидесяти двух лет, который выгнал ее и нашел себе несовершеннолетнюю невесту. Был и гениальный писатель, от которого Елена родила двоих детей и послала прочь, потому как писатель считал Трауб своей матерью, а не матерью его сыновей.

Лена торговала искусством, учила богачей одеваться, писала для журналов, но удаче мешало очередное замужество — в тридцать восемь Трауб была одинока, безработна и уже не плыла, а перевернулась на спину и ждала, куда ее принесет течение.

Аверьянова шла за Еленой к столу, пока не ощутила толчок в груди. Не беспокойство, а удивление, а потом — волнение и предвкушение.

Вблизи этого человека с ней всегда случалось что-то хорошее. Человек никак не мог совладать с трубочкой, торчащей из коктейля — наконец выбросил ее, отпил из стакана и откинулся на спинку стула. Человек был одет в черную рубашку-поло, на правой руке — он левша — часы на железном браслете, на указательном пальце правой руки — перстень с агатом.

За пять... десять... пятнадцать лет ничего не изменилось.

— Костя! — воскликнула Анастасия. — Иди сюда, звезда моя!

Он обвивал ее, как медведь коала, — было тепло и немного душно. Настя соскучилась, хоть и надеялась в минуты слабости, что они никогда больше не встретятся.

Он разжал объятия, отодвинулся на полшага и осмотрел с ног до головы.

Постарел. Но об этом не хотелось сожалеть, потому что возраст украшал его, а не разъедал. Трудно сказать, был ли он лучше в двадцать, в тридцать... Он оставался собой — и возраст был ни при чем.

— Ну, у тебя сейчас есть любовник? — спросил Костя.

Давно они решили, что это будет их приветствием.

— Два! — Настя развела руками. — Оба не старше двадцати семи. Бесят ровесники, сплошная рефлексия и сравнивают еще себя с кем-то, подсчитывают, кто крутой, а кто — так... И вот это начинается: «Почему так поздно?», «Могут тебе хотя бы в субботу не звонить?», «Ты отвлечешься от своих отчетов или мне на прием записаться?». Ну, ты понимаешь...

— А у меня такая дамочка... — Костя чуть растянул уголки губ, отчего на щеках заиграли ямочки. — У нее какие-то шахты... Ей нравится, когда я говорю: «Какой-такой салон?! Сиди дома, женщина!». Не хватает сильного мужского начала.

— Это ты-то — сильное мужское начало? — расхохоталась Настя.

Хохотала не потому, что смешно, а потому, что было ей хорошо с ним вдвоем. Привыкнув омрачать любую радость тем или другим недовольством, Настя и ревновала. Эта замечательная легкость, воздушное, подергивающееся на ниточке счастье не было особенной химией, что возникает между двумя избранными, нет. Увы. Это были не они, это был он — Костя, с которым все вдруг ощущали себя моложе — словно с души сбрасывали балласт.

— Представь себе, — в ответ улыбнулся Костя, а Настя заметила, что он переусердствовал с отбеливанием зубов. — В рекламе снимался для итальянцев, — он почувствовал ее взгляд. — То ли жвачка, то ли зубная паста... Забыл.

Костя запоминал только людей. Он мог думать час, что случилось позавчера, но узнавал лицо, мелькнувшее в толпе десять лет назад. «Я его видел... В Салерно, помнишь, на пляже лежал, под красным зонтиком...» — говорил он. Конечно, Настя не помнила. Она и ту неделю в Салерно почти забыла.

— Ну, то есть ты в порядке? — уточнила Анастасия.

— Я сейчас умопомрачительно богат. Но это ненадолго.

А ведь это было хорошее лето, тогда в Салерно... Счастливое лето.

У Насти голова кружилась от Италии. Страна влюбилась в нее — ухаживала, одаривала.

Аверьянова переживала увольнение — мучительное потому, что уволилась сама, потеряв нить, разочаровавшись. Смысл только что лежал на столе, но отвернулась на миг — и уже нет его. Смахнула, унесли, растворился.

Патронесса Насти, жизнерадостная дама, прислала ей билет и приглашение в Сицилию. Название провинции звучало тогда для Аверьяновой как Альфа Центавра, Тридесятое Королевство, Ка Пекс.

И она улетела, и увидела из окна белой виллы, как цветет померанец, и едва заметно покачивается прозрачное море, и будто вздыхают листья пальмы.

Неделю она ступала осторожно, ощущая прикосновение к земле пальцев ног, подушечек, пятки... — будто не решалась потревожить это счастье, окутавшее ее пахнущим мандаринами воздухом.

А потом вдруг оказалось, что она уже всех здесь знает. Здесь правило дружелюбие маленькой русской курортной колонии — ее все приглашали то туда, то сюда: на ужин, на острова, в Неполь, в Геную...

В Риме она жила у графини русского происхождения, когда-то манекенщицы, в облезлом дворце.

В Милан пригласила русская жена итальянского дипломата — в их доме было так много икон, что Настя малость оробела.

В Салерно ее занесло с веселой компанией золотой молодежи, к которой позже и присоединился Костя с рослой блондинкой, чьи немецкие корни крепко вцепились в землю.

Блондинка была случайной, они не спали. Просто им было по дороге.

Но тогда Настя все-таки первый и последний раз взревновала — уж такой уверенной, мускулистой, безупречной была эта наследница династии, оскандалившейся во время Второй мировой войны.

— Когда ты влюблялась в последний раз? — спросил тогда Костя.

Они сделали кувшин пинаколады — и пили ее на частном пляже особняка, который так и непонятно кому принадлежал.

— Вот прямо сейчас, — Настя дерзко заглянула ему в глаза, дождалась растерянности. — Я никуда не уеду из этой страны. Италия — моя любовь.

— Я тоже все время влюбляюсь в странные вещи, — признался он. — Я спал с женщиной только потому, что у нее дома висела картина, без которой я не мог жить.

— Ты так любишь искусство? — с вопросе ощущалось ехидство.

— Дом тоже был потрясающий. Эта картина не могла находиться нигде, кроме того дома. Вдова испанского художника, ей было лет пятьдесят...

Настя ахнула.

— Да ты не то подумала! — ямочки на щеках были глубокими, потому что он улыбался во всю ширь. — Она живет на море, плавает много километров каждый день, лазает по горам... Понимаешь, она как эти горы — сколько бы им ни было лет — они величественные. Понимаешь?

Настя кивнула.

— Я влюбился во все это. Она, горы, дом, море, картины мужа... Его мастерская... Видела бы ты, сколько там света! Конечно, она меня бросила. Там вокруг нее мужчины крутились... В одного я тоже влюбился. Морской волк. Живет на деньги семьи, лет шестьдесят ему, ни разу не работал. Что-то в этом есть. Я бы тоже не работал. Ты бы видела, какой он! Человек столько лет наслаждается жизнью — его можно слизывать, как варенье, такой он сладкий. Обидно, что мужики меня не заводят. Ну, расскажи, в кого ты еще влюблялась?

«Он тупой?» — думала Настя, не в силах оторвать глаз от странного мечтателя.

Вместо ответа она скинула с плеч полотенце и окунулась в море.

Анастасия Аверьянова всегда во всем искала пользу, смысл, практическую выгоду.

Стяжательницей она не была, просто ей казалось неразумным поддаваться чувствам, надеяться на авось.

— Я влюбилась в дерево, — сказала она, натерев нос маслом. — Было одно дерево, на холме, и холм нависает над морем. Дерево огромное, два ствола, а кожура... в смысле, кора у него такая толстая, что в складки можно палец засунуть. И вот там есть такой пятачок в тени, как раз между стволами, а они еще изогнутые, как гамаки, где можно лечь, и рядом какие-то ромашки... И ты смотришь на море... Я как будто нашла кого-то близкого, любимого. Я ходила к этому дереву, скучала по нему.

Константин взглянул на нее с интересом. Ей было двадцать шесть, ему — двадцать один.

Он протянул руку и погладил ее по спине. Спина отозвалась мурашками. Костя гладил ее с четверть часа, пока Настя не обмякла.

Потом он перевернулся на живот — и она увидела полосу белой кожи под шортами.

В жизни Аверьяновой было не так уж много крепкого, как алмаз, счастья. Радость выстраданной победы делает человека счастливым, но отчего-то этот морок быстро рассеивается. А вот такое никчемное счастье, не награда, а просто так, запоминается надолго.

Уже в Москве, пятнадцать лет спустя, Анастасия смотрела на Костю и, как тогда, жалела о том, чего не успела пережить. Но если в Салерно разочарование превратилось в злость, в клятвы, то сейчас уже случились пробы и ошибки, и правда оказалась в том, что путешествие по жизни автостопом было не для нее.

Десять лет назад, в Париже, Костя напугал ее.

Они столкнулись за прилавком — на вытянутых руках Костя держал рубашку-поло.

В самом известном парижском магазине Настя съежилась от цен, но не смогла уйти отсюда без знаменитой стеганой сумки. Вид у нее был, как у одержимого игрока, заложившего за углом казино часы — и заранее проигравшего.

Костя бросил рубашку, пошире распахнул объятия и устроил настоящее представление.

Он купил двести пятую или трехсотую рубашку-поло, а заодно и сумку — только не черную, а белую.

— Почему? — пискнула Настя.

Костя оглядел ее с ног до головы (наверное, усвоил этот прием у ньюйоркских модников), фыркнул и произнес:

— Дорогая... Черная сумка означает, что у тебя есть деньги. Белая — что у тебя есть вкус и смелость.

— Где ты этого нахватался? — веселилась Настя, после того как они вытряхнули содержимое из старой, безымянной сумки, и пристроили его в новую.

Костя жил с полгода в Нью-Йорке, где не было работы, но все его обожали.

— Предлагали сниматься в порно, — хвастался Костя. — Я согласился, мне просто любопытно было. Конечно, я пришел, повертелся там, посмотрел, как все устроено, и смылся. Мне потом звонил продюсер, орал, но я деньги не отдал. Он в меня влюбился. У меня там все друзья были геи, и все хотели меня уложить. Они так старомодно ухаживают! Но я сразу сказал, что ничего не получится. Просто они не теряют надежды. Так у них принято.

Костя жил в Пятнадцатом квартале, в квартире, которая нигде не заканчивалась.

— Ну ничего себе! — ахнула Настя. — Ты разбогател?

— Через два месяца меня отсюда выгонят. Кончается срок аренды, — ответил тот, разглядывая кусок сыра. — Мерзость! — определил он и выбросил сыр в помойку. — Пойдем в ресторан! У тебя есть деньги?

Настя растерялась.

— А у тебя нет?

— Пятьдесят франков — это деньги?

Настя засуетилась, залопотала... Порывалась рассчитаться за сумку...

— Да наплевать! — отмахнулся Костя.

— Но как ты можешь покупать такие рубашки, если у тебя нет денег? — ужасалась она.

— Ну, пока я ее не купил, у меня ведь были деньги, — он пожал плечами.

— Но... — Настя осеклась.

Хотела спросить, не боится ли он умереть с голоду, выйти на панель, на паперть, но в этой квартире, глядя на Костю в новой рубашке, ощущая запах его духов, невозможно было представить ни голод, ни паперть.

С тех времен Настя стала замечать, что Костя никогда не бывает бедным, даже с последней сотней франков. Он пешком идет на вечеринку, где на гостях надеты миллионы, и с кем-то едет в ресторан, где съедают тысячи, а уходя от женщины с утра, получает несколько сотен на такси.

— И что ты будешь делать, когда постареешь? — настаивала она уже в ресторане.

— Есть столько возможностей... — пока Анастасия с опаской заглядывала в меню, Костя уже заказал для них самое дорогое блюдо и бутылку хорошего вина. — Я могу жениться. Может, впаду в депрессию и стану зависимым от таблеток, которые меня убьют. Или, например, кто-нибудь купит мне ферму, и я буду там доживать, а потом еще и опубликую скандальные мемуары. Или просто заболею и умру в расцвете сил. Лучше всего пусть меня пристрелит обманутый муж.

— Кость, ну я серьезно!

— Я тоже серьезно. Что тут такого несерьезного? Так все в жизни и происходит!

— Ну просто дело в том, что ведь все стараются, чтобы не произошло... — она с подозрением взглянула на блюдо, которое им принесли. — Это вкусно?

— Какая разница? — Костя подцепил вилкой кусок лягушачьей печенки. — Надо же было попробовать.

Спустя несколько часов они сидели на ступеньках и смотрели на закат, размазанный по облакам.

Настя пребывала в смятении. Она не могла сосредоточиться: как относиться к Косте? То ли презирать сквозь жалость, то ли восторгаться и отчасти завидовать, а может, желать его...

В Салерно между ними ничего не было. Они лежали на кровати, и окна были распахнуты, чтобы видеть луну. Настя завернулась в простыню, а загорелый Костя на белом покрывале казался плоским, рисунком на шелке в виде красивого мужского тела.

Костя гладил ее так задумчиво, как некоторые обкусывают ногти, и Настю это и успокаивало, и задевало.

«И куда это приведет? Чем закончится? А если я влюблюсь?» — тревожилась она.

— Ты напряженная, — произнес он.

Настя называла это «гипертонус». Как у детей. Она почти всегда находилась в этом тонусе — только, может, глубокой ночью, одна, расслаблялась.

Он повернулся и поцеловал ее в живот, через шелк.

Настя думала о том, что может произойти, не как о страсти, похоти, сексе, физической близости. Ей казалось, что это будет обряд, после которого ее посвятят в такие же, как он — и она тоже будет относиться ко всему легко, перестанет тревожиться, и... И вместо классического реализма с перспективой и прочими условностями ударится с сюрреализм, абстракцию, экспрессию.

Она положила руку ему на голову — и он затих. Скоро Костя спал, и у себя на животе она ощущала его дыхание.

Аверьянова не гордилась собой — она ведь была всего лишь трусихой, но договорилась на том, что так было лучше.

В Париже Настя заметила, что Костя ее пугает. Рядом с ним она виделась себе одним из тех магнатов, у которых всегда такое выражение лица, будто они обдумывают план мести, а их многочисленная охрана похожа на преступную группировку. И хочется спросить: «А если из толпы кинут бомбу? А если снайпер? Авария?»...

Аверьянова нередко размышляла о том, что она скучно живет, и все бережет себя, вечно побаивается, вздрагивает от дурных намеков, и что она тот самый, классический, в пяти томах авторства Голсуорси, буржуа, столп общества, которого так и тянет заклевать сарказмом и защипать иронией.

— Меня друзья приглашают в Ниццу, — оповестил ее Костя. — Поедешь со мной?

И Настя вдруг решилась.

В Ницце выяснилось, что приглашали не совсем друзья, а случайные знакомые, и было это давным-давно. Она запаниковала. У Кости денег нет вовсе — она купила ему билет, гостиницы здесь дорогие, а ей еще надо жить на что-то в Москве...

Костя потащил ее в ресторан. Настя едва не плакала: какой ресторан? что они будут делать с чемоданами? где российское консульство?

В ресторане было так много знакомых, что Насте почудилось, будто незнакомых и вовсе не существует. Два дня они жили на трехпалубной яхте. Там же и встретили тех самых друзей, которые некогда звали Костю пожить у себя.

Вместе с этими друзьями, бородатым мужчиной и почти наголо стриженной дамой в темных очках с диоптриями, они на рассвете отправились на кинофестиваль в провинцию.

— Моя подруга очень религиозна, — рассказывала, убаюкивая, дама, неожиданно взбодрившаяся на рассвете, когда все остальные желали умереть, но быстро, а не в страданиях. — Она всегда говорит мне: «Анна, ты не должна желать зла. Никогда не говори: «Я убью его!». Не ругайся. Зло тебя разрушает. Бог всем воздаст по заслугам. Судить — не мирское дело». И вот я поссорилась с одной тварью, которая приставала к моему мужу... Не к этому... — Анна кивком указала на бородача. — У меня был муж рок-звезда. И я говорю этой моей подруге: «Вот она такая... Сука! Дрянь! Но, конечно, я не желаю ей зла... Конечно, Бог ее накажет, такую мерзавку, Бог ее покарает, ты же сама говорила!»...

Настя по-французски понимала хорошо, но не быстро — Костя переводил, и Аверьянова смеялась одна, после всех.

Фестиваль устраивал коньячный завод, что принадлежал зятю бородатого мужчины. Кино они так и не увидели.

Настя устала. Костя и друзья были полны сил, будто проснулись в собственной кровати. Только бородач все время клевал носом, но Настя уже поняла, что это его стиль.

Анастасия не была кочевником — где угодно она расслаблялась, только соорудив свой мир, подобие дома. Крики: «Едем в Монте-Карло!», поспешные сбо-

ры, радостные для остальных, выбивали ее из колеи. Она все не могла отоспаться, отмыться, наесться.

— Мне нужно возвращаться, — она развела руками, приняла скорбный, извиняющийся вид.

Никто не расстроился. Настя уже знала, что они никогда не расстраиваются.

В поезде вспоминала ночь, пропахшую коньяком, который теперь не сможет видеть годами, — его пили из длинных стаканов, как лимонад, и потом целовались в такси, а потом — на диване в доме зятя, и вдруг что-то свалилось с грохотом... И она решила, что слишком пьяна, ее укачает, и даже отчасти стыдно, если он тоже пьяный, и у него не получится...

— Можно я тогда засну рядом с тобой? — настаивал Костя.

Но Настя не умела спать с чужими мужчинами — стеснялась, раздражалась...

Костя заснул на диване, а она поднялась наверх, умылась, приняла аспирин, выпила много воды — и так и не смогла вспомнить, когда в последний раз ее близость с мужчиной была похожа на безумие.

Спустя много лет они вышли из клуба «Мост», Анастасия нажала на кнопку — и с удовольствием выслушала похвалы своей новой красной двухместной машине.

В кабриолетах есть романтика. С тобой уезжает самый важный для тебя человек. Романтика и власть.

Костя протянул руку и сжал пальцами ее загривок.

— Ну зачем? — вдруг смутилась секунду назад гордая и властная Настя.

— Какая же ты зануда... — без раздражения произнес он.

После встречи в Париже миновало два или три года — и тогда Костя объявился в Москве.

— У меня здесь связи, — непонятно сказал он.

— С кем?

— С массой нужных людей.

Костя даже играл в кино. Небольшие роли.

Кинопленка имела странное действие — она не жалела его, нехватка таланта была очевидной, и скованность, и медлительность резали глаз, но отчего-то эти недостатки, унизительные для других, странным образом привлекали. Казалось, будто это такая актерская оригинальность.

Костя часто выходил в свет.

— А что ты думала? — он улыбался снисходительно. — Мне за это платят.

Настя задержалась в паузе, во время которой на ее лице отразились дурные мысли.

— Как... сопровождение?

— Да ну тебя! — фыркал он. — Просто платят. Конечно, все думают, что это привлечет всяких там... женщин.

— О Боже! И сколько за это платят?!

— Косарь. В долларах. Иногда пятьсот, но я тоже соглашаюсь. Десять выходов — прожиточный минимум обеспечен.

Настя недоумевала. Зачем платить Косте, если он не знаменитость? Не настоящая знаменитость. Но она была за него рада.

Позже это деловое предприятие загнулось.

— Поехали в Гоа... — ныл Костя.

— Кость, ну езжай, а?! — взвилась Настя. — Сколько можно? Я тут при чем? Не хочу я в твою мерзкую Индию, там грязно, прыщи и дизентерия!

— Вот чушь! Все там чисто! Не грузи!

Настя сдалась через год.

В самолете летела хмурая и капризная. Они приехали ночью, с трудом нашли такси, поехали, как это обычно случалось с Костей, наугад, их швыряло от одной гостиницы к другой... Настя орала и клялась немедленно купить обратный билет.

Утром Костя принес ей кофе. С интересом глядел, как Настя расставляет по полкам кремы, лосьоны, маски; вытряхивает в ящики лекарства, развешивает одежду...

— Ты всю квартиру перевезла? — спросил он.

— Слушай! — воскликнула она. — Я люблю, чтобы комфорт!

На пляже он протянул ей самокрутку.

— Ни за что! — всполошилась Настя. — У меня паранойя начинается!

Спустя неделю Настя, в малиновых шароварах и в чадре, покупала траву у музыканта из Череповца, которого временно считала интересным и одаренным. От нее пахло кокосовым маслом местного производства, которое нечаянно превратилось и в крем, и в лосьон, и в маску, и даже в лекарство.

По странной причине мир, сузившийся с востока на запад от набережной до кромки моря, а с севера на юг — от холма до спасательной станции, стал вдруг огромным и наполненным такими разными смыслами, что в голове не укладывалось, как можно за долгие годы постичь хотя бы его малую часть.

Настя не покидала бы его год. Или хотя бы месяцев шесть.

Вся ее одежда висела в шкафу нетронутой — на местный эквивалент сотни долларов Настя купила мешок барахла, которое выкидывала, не стирая.

Ей представлялось, что душу, в Москве зачерствевшую от грязи (будто ею мыли полы в автомобильной мастерской, а потом бросили в кусты, где она обветрилась и задубела до того, что можно ножи точить), вдруг отстирали, вывели пятна, обмакнули в ароматное, нежное — и теперь она, чуть влажная, впитывая запахи джунглей, колыхалась на морском ветру.

В Москве она бежала по воде — и нельзя было останавливаться, а здесь обрела почву под ногами.

По истечении второй недели Настя отправила на работу невнятное письмо — и даже не помнила, то ли соврала о желудочной инфекции, то ли потребовала увольнения...

Ей хотелось жить здесь с Костей, и все равно было — чьи деньги, и чтобы каждый день эта праздная рутина, одни и те же события, и восторг, если сегодня на ужин завезли не окуня, а дораду...

Они с Костей с балкона второго этажа смотрели на пляж, качаясь в подвесных плетеных креслах. Костя толкнул ногой ее качалку.

— Ты ни в чем не уверена! Никогда ни в чем не уверена! Что с тобой не так?

— Почему «не так»? В чем ты хочешь, чтобы я была уверена? В чем вообще можно быть уверенным в наши дни?

— А в какие дни надо быть уверенным?

— Костя, чего ты от меня хочешь?

— Ну... Ты всегда говоришь: «Радоваться еще рано». Потом говоришь: «Столько работы — ужас! Лучше бы я этого не делала». Зачем чем-то заниматься, если ты даже ни разу не можешь сказать: «Я крутая! Завидуйте!»? — он произнес это с такой страстью, что хотелось за ним повторить.

Вместо этого Настя нахмурилась.

— Я работаю, чтобы обеспечить свое будущее. Чтобы быть уверенной...

— Но ты не уверена! — перебил Костя. — Понимаешь, о чем я?

— Кость, ну я не могу, как ты! Ты-то все время празднуешь, даже если нет повода.

— У меня есть повод! Мне все время хорошо.

Настя тогда отвернулась и пожала плечами. А потом вдруг улыбнулась — и не нарочно, а даже против воли, словно улыбались внутри неведомые ей чувства, и произнесла:

— Я крутая! Умри от зависти, ничтожество!

За это она получила еще один толчок ногой — такой сильный, что из рук упала сигарета.

После этого разговора что-то изменилось. Настя прислушивалась к себе, наслаждаясь новым для нее общением с тем странным миром, который живет и множится изнутри каждого человека.

«Меня уволят...» — «И что? Денег — полно, работы — полно»...

«Я буду заводить детей?» — «А ты хочешь?» — «Как можно сказать, что не хочешь детей?» — «Громко и внятно» — «Я не хочу детей!» — «Легче?» — «Ага!».

«Что меня ждет в будущем?» — «Это обязательно — все время бояться?» — «Нет, но так получается...» — «А нет ощущения, что это от тебя зависит? Это все лишь мысли. Будущего нет, а мысли есть. В мыслях тебе может быть хорошо или плохо, так уж лучше хорошо...» — «А ведь правда! Как-то я раньше не задумывалась...».

«Костя красивый?» — «Костя красивый.» — «И почему тогда?..» — «Все дело в том...».

Все дело в том, что Настя никогда не принималась за то, у чего не было внятных последствий.

И она многие лета с неприязнью относилась к похоти — торжеству плоти над духом. Будучи агностиком, Аверьянова имела собственный кодекс: «Мы — существа одухотворенные, — настаивала она. — Это значит, что мы действуем не только инстинктивно, но еще и обдумываем свои поступки, рефлексируем, стараемся избежать вреда не только телу, но и душе. Если меня что и раздражает, так это импульсивные поступки, опускающие нас до животного уровня. Почему-то мне кажется, что миссия человека несколько отличается от поспешного совокупления на глазах у всего двора, как у собак или кошек».

У Анастасии не было связей — у нее были отношения.

«Если единственное последствие отношений — популярное венерическое заболевание, значит, вы что-то сделали неправильно», — говорила она знакомым.

Настя не ввязывалась в интрижки, длящиеся меньше года. Обычно — два, два с половиной. Хороший срок, чтобы влюбиться с умом и с толком разочароваться.

«Ты зануда!» — «Это плохо?» — «Скучно. Ты обходишь жизнь стороной.» — «Ой, да ладно! У меня увлекательная жизнь!» — «Вокруг тебя много событий, но ты в них не участвуешь...»

Это было честно, обидно и страшно.

Аверьянова была подобна тем некогда воодушевленным критикам, что не сомневались — грянет день их триумфа, когда, собрав в кулак всю силу опыта и знаний, они пригрозят зажравшемуся искусству, приютившему на своем расплывшемся теле блох и клещей...

Но привычка осуждать — губительна. Критик, мечтающий творить, — все равно что человек, танцующий пого-пого в платяном шкафу.

Неупокоенные души загубленных фильмов, книг и песен лезут из темных мест и воют отчаянно и страшно, мешая сосредоточиться еще недавно уверенному в себе критику. Их плач сводит начинающего сочинителя с ума, обжигая сердце раскаянием. Он хлопает крышкой ноутбука — и звук этот подобен стуку гробовой доски, под которой находится холодное тело его безвременно почившего творения.

Критику остается только наблюдать — и то ли сочувствовать успеху, то ли тешиться злой радостью от неудач.

Отстрадав свои печали, Настя превратилась в созерцателя, влюбленного в чужую жизнь, как пожилой мужчина, осознающий тщетность собственных чувств, — в молодую красивую женщину. Она любила то, что ей не было доступно, благородно, по-матерински, с восхищением человека, понимающего природу даже самого незатейливого творчества.

Но, как часто это бывает с людьми, осознавшими, что прожита половина жизни, и все, что они откладывали «на потом», на завтра, — истлело и пахнет старостью, Настя встрепенулась, будто ее вдруг укололи чем-то острым и длинным, разволновалась и ощутила такую жажду, которая мучает людей лишь после тяжелых операций.

«Возьми его!» — «Да!»

Она была готова. Здесь и сейчас. Сейчас или никогда.

Но приехала его подруга. Высокая, темноволосая, с впалыми щеками.

Русские стали собираться домой — с февраля пляжи одолевали вши.

И не успела Аверьянова вернуться, как ей предложили управлять частным телевизионным каналом, который ждал большой успех.

Анастасия втянулась в работу, но ее то и дело одолевали ложные воспоминания. Они с Костей стали так близки, что и не понять, дружба это или страсть — и считается ли, что нет отношений, если они не прошли через ритуал соития?

В его глазах она не видела насмешки, когда тот смотрел на нее. Она не просто трепала ему волосы — это было вступление. Он закутывал ее плечи платком — и была особенная прелесть в этих прикосновениях сквозь ткань, неуловимых, старомодных, пахнущих жасмином.

Эти воспоминания то ли мучили, то ли поддерживали ее несколько лет — работа была единственной постоянной величиной ее жизни, а со всем остальным Аверьянова будто не могла определиться. В людях ее привлекали такие качества, что не могли бы ужиться в одном человеке — поэтому друзья, знакомые, любовники менялись, как мода.

Она не видела Костю три года. И не понимала — много это или мало, хорошо это или плохо.

Может, это похоже на старое кино, неожиданно современное и увлекательное?

Может — на песню из юности, которую слушаешь с кислой ухмылкой?

Может, это книга, открыв которую в предвкушении чуда, осознаешь, что помнишь каждое слово?

Костя будто мешал ей оставаться собой — такой, какой она была себе удобна.

Костя всякий раз оживлял такие мысли, из-за которых жизнь, казалось, только начинается.

После клуба поехали в ресторан.

Странная собралась компания: миллионер с любовницей, девушка из телевизора, знакомая Насти, как и большинство девушек из телевизора; Елена, мужчина Елены в белых джинсах, дама в странной шляпке, два типа в бархатных пиджаках, итальянец с выпученными глазами.

Девушку из телевизора оттеснили к итальянцу — казалось, она тоже ничего не понимала и была удивлена тем, как здесь оказалась.

Настя пребывала в сладкой задумчивости и видела все так, словно они с Костей были четкими и контрастными, а все остальные, фон, расплылись по задумке фотографа.

И она даже не пыталась собраться, не хотела понять, отчего сегодня именно так — ей нравилось это забытье, теплое и ласковое.

Приехала Костина дама — и она тоже была размыта, Настя не разглядела цветное пятно с женским голосом.

Настя выходила в дамскую комнату — а там смотрела на себя в зеркале, будто обнаружив что-то новое и привыкая к этому.

Ей вдруг увиделось лицо женщины, что выглядит на свои годы, в чем особенная прелесть — нет свежести, с которой будто каплет роса, но есть отпечатки... и даже не отпечатки, а поцелуи жизни — следы счастья, удачи, калейдоскоп впечатлений и чувств... И Настя вдруг так полюбила это лицо — влюбилась в него! — что не хотела отрываться, стояла бы и стояла, опершись на мраморную столешницу, но кто-то зашел и спугнул, прервал свидание.

— Мы уедем в Африку! — говорил Костя. — Заживем в саванне, и у тебя... — он бросил взгляд на свою даму. — Будет водитель-африканец, о котором ты иногда будешь мечтать ночами, а я буду ревновать, но редко. По ночам мы будем слышать странные звуки, рев и крики, и нам будет страшно, и мы будем крепко прижиматься друг к другу... Я займусь охотой, отращу усы, а ты удочеришь мартышку или змею...

— Костя, ну что за ерунда! — лицо его дамы сморщилось в недовольную гримасу.

Зеркало треснуло.

Не красивая зрелая женщина из дамской комнаты ее отражение! Нет! Отражение — вот эта дама с лицом, на котором выкроены раздражение и смущение.

Это она!

Сколько раз она говорила ему или думала: «ерунда», «чепуха», «что за бред»?

Это же все равно что купить мороженое и возмущаться, что оно холодное!

Почему она так стремится разочаровать его, приземлить, смирить с действительностью? Чтобы он стал похож на нее? Чтобы его можно было пристроить в ее жизнь? Чтобы не осталось ощущения мимолетности того прекрасного, из чего он состоял?

Неужели она хочет, чтобы он растворился в обыденности?

Этим вечером Настя вернулась в квартиру, сняла ее с сигнализации и с отвращением вдохнула спертый воздух. Рука потянулась к пульту от кондиционера, но вместо этого она распахнула все окна, чтобы пыльное и душное лето очутилось здесь, между диваном и телевизором, на королевской кровати, у стеклянного кухонного стола.

Костя когда-то давно насмехался над привычкой в каждом месте, в любое время года создавать этот удобный мирок.

— Зачем тебе Индия, если у тебя в комнате двадцать два градуса, в офисе двадцать два, в квартире?.. — спрашивал он, растянувшись на кровати. — Оставалась бы дома.

— Но ведь ты почему-то прилетел сюда на самолете! — сопротивлялась она.

— Самолет — необходимое зло, — пояснял он. — Наслаждайся темной влажной душной ночью. Не нужно себе напоминать, что ты — человек другой культуры, не надо всюду строить маленькую Москву. Получай удовольствие от того, что есть. Напейся пьяная и приведи любовника — и ты забудешь, что такое кондиционер, в одно мгновение.

— Я тебя не понимаю... — сказала тогда Настя.

Ту ночь она провела в духоте, а на следующую они с Костей лежали в море до рассвета.

— Нет ничего лучше, чем изменить своим привычкам, — говорил тот. — «Не могу спать, душно», — он передразнил ее. — Так не спи!

Утром она позвонила Елене.

К невыразимому удивлению Насти, Елена обитала в огромной современной квартире, с террасы которой виднелся Большой Каменный мост.

— Это что еще такое? — изумлялась Аверьянова. — Откуда миллионы?

В квартиру Елену пустил знакомый магнат, отплывший на яхте в круиз вокруг Европы.

— Ты же встречалась с Костей? — спросила Настя глядя на мост, по которому сновали машины.

Елена расхохоталась. Она так интриговала — смеялась и смеялась, пока любопытство собеседника не закипало.

— Это был кошмар! — воскликнула Елена. — Его преследовал обманутый муж — Костя не мог нигде появиться. Я увезла его в Нормандию, к другу на ферму. Отдала последние деньги. Мы два месяца ели кукурузу из огорода, овощи, доели все макароны в доме и какой-то тухлый кус-кус. Собирали мидий. Костя по Интернету продавал свои причиндалы от «Гермес».

Настя растерялась.

— Но я не поняла, это было ужасно... или ничего? — уточнила она.

— Ужасно. Я в него так влюбилась... Ходила к этому обманутому мужу потом и просила. Устроила Костю в реалити-шоу. Занимала денег. Он мне, правда, все отдал. Но эта кукуруза... Я ее до сих пор ненавижу.

— А у него была там депрессия?

— Я тебя умоляю! Откуда такая роскошь? Расставшись с последним евро, он, конечно, испугался, но это скоро прошло. С ним ни в чем нельзя быть уверенной. Ну совсем ни в чем. А потом, ты что, не знаешь Костю? К нему в клубе подходит человек и дает тысячу евро. За того обманутого мужа. Типа они враги. Вот просто так, с ничего, — тысячу евро! Он мне купил туфли. Понимаешь, вот мы жрем эти зеленые помидоры с макаронами, а ему — хоть бы хны! Просыпается, плавает в ледяном море, делает массаж лица, надевает эти свои черные рубашки, кольца — и ведет себя так, словно у него полно денег. Я его прошу: «Снимись в этом шоу! На тебя вся Франция будет смотреть». А он такой: «Это не для меня».

— А секс?

— Секс отличный. Но ты же понимаешь! Не в этом дело. Секс всегда отличный. Просто Костя — это Костя.

— Долго ты будешь здесь жить?

— Месяц...

— А потом?

— Не знаю. Может, к маме уеду. Или к какому-нибудь бывшему мужу попрошусь.

Они встретились в кафе возле пруда. Толстый армянин поглядывал на них с подозрением, переживая за остывающий шашлык. Они взяли шашлык, но от взглядов не избавились — теперь армянин взирал на них благодарно и преданно.

Костя купил весь шашлык. Они угощали им собак.

— Уткам можно мясо? — спрашивал Костя.

— С ума сошел!

Костя опустил ноги в воду.

— А вдруг там утиные вши? — беспокоилась Анастасия.

— От судьбы не уйдешь...

— Костя, а ты взрослеешь?

— В том смысле, что ощущаю быстротечность жизни?

— И это тоже.

«Поцелуй меня», — хотелось сказать Насте, но она не сказала.

— Я всегда был взрослым. Точно знал, что мне нужно. И я не боюсь жизни, в отличие от тебя. В идеале я бы хотел опуститься ниже плинтуса и умереть на вокзале, чтобы никто не знал, куда я исчез.

— Ну что ты говоришь! — испугалась Настя.

— Знаешь, что меня раздражает?

— Тебя что-то раздражает?

— Меня раздражает этот культ смерти, старости... Это как страх высоты. Ты не боишься высоты, когда ее не видишь, но избегаешь всех высоких мест. И вот ты не думаешь о смерти каждый день, но игнорируешь все, что в твоем понимании связано с этим. И жизнь становится похожа на смерть.

— Как-то ты все извращаешь...

— Может быть...

— Как ты думаешь, сколько тебе лет? — спросила Настя. — Не по паспорту.

— Четыреста. Я стар и мудр.

«Поцелуй меня», — захотелось сказать Насте, но что-то ее останавливало. Не страх. Не сомнения.

Вечером они заглянули на частный пляж в Серебряном Бору, где подавали вкусные салаты.

— И в чем твоя мудрость? — Настя наконец избавилась от вскочившего на кончике языка вопроса.

— Мудрость в том, чтобы не думать о жизни, как об игре. Нет своих и чужих. Нет соревнования. Нет убеждений.

— Да ладно! У тебя есть убеждения!

— Это не убеждения, Настя. Я просто верю себе, когда мне хорошо. Верю, когда плохо. Я не тот человек, который будет сидеть в душной комнате, сгорбившись над бумагами, уверяя себя, что это все ради того, чтобы когда-нибудь стало лучше. Лучше может быть сейчас. И я не верю в награды. Жизнь не надо завоевывать. Эта идея себя изжила.

Последний луч солнца сполз со стола, упал на пол и там почернел, превратившись в тень.

И Насте почудилось, что нет никакого Кости — она сидит здесь одна, перед тарелкой салата. Разумеется, Костя существовал — вот прямо сейчас пил морковный сок, окрасивший верхнюю губу в оранжевый цвет, но он не был мужчиной, не был другом — он был частью ее самой, не доставшейся Анастасии при рождении — или утерянной в течение жизни.

Он был состоянием, которое зарабатывают, родившись в семье, где бананы считают роскошью. Он был красотой, которой достигают большими усилиями, исправляя небрежность природы.

Он был знанием, которое приобретают, читая ночами до утра, чтобы не выспаться и весь день бодриться кофе.

Настя чувствовала себя несчастной и свободной, разочарованной и восторженной.

Костей не надо было владеть целиком — он мог быть с ней уже много лет, если бы она поняла, что любовь к нему — это причудливая любовь к себе, эхо мечты.

Она закрыла глаза и растворилась в мгновении.

Вокруг нее высыхала под солнцем саванна, чернокожий водитель с телом гладиатора поливал водой внедорожник, а настоящая жизнь, кричащая о помощи и рычащая от удовольствия, визжащая, хрюкающая, фыркающая, находилась так близко, что след чьей-то крови, появившийся с утра, еще пах резко и сладко.

P.S.

Успех *— это вообще-то от слова «**успеть**». И **успешный** человек есть тот, кто успел. Раньше вместо **успешный** говорили **преуспевающий**, и этот эпитет было ближе к корневому значению слова.*

Арина Холина — дочь «барачного» поэта Игоря Холина, которого уж никак нельзя было назвать ни успешным, ни преуспевающим, хотя знаменитые стихи его воспринимались и распространялись изустно, как народные («У метро у Сокола…»), — успешный автор нескольких книг в твердых и мягких обложках. Книг из разряда развлекающих, масслитовских. И вот стратегия: прыжок совсем в иную сторону: в сторону толстожурнальную, куда Арина и принесла свой рассказ об успешной женщине, имеющей пристрастие к неудачникам.

Неудачники — соблазнительны. Они не напрягаются. Перед ними — будущее, в котором они могут стать удачниками.

Бесконечность перспективы — вот что привлекает героиню.

Отсутствие оной — вот что ее в этой жизни укачивает до дурноты и в конце концов останавливает (некуда больше спешить).

Масслит успешен, его авторы преуспевают: жизнь удалась.

Но что-то тянет и тянет под ложечкой, и жизнь в масслите, такая внешне успешная, выходит неудачной.

Беззаботность все равно в руки не дается, — а литературная невинность потеряна.

Это очень любопытно: попытка движения назад. Из греков — в варяги, из глянца и гламура, из масслита — в малотиражное издание на скромной бумаге.

И совсем без картинок.

Игорю Сергеевичу Холину это неожиданное фуэте Арины понравилось бы.

Наталья Иванова

Роман Солнцев

Баба Шура

рассказ

Я познакомился с ним — страшно сказать! — сорок семь лет назад, в 1962-м, когда он, вместе с Галей, его верной и единственной женой, прибыл в Сибирь по распределению, закончив физико-математический факультет Казанского университета.

Прибыл УЖЕ ТОГДА в ореоле нещуточной славы. О, эти времена, когда писатель еще был знаковой, значимой персоной вне зависимости от его взаимоотношений с властями!

Времена, когда Хрущев орал в Кремлевском дворце на провинившихся перед партией творцов слова, Солженицына выдвинули на Ленинскую премию, молодежь, не спрашивая разрешения, читала стихи « у Маяка», а дискуссия на тему «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне» становилась всенародной. Достаточно было Андрею Вознесенскому процитировать в статье «Мы — май», опубликованной в тогдашней «Литературке», ОДНО стихотворение никому не известного «студента-физика из Казани» Р. Солнцева, и его имя узнала вся пишущая «оттепельная» братия, включая меня и красноярского прозаика Эдуарда Русакова, которому тогда было двадцать лет, мне — шестнадцать, но мы уже отметились в родном городе созданием самиздатского литературного журнала, тут же и разгромленного.

Роману исполнилось тогда двадцать три, у него уже была книжка, вскоре его в один день с Валентином Распутиным и Александром Вампиловым приняли в Союз писателей. Мы подружились, мы обменивались свежесочиненными рукописями и заветными книгами. Когда меня спрашивают, была ли у меня в юности, в моем городе К., стоящем на берегу великой сибирской реки Е., впадающей в Ледовитый океан, литературная среда, я имею возможности для уверенного ответа: да, была, эту литературную среду составляли для меня тогда Роман Солнцев и Эдуард Русаков.

А дальше — что говорить? Прошла совместная жизнь, в которой география не имела превалирующего значения. Я покинул Красноярск, жил в Москве и Подмосковье, он, коренной волжанин, выросший в татарской глубинке, стал сибиряком, но мы всегда были вместе. Часто приезжал он ко мне в мои студенческие годы, подкармливал нас, водил по скромным ресторанчикам, познакомил меня с Андреем Вознесенским и Марком Соболем, обладателем потрясающей библиотеки, где я впервые прочитал книги редких или запрещенных тогда авторов двадцатых-тридцатых годов: Замятин, Пильняк, Ремизов, Зощенко, Пантелеймон Романов. Пытался, практически безуспешно, устраивать мои литературные дела. Он друзей не бросал и не сдавал. Когда мне в 1986 году исполнилось сорок лет и я, исключенный из Союза писателей за альманах «Метрополь», обретался в литературных нетях, он был единственным гостем на моем скромном дне рождения и убедительно внушал моей любимой теще Галине Александровне, что ее зять не отщепенец, не фуфло, а обыкновенный

русский писатель. То же самое он говорил всегда и везде, несмотря на то, что суки-доброжелатели неоднократно предупреждали его, что с такими персонами, как я, ему, ОФИЦИАЛУ, лучше не якшаться.

Человеческая жизнь всегда коротка, но Роман успел сделать за свою жизнь столько, что только сейчас становится понятным, как всего этого было много. Стихи, проза, драматургия — это все весомо, это все само собой, но ведь на его счету и один из лучших современных толстых журналов, и единственный в России Литературный лицей, которым он справедливо гордился. И кинофильмы, и театральные постановки, и Сибирское отделение ПЕН-центра, и поэтическая серия «Свинцовый век», издаваемая в Красноярске «на медные деньги», — вечная «зэчка» Анна Баркова, забытый Иван Ерошин, трагически погибший поэт-самородок Аркадий Кутилов.

И попытка «хождения во власть» вовсе не для собственного комфорта, а для других. Для обретения народом потерянной Родины, как бы пафосно ни звучала эта последняя моя фраза. Именно при его жизни и при жизни Виктора Петровича Астафьева о Красноярске заговорили как о литературной столице Сибири. Именно тогда возникла «красноярская стенка» известных современных сибирских писателей — Александр Астраханцев, Сергей Задереев, Олег Корабельников, Сергей Кузнечихин, Эдуард Русаков, Михаил Успенский, Сергей Федотов.

Ему помогали Вознесенский, Симонов, Твардовский, он тоже помогал кому мог, хотел, и многие, самые разные, совсем «новые литераторы», чьи имена сейчас постепенно входят в литературный обиход, обязаны считать его своим крестным, если у них есть память и совесть. Я видел, как он общался с ними на Форуме в Липках, где мы с ним неоднократно вели семинары от журнала «День и Ночь». Я так не умел, не умею и никогда, наверное, не научусь — говорить доброжелательно, но анализировать беспощадно, с одной стороны — не впасть в панибратство, с другой — избегнуть менторского тона, продиктованного возрастом, положением. Не заигрывать и не браниться. Говорить о чужом, как о своем, выстраданном. Безо всякой фальши и «скошенных от вранья глаз».

Он не был «натруженным и праздным». Он был нервным, ранимым, иногда впечатлительным до мнительности. Мне кажется, он не всегда верил, что его действительно ЛЮБЯТ. А его любили многие, и я говорю не только о его ближайших друзьях и соратниках. На смерть его откликнулись прочувственными словами такие разные люди как Василий Аксенов и Владимир Бондаренко, Белла Ахмадулина и Римма Казакова, Светлана Васильева и Светлана Василенко, Владимир Салимон, Вадим Абдрашитов, Виктор Славкин, Сергей Юрский, Юрий Кублановский и многие-многие другие, включая так называемых «простых людей». Последовательный демократ, правозащитник, член знаменитой «межрегиональной группы» депутатов Верховного Совета канувшего СССР, он, тем не менее, был подлинным плюралистом. Он собирал под обложкой своего журнала самых разных авторов. Он не разбрасывал камни «кому в лоб, кому в бровь, кому в пах, кому в глаз», ибо единственным критерием отбора для него был талант. Писатели и поэты из русской глубинки соседствовали на страницах «Дня и Ночи» с русскопишущими из Америки, Германии, Израиля, Финляндии, Ближнего Зарубежья. «Космополиты» и «почвенники», «реалисты» и «авангардисты», «левые» и «правые» — такова была пестрая мозаика журнала «День и Ночь», создающая объемную картину современной жизни России со всеми ее бедами и победами.

Памятные мысли о нем все последнее время сопровождает жуткое, почти безумное ощущение того, что он просто вышел из этой жизни на минутку покурить и скоро вернется.

Знаю, что это не так. Чувствую, что место его пусто. Не растерять, не разбазарить то, что он накопил для литературы, продолжить то, что он на-

чал, закрепить навсегда ту твердь, которую он намыл среди морока и хляби, — вот лучшая память ему.

За год до смерти он написал эти пророческие строки:

Романтик был, простого норова…
Родня мне: русичи, татаре…
Сгорел, как верный пёс, которого
Не отцепили при пожаре.

Он был ПОДВИЖНИКОМ, и мне плевать на то, что это слово сейчас не в моде.

Евгений Попов

* * *

Евг. Попову

Я брел знойным вечером по нашему городу, и мне, одинокому, казалось, что я плетусь во сне — разогретый асфальт проминался под ногами, как тряпка, отчего и рождалось чувство нереальности. Да и дышать было нечем.

Жена моя еще не вернулась — проходила лечение под Москвой, в санатории. Мой приятель, унылый физик с губами, как гриб-чага на березе, Жора Френкель вчера улетел навсегда жить в Америку (может быть, последний из пожилых евреев нашего города, раздумывавших: уехать или нет). Другой мой приятель, философ, неугомонный Толя Комарских, со сверкающими, слегка косящими глазами и бородкой клинышком, пропадал в тайге: то ли сплавлялся на плоту, то ли на этот раз исследовал бездонные пещеры, не знаю, — вернется, расскажет...

Я уж не говорю про моих первых, самых лучших друзей. Они давно и прочно осели далеко: один в Прибалтике, другой в Италии. Мне больно здесь даже называть их имена. Тот, что в Прибалтике, играет на фортепиано в Рижском филармоническом оркестре, а когда свободен — в ресторане «Луна». А другой мой братан (еще с университета мы дружны), бывший специалист по «динамике летательных аппаратов», похоронил жену, красавицу, талантливого художника, и, распродавая ее картины, чтобы одеть оставшуюся без матери дочь, познакомился в Москве с некой итальянкой-скрипачкой да и женился на ней. Сейчас живут в Падуе.

В последней открытке, присланной на Рождество, было написано:

Я живу, не падая,
в этой самой Падуе,
пусть я буду падлою,
коль тебя забуду, правда!

Почти в рифму. И уже с полгода молчит. А мне туда что писать? Что в нашей стране много кажущихся перемен? Россия — страна ярких слов. Живем очень, очень хорошими словами...

Итак, я плелся по городу, стараясь держаться в желтой тени зданий, малодушно подумывая, не завернуть ли к знакомой даме легкого поведения. У нас с ней была когда-то развеселая ночь на даче ее родителей, где мы изображали мычащих скотин — быка с коровой. Но ныне она замужем. Не правда ли, нелепо: встречаться с замужней женщиной...

Есть еще одна приятельница, но эта заставит слушать часа два какую-нибудь ветхую магнитофонную запись, сцепив пальцы и кусая треугольные заячьи губки. И будет бормотать: «Не правда ли? Скажи! Как, а?! Как они предвидели?!.». Но у меня давно оскомина даже от Галича, который якобы двадцать лет «протрубил по тем лагерям», а потом умер в Париже. Впрочем, если бы я жил там, наверное, дольше бы восторгался этими песнями, но я обитаю в Сибири, среди цемзаводов, бараков и обнесенных колючей проволокой фабрик дешевой мебели...

Нет, не пойду к ней.

Но ведь некуда, некуда зайти! Случись рабочий день — забылся бы в лаборатории. Однако на воскресенье корпус НИИ обесточивают, оставив только сигнализацию, чтобы сотрудники, особенно из мехцеха, за счет энергии института и на станках института не изготавливали какие-нибудь фиговинки народного потребления, оплата за которые пойдет к ним лично в карман...

Вот что. Сначала нужно купить нечто вкусное, а потом и адрес возникнет.

Выйдя из гастронома с пакетом, внутри которого лежали бутылка шампанского «Абрау Дюрсо», коробка конфет и палка сервелата, я увидел, что стою возле пустыря, на котором еще недавно меж старых вётел темнел осевший посередке длинный деревянный дом, и в нем, в числе прочих жильцов, жил-проживал как раз мой лучший друг, ныне «итальянец», со своей матерью и сестрой.

Впрочем, сестра его тоже в нашем городе не задержалась, ныне обитает в Подмосковье, работая при муже в военном клубе организатором концертных вечеров. Лично знакома с певицей Валерией и даже прислала нам с женой фотокарточку, где они стоят, улыбаясь, взявшись за руки, на фоне строгой клумбы во дворе армейской части.

Баба Шура осталась одна. И когда из бараков переселяли, она в новую квартиру перебралась уже без детей, но ее не обидели — досталась Касатоновой Александре Прохоровне двухкомнатная квартира. Бывают такие случайные дары судьбы. Может быть, потому что человек хороший...

Я слышал, уже на новой квартире она заболела. К ней ходит ее сестра Мария Прохоровна, понурая, сухонькая старушка с горестной улыбкой на бескровных устах, да порой по ее поручению — сыночек Лева, болезненный мужчина, путающий дни недели и улицы родного города. Недавно, встретив ее на улице, я и узнал, что у бабы Шуры инсульт.

— Она стесняется, но ты все равно заглядывай, — сказала, привычно крестясь то ли на солнце, то ли на проходящего мимо милиционера, баба Маша.

Однако же навестить, забежать к старухе в гости мне было совестно. Тому виной была одна давняя, позорная история. Хотя сколько уже лет минуло? Может, простила?.. Но нет, нельзя.

И все же, чем дольше я стоял, уткнувшись мутным взглядом в пустырь, сверкающий под малиновым солнцем всякой стеклянной дрянью, тем болезненней понимал: пора. Пора навестить бабу Шуру и прощения попросить.

Еще не дай бог помрет, а мы и не увидимся. Ведь когда-то я в этом доме был свой человек.

Грузная, сутулая женщина, физически очень сильная, с угрюмым обычно лицом, которое расцветало неожиданно, как подсолнух, от улыбки, смеясь неровными зубами, баба Шура баловала нас, пацанов, пирогами и квасом на изюме.

— Ешьте тело мое, пейте кровь мою, как в Библии сказано, — хмыкала она, громоздко суетясь по дому.

Голос был у нее басовитый, гулкий, а когда она похохатывала, казалось, похохатывает мужик.

Так что же мучает меня, какое стыдное воспоминание?

Лет десять назад, когда она еще жила в старом доме, а сын ее, мой лучший друг, уже кантовался в Падуе (вернее, он пишет, что «квантуется» в Падуе — у бывшего физика свои слова), я заявился к ней ночью с одной юной красоткой. Мы с ней вместе летели с Севера, познакомились в самолете. Звали ее Юля.

Она была или кореянка, или, скорее, полукореянка, очень уж тонкой красоты девица — веки чуть растянуты, но глаза круглые и, как вишенки, яркие. Лицо узенькое, маленький рот в неизменной милой полуулыбке, голос смешливо-дитячий, пальцы рук словно у ребенка. Но в то же время было понятно — она вполне уже взрослый человечек. Она с гордостью доложила, что работает в торгующей организации «Север-Юг».

Черт знает, почему это бывает — мы встретились взглядами, еще только проходя в промороженный самолет, и как-то так вышло, что оказались рядом в креслах. Она сняла с гладко зачесанной головы белую песцовую шапку с хвостиком, расстегнула шубку — не боится холода. А я уставился на нее с нескрываемым восторгом. Вряд ли ей, наверняка избалованной мужским вниманием, это было в новость. Видимо, и я ей чем-то понравился. Может быть, отросшей за зиму бородой, да еще на шею у меня был наверчен романтический красный шарф.

И еще в сумке у меня нашлась бутылка коньяка «Белый аист» (всегда беру с собой в дорогу). Я попросил у стюардессы два стаканчика и повернулся к соседке:

— Не хотите?

— Даме неприлично говорить «хочу». Но если вы настаиваете, — она улыбнулась загадочной, почти интимной улыбкой нерусской женщины. Согласитесь, есть что-то удивительное в лицах восточных женщин.

Пока летели, мы выпили этот коньяк, а оказавшись в аэропорту, посидели еще и в ресторане. Мы были оба пьяноваты, к тому же я был словно пришиблен ее красотой. Она ослепила меня своим младенческим личиком, заворожила щебечущим голоском, забавным стонущим смехом. Я держал Юлю за руки, я не хотел ее отпускать. Но как и что я могу ей предложить?

— Хочешь меня украсть? — спросила она тихо. — Но помни — утром я должна быть в фирме. Как солдатик.

Господи, сегодня она согласна пробыть со мной до утра! Но куда, куда я могу пойти с ней, я, женатый человек? Холостых друзей у меня не осталось, а женатые все равно рано или поздно расскажут моей Татьяне...

И вот, ничего другого не придумав, в два часа ночи мы прикатили на такси в гости к бабе Шуре, во двор с толстыми ветлами, к старому, еще не снесенному тогда дому.

Я долго звонил в дверь и стучал в окно кухни, выходившее к крыльцу. От стыда не помню, какими глазами посмотрела на меня поднявшаяся со сна добрая старуха, она что-то бормотала, но не выгонять же гулён?.. Зная мою жену и любя ее, и, видимо, никак не допуская, что у меня с незнакомой девчушкой может быть какая-то постельная связь, баба Шура устроила Юлю в большой комнате на диване, а меня — на кухне, постелив на старый сундук полушубок и одеяльце. Затем, что-то ворча (обычно она ворчала: «Наверно, мне опять приснится Ленин...» или: «Наверно, мне опять приснится Горбачев...»), утащилась в свою комнатку.

Я лежал, напрягшись. Конечно, о сне не могло быть и речи. Я всем телом ощущал — в нескольких метрах лежит тоненькая нагая Юля с крепкими грудками (я ее успел обнять и отпустить на диван) и тоже не спит. В сумраке дома сунул голову в проем двери — лежит, мерцая глазками, но мне идти туда нельзя — бабе Шуре будет слышно любое наше движение...

И Юля сама это поняла, она медленно поднялась, обернутая простыней, как привидение, и перелетела ко мне на кухню, и мы прикрыли дверь в комнату.

Мы страстно еще раз обнялись. Но как тут и на чем можно лежать? Крышка огромного сундука выпуклая, мне баба Шура приставила стул в ноги, но едва шевельнешься, как стул отползает. Приставили к стулу еще один стул, но все равно опора уезжает. Да и мы сами вместе с полушубком сразу же потекли в сторону — как с ледовой горки дети на поджопниках. И смешно, и ужасно!

Я приподнял Юлю и столкнул с сундука полушубок, и мы легли на голую деревянную крышку (как-нибудь! Я снизу!), но медные ленты, которые были крест-накрест приколочены к ней, оголившись, впивались мне в кожу, царапали и резали до крови... А на пол уйти — некуда, рядом тесно стоит стол, и под стол не заберешься — ножки у стола крест-накрест...

Я уж и про стол подумал, но на нем — гора посуды, вилки, ложки, да и узок он...

Мы и стонали в тишине, и смеялись, пытаясь хоть как-то приспособиться для нашего соединения на горбатом сундуке, измучились, ободранные и озябшие...

И вдруг среди ночи вдали, через комнату, раздались странные звуки... это хрипы или что другое?.. Они продолжались... Господи, это был, конечно, заглушенный — подушкой или одеялом — басовитый хохот бабы Шуры... Она, видимо, не уснула, она слышала наше сопение, наши «ой!», «ай!..», ей были понятны наши муки, и вот, наконец, не удержалась.

— Кхы-кхы... ха-а-ха...

И замолчала.

Где-то на улице, в черных бараках, пропел петух.

И теперь уже шепотом смеялись мы. Но как же обидно было! Моя восточная змея ускользала из моих рук...

— Я пойду... — она быстро целовала меня, отодвигаясь. — Пойду... Гостиница рядом... Мне утром надо быть свеженькой.

— Завтра что-нибудь придумаем?..

— Конечно, конечно.

Одетая Юля и я, совершенно нагой, простились возле выходной двери, и я остался один на кухне.

Нет, ничего не вернуть, ничего не повторить — утром я должен ехать домой. И тоже бежать, помывшись с дороги и переодевшись, к себе на работу, в лабораторию...

С Юлей мы никогда больше не встретились.

Проклятый сундук!..

Когда через пару лет я рассказал моему другу, который сейчас в Италии, по телефону об этой истории, он звонко крикнул:

— А ты знаешь, что там, в сундуке, все эти годы лежит? Почему вам сладко не спалось, не пихалось?

— Что?

— А вся антисоветчина... Солженицын... «Посев»... Голоса невинно убиенных вас мучили... их кулаки колотили в крышку и сталкивали с сундука... Да-с! Именно!

Тебе легко шутить, «итальянец»!..

Когда мы с бабой Шурой оба утром проснулись и поднялись, она сделала вид, что ничего особенного ночью и не было. Сходила в подпол и с невозмутимым лицом подала мне наверх банку соленой капусты:

— Ты же сейчас домой? Передай своей Тане... У меня капуста хорошая. Я с лаврушкой ее и хреном потомила... и сахару немного добавила...

И уже когда уходил, похвалила меня:

— Все время помню, как хорошо ты держался, когда моего Ваську арестовывали...

Ах, лучше бы вот этого она мне не говорила! Зачем?! Это не совсем так...

По дороге домой, как назло, я оказался в одном автобусе с человеком, который когда-то с нами и не был толком знаком, а сейчас при любой встрече подчеркивал особую близость. Некогда худенький, трепетный, в светлых очках, читавший фальцетом на первых митингах разрешенную оду «Вольность» Пушкина, он предстал ныне передо мной темным, насупленным, как туча, необычайно раздавшийся, в непроницаемых очках, высился, уцепясь мощной жилистой рукой за перекладину.

— Ты?! Еще на свободе? — он всегда так острил. И привычно пояснил окружающим людям в автобусе: — Мы — последние могикане диссидентского движения...

Я зло скрипнул зубами. Впрочем, думаю, он зря старался — люди вряд ли слушали его, они, трясясь в автобусе, разговаривали друг с другом или дремали.

— Звони!.. — зычно бросил мне в спину старый знакомый, когда я выметывался из автобуса... даже на одну остановку раньше нужного, только бы не слышать этого господина...

Жена моя еще не уехала на работу, встретила меня радостно. Подпрыгнула, как птичка, поцеловала (хоть сквозь землю провалиться!):

— Хорошо, что добрался... я слышала, на Севере пурга... А это что такое? — Она увидела банку с капустой.

Черт побери! Надо было оставить ее на улице. Как объяснить?

Я пробормотал, проходя в ванную (к счастью, текла горячая вода), что, когда пересаживался с автобуса на автобус в центре города, встретил бабу Шуру. Вот она и заставила зайти к ней и взять эту капусту.

— Это на нее похоже!

— Вот, и привет тебе шлет...

А сам, стоя под душем, переживал заново минувшую сладкую и злую ночь, и вдруг, затмевая всю эту любовную глупость, передо мой развернулись картины недавнего прошлого. Когда моего друга арестовали за чтение и «пропаганду» «Архипелага ГУЛАГ» на засекреченном заводе. Единственное, что я мог сделать и сделал тогда, это каждый день приходил к бабе Шуре и успокаивал:

— Сейчас уже не сажают... про лагеря всем всё известно... Вот увидишь — отпустят.

При этом мне казалось, признаюсь, что дом матери «диссидента» все время прослушивается и фотографируется. Приходя сюда, я чувствовал, как каменеет мое лицо и дрожат коленки.

Может быть, в эти минуты я и рад был, что меня не тронули из-за этой великой страшной книги (в нашем НИИ тайком ее все прочли). Кому хочется попасть в лапы КГБ? Черт их знает, как они допрашивают... вколют укол — и разззвонишь чего и не знал... и укатают лет на десять вместе со всеми твоими знакомыми...

Но сегодня, через многие годы, в знойный день воскресенья, я раздраженно думаю: если бы даже и осудили меня? Что я потерял бы? Вернулся бы через три

года (помнится, через три года пришел Горбачев, началось послабление...) и ходил бы по городу с многозначительной усмешкой. Как вот этот, ныне толстяк в черных очках. Дескать, вы — увы, а мы — умы!

Толстяк баллотируется на всех выборах — правда, безуспешно — и в депутаты, и на мэра, и даже на губернатора... «Мы вам свободу завоевали!» На него косятся, но не смеются. Наверное, думают: «А черт его знает! Может, и в самом деле?!» А ведь тогда он сторонился нас, как пожара на бензозаправке...

Моему другу грозил «червонец», 70-я статья, однако дело вдруг замяли (прошел слух — собирается приехать в гости, на свою сибирскую родину, член Политбюро ЦК КПСС. И шум здесь ни к чему). Читателя антисоветских книг из СИЗО-1 выпустили, да вот беда — лишили допуска к конструкторской работе. Он растерянно обошел несколько вузов города, где есть физические лаборатории, но начальство с ним боялось разговаривать, он просился даже на комбайновый завод — не взяли. Наконец со смехом устроился на фабрику мягкой игрушки, где и познакомился с гениальной, по-моему, художницей, смешной, нелепой толстухой Варей.

Они вместе создали несколько изумительных кукол-Варек: варежка с синими глазами, которые моргают и на морозе... варежка с голосом (поет на морозе). И еще они придумали хохочущие книги: откроешь — хохочет. Мой друг в электронике и радиофизике разбирался гениально, а необходимые детали собирал в овраге, в отвалах родного п/я...

К сожалению, Варя неожиданно умерла, и мой друг покинул наш город...

Ах, если бы я в ту предгорбачевскую пору пошел в «контору» и заявил, что книги — мои, что мой друг их даже не успел прочитать... я их только недавно занес к нему... как раз перед обыском... баба Шура подтвердит... может быть, один из лучших конструкторов небесной техники остался бы жить в России?..

Но я этого не сделал. Трус? Или понимал, что мои слова не помогут? Ведь на него настучали серьезные мужики, специалисты с завода. Дескать, он в столовой пересказывает изо дня в день эпизоды из книги...

А что касается господ из КГБ, они не хуже, а лучше других знали, что страна прогнила насквозь... у них, кстати, этой литературой, самой лучшей, полки были забиты... и весь Высоцкий имелся на катушках, и Галич...

Все всё знали, но есть правила игры.

Обидно признаваться, но после той эпохи у меня осталось горестное ощущение, что я — человек лестничного остроумия, человек, который умен и смел задним числом, но по сути трус и фантазер.

Да что теперь?! Есть старый анекдот. Идет мужик, видит: из болота голова торчит, глазами моргает. Мужик спрашивает: ты чё тут делаешь? А голова отвечает: чё, чё? Живу я тут.

И вот минули годы...

И вот я спешно, будто кто меня тащит за грудки, за пуговку, тороплюсь по раскаленному городу к лезвию Енисея, к вечернему холодку, мимо церкви и строящихся магазинов, к пятиэтажному кирпичному дому, где на пятом этаже, как сказала мне баба Маша, живет баба Шура, мать «итальянца». В руках у меня пакет с конфетами, колбасой и бутылкой шампанского.

А может быть, все-таки не ходить бы мне к ней?! За многое стыдно... Но уже нет пути назад — со мной здоровается маленькая старушенция, я узнаю в ней Марию Прохоровну, это она, шаркая тапками, спускается сверху по бетонным лестницам.

— Иди... Шура не спит... дверь не заперта...

— Как не заперта?

— А как можно запереть? Если что... — и высохшая бабуля в платке и ситцевом платье пристально смотрит снизу вверх мне в глаза. — Иди, повесели.

Наверное, через открытую дверь баба Шура услышала наш разговор, меня встретил зыбкий, какой-то чужой голос:

— А чего у меня воровать? Телевизор был — унесли. Шубка была — я сама отдала, слышу — кто-то возится, говорю — я уж не доживу до зимы, берите. Взяли и убежали... Шучу. Я доживу.

Господи, ушам своим не верю — неужели это она?! Прежде голос у нее был басовитый, зычный... и сама она была другая — сильная, большая... А сейчас лежит, часто дыша, мокрая, в ночной рубашке на кровати... рядом какой-то резиновый шар... что это?!. и смотрю, и не могу смотреть...

Смеется:

— Не бойся... а если боишься, стой подальше. Машка меня обмыла... даже одеколоном побрызгала... — Седые пряди собраны в пучок на макушке, в руке смятый платочек. — Или не узнал?

И вот тут она заплакала. Она не закрывала ладонью лица, слезы текли по ее морщинистым щекам, сбегали на шею, на черную нитку с оловянным крестиком...

— Рада, что навестил. Ты же родной мне человек. Сыночка моего друг. Только не говори ему, если будет звонить, что больна. Он впечатлительный, хватит с него одного инфаркта... пусть там живет... там хорошую музыку везде играют... он звал меня, да куда мне, корове, на их паркеты... мне и тут хорошо...

Я вдруг подумал, что она, привыкшая быть сильной, самостоятельной, надорвалась, таская при переезде мебель... Помню, еще в том доме, в кофте, дряненькой юбке, в ботах, простоволосая, бегает по двору от машины к дверям — ворочает мешки с каменным углем. А мы, молодые дураки, смотрим и восхищаемся — вот богатырь мамаша...

Я поискал глазами — она сюда перевезла весь свой нехитрый скарб: фанерный шкаф с розовыми пластмассовыми ручками, тяжелый комод из лакированного дерева цвета сургуча и, конечно, икону... Вон она, в углу, эта черная вогнутая доска, в которой угадываются три нимба и страшные провалы вместо глаз... так я и не разглядел толком — божественная Троица там либо трое неких святых...

А вот сундука не видно. Оставила, выкинула? Может быть, в дальней комнате стоит? А скорее всего, на привычном месте — на кухне.

Я поймал на себе взгляд бабы Шуры... и почему-то — я почувствовал это — покраснел.

— Вот, теть Шур... — засуетился я, доставая шампанское, конфеты и колбасу. — Танька моя в санатории, далеко... шел... думаю, дай зайду... может, вместе выпьем?

Она не смеялась и не плакала — продолжала внимательно смотреть на меня.

Потом хрипло сказала, почти прошептала:

— Стакан возьми на полке... я уж не буду... а ты выпей.

Я откупорил бутылку, облил брюки себе и пол теплой пенной жидкостью.

— Извините... я сейчас вытру...

— Не надо, — баба Шура наконец улыбнулась. — Пусть пахнет.

— Но конфету-то будете?

— Потом. Ты пей.

Я выпил и вмиг опьянел. Хотел спросить, а где же сундук, не спросил, но еще больше смутился и еще больше опьянел. Я словно перенесся в те далекие годы.

— Тетя Шура... — сказал я. — Простите меня... однажды с одной девчонкой среди ночи поднял вас... мы случайно тогда познакомились в самолете... ей было негде переночевать...

— О чем ты говоришь? — тоненьким, словно придавленным голосом удивилась она. — Я и не помню. Да не было этого, чтобы ты ночью... с чужой девчонкой...

— Да было. Ты еще меня на сундук положила...

— Ты, наверное, путаешь. — Она развернула пальцами смятый платочек и утерла наконец слезы с лица. — Да разве ты мог свою Танечку... на какую-то лахудру...

Да не на какую-то, мог я сказать, она красавица была... девушка странной, восточной красоты... Но не стал ничего объяснять. Впрочем, инсульт — болезнь разрушительная, баба Шура и вправду могла забыть.

— Я пойду? — сказал я, вставая.

— Если тебе не противно рядом со мной... ты уж вино-то допей... Мне приятное сделаешь.

Я пил, давясь пузырьками, шампанское возле больной старухи, а она лежа смотрела на меня и тихо плакала. Я никогда не забуду эту бутылку шампанского, этот граненый липкий стакан.

Зачем я пил? За что я тогда пил? Наверное, пил за здоровье этой замечательной женщины… за здоровье ее детей, моих старых друзей… за хрупкую красоту этого мира… пропивал свою глупую юность…

Как в ужасных фильмах, четко отмерял время дешевый будильник — он стоял рядом с кроватью, на полу. Зачем бабе Шуре будильник? Наверное, чтобы вовремя лекарства пить? Но никаких лекарств я рядом не вижу... только этот резиновый шар... и какие-то трубки...

Или это вечная привычка всю жизнь работавшей женщины?

Глядя на плачущую бабу Шуру, мне самому захотелось в эту минуту навзрыд расплакаться. Но в лице ее вновь мелькнуло что-то от прежней бабы Шуры... тень ее веселой улыбки, великой проницательности...

— Шалопай ты шалопай... А эта... хоть красивая была?

— Очень, — ответил я, глядя в пол.

— Конечно, жаль, — пробурчала баба Шура и добавила ну почти прежним своим, смешливым голосом: — Чего не бывает. Ладно, беги! Спасибо, что навестил.

Уже отрезвевший, я отошел к дверям.

— Если сынок позвонит, скажи... у меня все хорошо...

— Конечно.

И я вышел в красный мир закатного солнца. Стояла лютая жара. Говорят, планету ждет апокалипсис. Но, может быть, телевидение преувеличивает.

г. Красноярск
<2007>

Владимир Шаров

«Когда Шера в форме»

Истории моего отца

Александр (Шера) Израилевич Шаров (Нюренберг) родился 25 апреля 1909 года в Киеве. Мне кажется, до последних своих дней отец был ребенком. Я не говорю ни о каком упрощении, ни о каком детском эгоизме или беспечности. Он прожил очень нелегкую жизнь, вообще человеческую жизнь считал страшной, до краев полной горя и слез. И в то же время он, как ребенок, все — и хорошее, и плохое — видел необыкновенно ярко и впервые: хорошему сразу верил и готов был идти за ним куда угодно. Наверное, эта вечная, никогда не преходящая детскость — то, без чего настоящие сказки писать невозможно. Я помню его очень печальным, смотрящим на все совершенно трагически, таким он был большую часть времени в последние пятнадцать лет своей жизни; помню и редкостно добрым, мудрым, все понимающим и все прощающим — так дети обычно относятся к своим родителям, но здесь он теми же глазами смотрел на все, что его окружало.

Он мог быть удивительно радостным, буквально фонтанирующим идеями, остротами, артистически сплетая правду и вымысел: чаще это случалось, когда собирались друзья, во время застолий. Для этого было даже свое особое «имя». Еще совсем маленьким я впервые услышал и запомнил, как один из гостей говорил другому: «Сегодня Шера в форме». Несколько историй из цикла «Когда Шера в форме» мне и хотелось здесь рассказать.

* * *

Отец начинал как генетик, учился у Николая Кольцова, но потом стал журналистом, и уже корреспондентом «Правды» в тридцать седьмом году участвовал в первом зимнем трансарктическом перелете Москва — Уэлен (крайняя западная точка Чукотки и вообще Евразии) — Москва. Туда летели через Красноярск и Колыму, обратно — вдоль всего побережья Ледовитого океана до Архангельска, а затем в Москву. В экспедиции, как это и бывает обычно, практиковалось естественное распределение обязанностей. Отец писал не только за себя, но и за всех остальных, так как каждый из членов экипажа тоже числился корреспондентом какой-то большой газеты.

После остановки на Чукотке они, если все будет в порядке, должны были лететь дальше, на Всемирную выставку в Америку, в город Портленд. Командир

Об авторе | Владимир Шаров — наш постоянный автор с 1995 года (роман «Мне ли не пожалеть», № 12); последняя по времени публикация — эссе «Памяти Пролетарской Силы (Андрей Платонов)» в № 8 за этот год.

их экипажа Фабио Брунович Фарих был настолько знаменит в Америке, что еще долго после этой, так и не добравшейся до САСШ экспедиции там выпускались сигареты, которые так и назывались: «Фарих». Они прошли весь маршрут, когда недалеко от Уэлена в воздухе у них поломался один из моторов. Сели они чудом. Но настоящим чудом отец считал не посадку, а поломку самолета, так как, долети они до Портленда, их по возвращении расстреляли бы как американских шпионов.

В Архангельске — конечной точке своего арктического перелета — они были встречены как герои, все получили ордена, день за днем шли банкеты и чествования. Банкеты им скоро осточертели, идти надо было в надетых на голое тело кухлянках: в жарко натопленной зале сидеть в таком костюме — мука. Когда командир самолета, идя на очередной прием, не позвал отца, тот был только рад. Но когда его не взяли и на второй, и на третий, он удивился, обиделся и потребовал объяснений. Командир молча указал на толстую пачку вскрытых писем, лежавшую у него на тумбочке, повернулся и вышел.

В пачке было около восьмидесяти адресованных отцу посланий: тридцать от брошенных детей, сорок от жен и девять от матерей (его газетный псевдоним — Шаров — был весьма распространенной фамилией). Каждый из корреспондентов носил ту же фамилию, что и он, каждый верил, что он их отец, муж или сын, молил забыть все плохое и вернуться обратно. Письмо одной из жен было так прекрасно, что отец до конца своих дней жалел, что к ней не поехал. Когда команда возвратилась с банкета, отец сказал им: «Хорошо, вы могли поверить, что я бросил тридцать детей, сорок жен, но как я мог бросить девять матерей?» Командир, еще не протрезвевший после банкета, долго раскачивался с носка на пятку и обратно, потом наконец нашел точку равновесия и, указывая на отца пальцем, медленно произнес: «Достаточно и одной…».

* * *

В детстве я часто и без особой причины на всех и вся обижался, и отец, не шибко этим довольный, как-то сказал, что и он прежде был довольно обидчив. В том арктическом перелете, о котором уже шла речь, он был самый молодой и, главное, с точки зрения командира экипажа Фариха, журналист еще не достаточно титулованный, чтобы описывать их полярные подвиги. Каким-то образом — дело было уже на Ямале, где самолет сел на дозаправку на местный аэродром: слегка расчищенный от снега лед огромного, без берегов, тундрового озера — Фарих дал это понять отцу, и отец — обиделся. Он обиделся и пошел куда глаза глядят.

В это время, как обычно на Северах, совершенно неожиданно началась пурга. На плоском, словно стол, Ямале во время таких снежных бурь ветер дует с огромной силой и любую неровность — будь то человек или какая-нибудь кочка — тут же доверху заносит снегом. Не видно ни зги, и разобрать, куда ты идешь, невозможно. В общем, когда у отца кончились силы, он сел прямо на снежный холмик, который немедленно намело вокруг его ног, и решил, что, с одной стороны, жить все равно не стоит, а с другой, что его смерть будет для Фариха и для остальных хорошим уроком. Как он говорил, оба этих соображения на пару его вполне утешили.

Так, постепенно окоченевая, он сидел довольно долго и объяснял мне уже без своей привычной иронии, что, по всем данным, должен был там и остаться, потому что во время подобной метели найти затерявшегося Бог знает где человека шансов нет. Те, кто летел с ним, больше часа искали его всем экипажем, кричали-кричали, надеясь, что он отзовется, но все было без толку. Наконец,

посчитав, что он замерз насмерть, они уже собирались бросить это безнадежное дело, когда штурман самолета просто по случайности споткнулся о сидящего на снегу отца.

* * *

На фронт отец пошел в июне сорок первого добровольцем. После Арктики он был орденоносцем, единственным в полку, и ему было легче. Старшина, обучавший их, говаривал, что отец всем хорош как солдат, но у него есть два недостатка: высокий рост, поэтому он будет правофланговым и его первым убьют, и высшее образование — из-за него он много думает и в строю затягивает шаг. Тот же старшина, воевавший еще в Первую мировую войну, говорил, что интеллигенты быстро вшивеют, не вкладывая в это, впрочем, никакого иного смысла.

* * *

Отец не любил, когда я лишний раз жаловался на жизнь, и как-то с осуждением, но не без иронии рассказал мне следующую историю.

Сорок четвертый год. Их танковый корпус стоит недалеко от Бердичева, который незадолго перед тем освобожден. Отец родился в Киеве, но Бердичев — город его детства, здесь до восьми лет он жил в доме бабушки и отсюда же, из Бердичева, почти вся его родня. По каким-то то ли штабным, то ли редакционным делам он едет в город. После нескольких лет войны Бердичев сильно разрушен, от дома бабушки не уцелело даже остова, и отец, пробродив по городу несколько часов и ничего не узнавая, решает заночевать в гостинице «Европейская» — прямо у его ног валяется покореженная обгоревшая вывеска. Гостиница тоже не в лучшем виде: от нее остались лишь стены, где полутора, где двухметровой высоты, да несколько железных кроватей с панцирными сетками, раскиданных на этом пепелище в художественном беспорядке.

Стоит конец июня, теплынь, все небо в звездах, и отец на одной из этих кроватей прекрасно высыпается. Утром он, потягиваясь и протирая глаза, видит, что прямо над его лежбищем, на обломке стены гвоздем аккуратно выцарапаны две строчки: «Нет счастья Харитону на земле, и это знает Харитон вполне», — а под ними всем понятная дата: 21 июня 1941 года.

* * *

Отец много пил. Впрочем, он был прав, когда говорил, что оправдал свою жизнь и за все расплатился еще на войне, в сорок третьем году. Дело было на Втором Украинском фронте, когда он, прежде пехотинец, был возвращен к своей довоенной профессии и стал фронтовым фотокорреспондентом. По заданию армейской газеты он поехал на передовую, в роту, которая накануне первой форсировала Псел. Шел бой. В лесу солдаты, и сами бывшие в полукольце, только что взяли пять пленных — троих чехов и двух венгров. От роты, вчера и сегодня понесшей большие потери, осталось всего двенадцать бойцов, и каждый человек был на счету. Не было людей ни охранять пленных, ни отправить их в тыл, патроны тоже кончались, и комроты, прикинув все, приказал их повесить. Отец сказал, что не даст. Комбат был капитан, отец — майор, но человек на позиции случайный: кто из них главнее, они и сами не знали, и потому схватились за пистолеты. Чехи и венгры сидели рядом, в двух метрах, все слышали и все понимали. В конце концов комроты тоже пожалел пленных и сказал отцу, чтобы он

сам, если хочет, вез их в тыл, но если хоть один сбежит, он не успокоится, пока отца не расстреляют. Отец с трудом втиснул пленных в редакционный «козлик» и так, без охраны, повез. Бежать никто из них не пытался, и вечером он, приехав в расположение штаба полка, благополучно сдал всех смершевцу, ведавшему пленными. Все они дожили до конца войны.

* * *

Местом другой истории, из тех, что я хорошо запомнил, была Западная Польша. Их машина где-то потерялась и опередила наши наступающие части, и они первыми вошли в небольшой городок, только что оставленный немцами. Одни кварталы были полностью разрушены бомбардировками, в других домах сохранились даже стекла. Город был пуст, нигде не было ни людей, ни собак, ни кошек. Ветер чисто вымел уцелевшие улицы, и они были похожи на только что сделанные декорации. Больше часа они ездили по городу, пытаясь найти хоть кого-нибудь и узнать дорогу на Бреслау, где стоял штаб дивизии, потом вышли из машины и пошли пешком. Кто-то из них услышал вдалеке музыку, и она вывела их к красивому угловому дому с эркерами и резными балкончиками. В доме был бордель, его обитатели, кажется, единственные выжили здесь при немцах. Весь последний месяц шли бои, все это время ни у кого из наших не было женщин, и публичный дом был нежданным подарком. Очевидно, их заметили, и, когда они подошли, у входа уже стояла хозяйка заведения, она ввела отца и двух его однополчан вовнутрь, по лестнице они поднялись на второй этаж, здесь, в большой гостиной, в креслах их ждали девушки. Когда они вошли, девушки встали, сделали реверанс, а дальше им, как освободителям Польши, был дан редкий по светскости и целомудрию прием, их угощали тонким, почти прозрачным печеньем, мадам не отходила от рояля, и они до рассвета танцевали то вальс, то мазурку, то польку. Утром хозяйка объяснила им, как ехать в Бреслау, у подъезда они простились с ней и с девушками, церемонно поцеловали им руки, сели в машину и поехали дальше.

* * *

Сорок четвертым годом датируются две другие отцовские истории, которые он рассказывал сравнительно легко и весело, как бы помня, ни на минуту не забывая, что наши войска и его танковый корпус под командованием дважды Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Бойко беспрерывно наступают и ясно, что конец войны не за горами. Отец много раз в жизни должен был погибнуть и свое везение объяснял разными причинами. Историю, которая пойдет ниже, он считал свидетельством того, что в миру, как он говорил, и пьяные нужны. Связана она с весьма известным у нас композитором Фрадкиным.

Отец его очень любил, и любовь эта была вполне бескорыстная, потому что у отца не было ни голоса, ни слуха, и на моей памяти больше одного куплета он пропеть никогда и не пытался. Фрадкин с какой-то музыкальной бригадой выступал недалеко от их полевой редакции, расположившейся на опушке леса, и отец на газике привез его к себе. Три года они друг друга не видели, на радостях сильно выпили и пошли гулять, распевая песни — Фрадкина или нет, об этом история умалчивает.

Гуляли они всю ночь, а под утро заснули. Разбудило их солнце и пули. Спать они устроились в мелкой лощине, и оттого пули пролетали хоть и над ними, но довольно высоко, и беды в них особой не было. Испугало их другое. Отец и Фрад-

кин с ужасом обнаружили, что лежат, свернувшись калачиком и аккуратно положив голову на противотанковые мины. Но и эти мины были еще не главной неприятностью — человек для них чересчур легковесен и на него они, как правило, не реагируют. Куда хуже было то, что все поле оказалось усеяно совсем другими минами — простыми, противопехотными. И вот они всю ночь бродили по этому полю, горланя песни, ни разу ни на одну из них не наступив. Теперь же лежали, прижавшись к земле, и боялись не то что голову поднять — даже пошевелиться. Впрочем, постепенно они разобрались, что находятся на нейтральной полосе, как раз между нашими и немецкими позициями, причем не зная, кто они, их обстреливали и с той, и с другой стороны.

К вечеру, когда стало смеркаться и обстрел прекратился, они все же сумели докричаться до своих, но как их достать, вызволить с этого минного поля, было все равно непонятно. Потом еще двое суток добровольцы саперы разминировали проход к ним, и только на третью ночь их наконец вызволили.

* * *

Все в том же сорок четвертом году дело происходит в Западной Польше, где линии фронта тогда как бы уже и не было. Наши танковые корпуса наступали так стремительно, что пехота за ними не поспевала, а немцы не успевали отступать. В итоге шла бесконечная чересполосица наших и немецких позиций. И вот однажды посреди этой чехарды попавшаяся отцу на дороге группа заключенных вызвалась показать советскому офицеру вход в огромный подземный завод, на котором делали фауст-патроны. Завод буквально сутки назад еще работал, и почему-то его то ли не успели, то ли не смогли взорвать. Все было цело до последней гайки: станки, части ракет, цехи, сборочные конвейеры и уже целые ракеты.

Отец сделал несколько снимков, написал довольно большой материал и, отвезя его в газету, был отправлен на новое задание. Еще несколько дней его не было, а затем, когда он вернулся в расположение корпуса, ему было велено срочно ехать в штаб фронта, который размещался километрах в пятидесяти от них в каком-то средних размеров польском городе, названия его я, к сожалению, не запомнил. Не зная за собой серьезных провинностей, никаких бед от этой поездки отец для себя не ждал, но, как оказалось, напрасно.

Командовал фронтом более чем известный маршал Жуков, а начальником отцовской газеты был другой Жуков, чином поменьше, простой подполковник. В штабе фронта отца перехватил адъютант маршала и немедля повел к самому Георгию Константиновичу. Штаб размещался в красивом, конца XIX века здании гимназии, командующий фронтом — в директорском кабинете, за толстыми, с двух сторон обитыми кожей и войлоком дверями. И вот из-за этих дверей, через которые не должны были проникать даже крики играющих на перемене детей, отец услышал трехэтажный мат «старшего» Жукова, обращенный к Жукову-младшему, где единственными печатными словами были: «Убью!.. Расстреляю мерзавца!..». Адъютант доложил маршалу, что Шаров доставлен, после чего его ввели в кабинет. Там он услышал все то, что доносилось до него из-за закрытой двери, и еще много другого, и рассказывал, что испугался поначалу не очень сильно лишь потому, что не понимал, все не мог взять в толк, в чем же он, собственно говоря, виноват. Однако постепенно суть стала проясняться.

Оказывается, у Сталина с американцами, которые читали и нашу фронтовую прессу, вплоть до корпусных газет, было соглашение — делить ракетные заводы, подобные тому, который обнаружил отец, и все, что на них было: чер-

тежи, документацию, станки и сами ракеты, строго пополам. А делать это мы никак не желали. И вот Жуков орал, что отец — шпион, предатель, который раскрыл важнейшую государственную тайну, и за это он, Жуков, его сейчас расстреляет. И здесь отец говорил, что, конечно, на войне от жизни до смерти никакого расстояния нет и быть не может, и все равно, происшедшее показалось ему настолько несправедливым и нелепым, что ни с того, ни с сего он ляпнул совершенно глупую в тех обстоятельствах фразу: «Без суда не имеете права…».

Жуков от удивления, что кого-то он не может расстрелять тогда, когда этого хочет или считает нужным, что при нем поминают какой-то суд, хмыкнул и осекся. После чего вполне миролюбиво заключил: «Ну, ладно, майор, если эта газета к союзникам не попадет, будем считать, что тебе крупно повезло, а если попадет — не обессудь…». На этом аудиенция была окончена. Еще два месяца отец молился, чтобы газета с его материалом не добралась до американцев, и добавлял, кивнув в мою сторону, что, по всем данным, его молитва была услышана.

* * *

Тридцать восьмой год… Еще продолжается страшная волна арестов. Отец после возвращения из Арктики спецкор «Известий» по науке. Он едет к Абраму Берлину, знаменитому чумологу, который создает новые действенные вакцины против чумы, и, как повелось среди врачей еще с прошлого, XIX века, испытывает их на себе. Некоторые из этих испытаний наверняка в нарушение всех строжайших инструкций он проводит в собственной квартире. В эту его квартиру отец и приезжает, собираясь писать статью для газеты. Берлин и его помощница (по воспоминаниям отца, красивая молодая женщина — для дальнейшего рассказа эта деталь не лишняя) демонстрируют ему пробирки с блохами, носителями бактерий чумы. Одну из пробирок помощница даже открывает: пробирка глубокая, и ни одного шанса выбраться из нее у блох нет. Тем не менее когда она, уже снова закупорив пробирку, пересчитывает блох, выясняется, что их не двенадцать, как должно быть, а одиннадцать. Берлин и она раз за разом перепроверяют счет, но среди скачущих тварей все равно недостача.

Все трое — Берлин, помощница, отец — раздеваются догола и сначала долго ищут блоху друг на друге, потом сантиметр за сантиметром тщательно ощупывают каждый шов одежды (блохи обычно прячутся именно там), пытаясь найти беглянку. Все «на взводе», потому что хорошо понимают, что эпидемия чумы во многомиллионном городе — это сотни тысяч, а то и больше погибших. Но беглую блоху найти не удается. Тогда отец звонит ответственному секретарю газеты, рассказывает, что произошло, и в подробностях объясняет возможные последствия. От того же ответственного секретаря он получает приказ закрыть — по возможности наглухо — все окна и двери и никому никуда не выходить. Через полчаса у дверей квартиры Берлина дежурят два чекиста-охранника и начинается их недельное заточение — срок инкубационного периода, за который станет ясно, не заболели ли они сами чумой и не может ли от них болезнь пойти дальше. Еду в течение этого времени со всеми мыслимыми предосторожностями им просовывают в щель почтового ящика.

В этой истории замечательно следующее: режим, который правил в стране, жил с начала и до конца выдуманными делами, процессами, обвинениями. Когда же случалось что-то реальное, власть прятала концы в воду с таким усердием, будто сама была организатором, виновником всего этого. История, которая могла закончиться огромной трагедией и для Москвы, и для страны, о которой знал не только ответственный секретарь «Известий», но и Лубянка,

приславшая к квартире Берлина часовых, не попала ни в одну самую подробную сводку происшествий, что каждый день в обязательном порядке поступали на стол Сталина.

Конец рассказа вполне светлый. Берлин создал свою вакцину, она оказалась очень хорошей и в последующие годы спасла жизнь многих миллионов людей. А что сталось с блохой, как и куда она пропала, так и осталось загадкой.

* * *

Тоже тридцать восьмой год. Осень. Отец отправлен спецкором «Известий» в Ростов-на-Дону. В то время спецкоры главных партийных газет — «Правды» и «Известий» — были немалой номенклатурой, не только «рупором», но и своего рода «оком» Кремля по всей стране. Во всяком случае, известно, что Сталин и члены Политбюро читали эти газеты от корки до корки. И вот отца везут в дом ростовского обкома — большое недавно возведенное шестиэтажное здание — выбирать жилье. На каждом этаже всего по две квартиры. С порученцем из обкома они поднимаются пешком — лифта нет — на верхний, шестой этаж. Обе квартиры опечатаны НКВД. Порученец, сам чекист, не обращая внимания на пломбы своего ведомства, распахивает первую квартиру. Отец, стоя на лестничной площадке, говорит: «Нет». То же самое происходит со следующей квартирой и дальше на пятом этаже, четвертом, третьем, втором и первом.

Отец позже, до конца своей трехлетней командировки в Ростов (то есть до начала войны), так и будет жить в гостинице. Но дело тут не в нем, не в том, что он не занял квартиру ни одного из недавно арестованных людей, а в том, что арестованы были все — все жильцы этого дома. Все главы семей пошли под нож, а их жены в большинстве своем наверняка попали в лагеря как ЧСИР (члены семьи изменника родины), дети же — или в тюремные детдома, или в самом лучшем случае были разобраны родственниками.

* * *

Две среднеазиатские истории.

Тридцать шестой год. Отец, как уже говорилось выше, спецкор «Правды». По заданию редакции он едет в Среднюю Азию. Об этой поездке он потом не раз вспоминал. Недавно построенный Турксиб (Туркестано-Сибирская железная дорога). Тогда для строительства дороги власть по всей Средней Азии, в частности, в Казахстане реквизировала подчистую местную породу одногорбых верблюдов, чтобы возить на них железнодорожные шпалы и все потребное для строительства. Скоро, однако, выяснилось, что верблюд — животное аристократическое, и коммунистам договориться с ним будет трудно. Верблюд может работать две-три недели почти без пищи и воды, только на запасах жира, который есть у него в горбу, но потом ему нужен отдых — те же две-три недели, чтобы восстановиться.

В общем, сколько может, он безропотно работает, а дальше не станет, как его ни уговаривай, как ни заставляй и ни бей. И вот этот миллион или полтора миллиона голов верблюдов, которые поначалу исправно помогали стране строить столь необходимую железную дорогу, когда вышел срок, забастовали и легли на землю. И дальше, сколько их ни истязали, ни один не встал — все так и погибли. И вот отец рассказывал, что на тысячу километров вдоль всего железнодорожного полотна, как бордюр, в несколько рядов торчали из земли уже выбеленные дождем и ветром огромные верблюжьи кости.

* * *

Там же, в Средней Азии, отец должен был с местным журналистом ехать в столицу Каракалпакии город Нукус. Попутной машины не было, другого транспорта, во всяком случае, в ближайшие дни, тоже не предвиделось, и кто-то им сказал, что вот-вот по Аму-Дарье в Нукус отплывает баржа, и если все будет в порядке, за двенадцать часов они должны доплыть. Отец и его напарник бросились на пристань, там в самом деле нашли баржу и капитана, который легко согласился их с собой взять и тоже подтвердил, что плыть, если все будет в порядке, часов двенадцать. Впрочем, вскользь он заметил, что бывает по-разному и попутно удивился, что у них с собой нет никакой еды.

Идти за едой так и так было поздно, баржа уже отдавала швартовы, и отец с напарником решили, что двенадцать часов они как-нибудь попостятся. У Аму-Дарьи не только в горах, но и там, где она пересекает Заунгузские Каракумы, течение бурное с кучей водоворотов, а главное, течет река среди мягкой, так называемой лёссовой почвы, которую с легкостью размывает. И чуть ли не каждый год она прокладывает себе новое русло с другими мелями и водоворотами. В общем, капитанам на ней приходится нелегко.

Баржа была большая и в одной из излучин она намертво села на песок. Первые трое суток капитан отца и его напарника как-то подкармливал, затем у него самого кончилась еда и оба журналиста стали по-настоящему голодать. На мели они сидели больше недели, наконец их стащили с песка и вывели на большую воду. Когда через два часа они благополучно причалили к Нукусской пристани, была уже ночь и в городе были закрыты все магазины и чайханы. Пошатываясь от слабости, отец и его напарник шли по узким без единого огонька улочкам между глухими глинобитными дуванами и вдруг учуяли сильный запах вяленой рыбы. Не сговариваясь, они пошли на него, как на маяк.

Метрах в пятистах от пристани они обнаружили три бурта в несколько метров высотой с наваленной прямо на землю рыбой. И вот отец рассказывал, что неизвестно почему, они не стали брать рыбу, которая лежала рядом, у их ног, а с трудом залезли на самый верх осыпающейся кучи и там, ничего не соображая от голода, принялись есть. Не слишком свежая сушеная рыба не та пища, с которой следует начинать после недельной голодовки. Наевшись, они отправились в обком, который, как и любой другой советский обком того времени, приноравливаясь к расписанию Сталина, работал всю ночь, до первых петухов. Отец, удивляясь сам себе, говорил, что почему-то сразу пойти в обком и попросить, чтобы их накормили, они с напарником постеснялись. В то время, пока он объяснял местному партийному боссу, куда, когда и зачем хочет поехать, что посмотреть и с кем поговорить, ноги его сами собой подкосились.

Очнулся отец уже на больничной койке, где врачи потом еще две недели с немалым трудом и немалым тщанием промывали их обоих и прочищали, удивляясь, что он и его напарник из этой истории, кажется, благополучно выпутаются.

* * *

Там же, в Нукусе — где потом, спустя шестьдесят лет, я оказался в археологической партии, почти в тех же местах, на тех же берегах, и видел почти ту же жизнь — какой-то врач долго уговаривал отца поехать на остров, лежащий в трех километрах ниже по течению, и посмотреть, как живут замечательные люди в замечательном совхозе, как они обрабатывают землю и сеют, растят и собирают урожай. В то же время как-то так выходило, что у этих людей есть серьезные

проблемы, и только один отец, корреспондент центральной газеты, способен помочь в их невзгодах. В конце концов отец дал себя уговорить, и они то ли на моторной лодке, то ли на простой весельной поехали.

Едва врач и отец сошли на берег, их окружила толпа прокаженных: люди кто без руки, кто без ноги, с оплывшими, изуродованными болезнью лицами, их жены с детьми, в большинстве совершенно здоровые. Оказалось, что на острове находится лепрозорий, и у больных, большая часть которых жили семьями в своих собственных глинобитных домишках и кормились с собственных же огородов, бездна конфликтов с администрацией лепрозория. В основном по поводу земли под этими самыми огородами и пастбищами. И вот, отец рассказывал, что он стоит в ужасе и не знает, что делать, а к нему тянутся десятки рук со всеми этими жалобами и просьбами, обращенными в Москву, с криками и надеждами, что там, в Москве, разберутся и помогут.

Но, в общем, делать ему было нечего: он стал брать эти жалобы, пожимать руки, которые ему протягивались для пожатия, обниматься с теми, кто хотел с ним обняться, одновременно помня (по образованию он был генетик), что никаких лекарств против лепры нету, а инкубационный период, который у чумы неделя или две, у проказы — то ли полтора, то ли два с половиной года. И все это время он, если не заболеет, будет отчаянно бояться заболеть. Впрочем, отец добавлял, что месяца через два или меньше он, вернувшись в Москву, об этом и думать забыл. А с жалобами тогда все уладилось, и, по словам написавшего ему врача, прокаженные считают его своим благодетелем.

Людмила Улицкая
Михаил Ходорковский

Диалоги

Когда в нашей стране поменяли президента, западные журналисты вместо прежнего дежурного вопроса «Нравится ли вам Путин?» стали спрашивать «Что собой представляет Медведев?». Я честно отвечала — не знаю. Впрочем, никто в стране не знал. Человек возник из воздуха. Известно, что юрист.

Скоро узнаем, — отвечала я. — Если Ходорковского отпустят, значит, это самостоятельная политическая фигура. Если нет — лицо фиктивное.

Ходорковского не отпустили. Более того, затеяли еще одно дело, на этот раз уже совершенно высосанное из пальца. А Ходорковский в этих обстоятельствах ведет себя замечательно — с чувством собственного достоинства, бесстрашно и даже, пожалуй, дерзко.

У меня своя личная история: я вообще-то не люблю богатых. У меня обостренное чувство социальной справедливости, мне за богатых бывает стыдно.

Это мой предрассудок, я признаю. У других тоже бывают слабо мотивированные пристрастия: одни не любят евреев, другие таджиков, третьи милиционеров, четвертые — собак породы пит-буль.

Я ни «Юкосом», ни Ходорковским особенно не интересовалась, пока не обнаружила в разъездах по нашей бескрайней родине, что, куда я ни попадаю, всюду работают программы Ходорковского: в детских домах и колониях, в школах и в университетах. А я, надо сказать, несколько лет тому назад была в Стенфордском университете, придуманном и построенном на деньги одного очень жесткого и даже с подмоченной репутацией капиталиста, мистера Стенфорда. Я эту историю внимательно изучила. Стенфордом восхитилась. И поняла, что нашей стране не хватает таких людей. То есть они — Боткины, Солдатенковы, Щукины, Хлудовы, Третьяковы — были в изобилии в начале XX века, но советская власть их истребила. И вот именно когда я обратила внимание на огромный размах социальной благотворительности Михаила Борисовича Ходорковского, я обрадовалась и подумала: наше дело не так безнадежно.

Вскоре как раз Ходорковского скрутили, компанию его забрали и, кажется, развалили, или во всяком случае «распилили», а от огромной, прекрасно организованной системы благотворительности остался, кажется, один интернат для детей-сирот «Коралово». Его пока еще не удалось развалить и захватить хорошую под ним землю.

Об авторах | Людмила Улицкая — писатель, лауреат международных премий, Букеровской премии (2001 г.), премии «Большая книга» (2007 г.). Куратор проекта «Другой, другие, о других» — серии книг для подростков, освещающих актуальные вопросы антропологии и острые социальные проблемы. Создатель фонда «Хорошие книги», задача которого — снабжение качественной литературой библиотек малых городов, школ, детских домов.

Михаил Ходорковский — гражданин Российской Федерации, бывший руководитель и совладелец крупнейшей в России нефтяной компании «ЮКОС», основатель Межрегиональной общественной организации «Открытая Россия», ныне отбывающий восьмилетний срок заключения и находящийся в ожидании приговора по второму уголовному делу; заключенный СИЗО N 99/1 города Москвы.

Словом, чем дальше, тем мне больше нравился Ходорковский — вплоть до того, что вступила я с ним в опосредованный (через адвокатов) контакт. Задала кое-какие вопросы. Получила ответы, которые меня в большой степени удовлетворили.

Теперь я знаю об обстоятельствах этого дела гораздо больше, чем год тому назад. Все гораздо хуже, чем может показаться с первого взгляда.

Отбросим безусловные аргументы в пользу сегодняшнего дня: в конце концов не расстреляли в подвале Лубянки на третий день после постановления «тройки», не отравили радиоактивным плутонием или ядовитой колбасой, а организовали дорогостоящий процесс. Держали в Читинской области, откуда перевезли на процесс в Москву не в теплушке, а на самолете, а керосин нынче дорог. Платят зарплату судье, прокурорам, охранникам, уборщицам, шоферу, который привозит заключенных Ходорковского и Лебедева на процесс четыре раза в неделю на бронированном чудовище большой, огромной даже стоимости.

Мы, налогоплательщики, оплачиваем это долгоиграющее издевательство над здравым смыслом. Мы, граждане, ничего не можем сделать, чтобы прекратить этот фарс. Мы, родители детей, которым жить в этой стране, ничего не можем сделать, чтобы изменить то, что никому не нравится. Это опасно для будущего.

Я — за Ходорковского и Лебедева. Против абсурда и беззакония. Против бездарности и лжи.

Людмила Улицкая

1.

15.10.08

Уважаемый Михаил Борисович!

Возникла возможность с Вами пообщаться, и я этому очень рада. Семейная моя история такова, что мои деды просидели в сумме больше двадцати лет, друзья-шестидесятники тоже внесли свою лепту в этот котел. Да и тема эта для русской литературы очень существенна — настолько, что в прошлом месяце я даже написала предисловие к книге «По тюрьмам» Эдуарда Лимонова, человека очень разнообразного и малоприемлемого. Так случилось, что я даже для детей сейчас курирую книгу «Преступления и наказания», где опять-таки все про то же — история тюрем, виды наказаний и пр. Потому, если наша встреча действительно состоится — чего бы мне очень хотелось, — то поговорить бы об этом. Вы ведь знаете, что есть две точки зрения: Солженицын считал, что опыт тюрьмы человека закаляет и очень ценен сам по себе, а другой сиделец, менее счастливый, Варлам Шаламов, считал, что опыт тюрьмы в нормальной человеческой жизни непригоден и неприменим вне тюрьмы.

Последние годы жизни Юлия Даниэля мы были дружны, и хотя он не любил говорить об этом времени, но впечатление у меня тогда сложилось, что это очень важное испытание, и для него оно легло не на пустое место, а на его фронтовой опыт. Но, в любом случае, для Вас еще не настало время, когда Вы сможете вспоминать о прошлом, сегодня — это Ваша реальная жизнь. Как Вам удается с ней справляться? Нет ли ощущения дурного сна? Хотелось бы узнать, как изменилась система ценностей: какие вещи, казавшиеся важными на воле, потеряли смысл в лагере? Образуются ли новые внутренние ходы, какой-то неожиданный опыт?

Это мое письмо — простите! — прикидочное: ведь Вы человек, о котором постоянно говорят и помнят, для одних — борец и острый политический деятель, для других — страшилка, но, в любом случае, Ваша ситуация оказалась бесконечно обсуждаемой, а интерес к Вам не иссякает. В свое время Анна Ахматова сказала о Бродском, когда его сослали: «Какую биографию они делают нашему рыжему». Вам действительно «делают» биографию, и хотелось бы, чтобы об этом можно было говорить в прошлом времени. И это тоже одна из причин, почему бы мне хотелось с Вами встретиться и побеседовать.

С уважением,

Людмила Улицкая

2.

15.10.08

Уважаемая Людмила Евгеньевна!

Большое спасибо за письмо и поддержку. Понял истоки Вашего внимания. Надо отметить, типичные для значительной части нашей интеллигенции. К сожалению, т.к. тюрьма — не самый лучший опыт. В связи с чем мне больше по душе Шаламов, чем Солженицын. Думаю, разница в их позиции связана с тем, что Солженицын считал авторитарный, а значит, тюремный способ управления страной, допустимым. Но, как «гуманист», полагал необходимым опытом управленца опробование розг на собственной спине. Достойно уважения, но не присоединяюсь.

Тюрьма — место антикультуры, антицивилизации. Здесь добро — зло, ложь — правда. Здесь отребье воспитывает отребье, а приличные люди ощущают себя глубоко несчастными, т.к. ничего не могут сделать внутри этой отвратительной системы.

Нет, это чересчур, конечно, могут и делают, но так жутко смотреть, как каждый день спасаются единицы, а тонут десятки человеческих судеб. И как медленно, оборачиваясь и возвращаясь, движутся перемены.

Мой рецепт выживания — учиться понимать и прощать. Чем лучше, глубже понимаешь, надеваешь чужую шкуру, — тем сложнее осуждать и проще прощать.

В результате иногда происходит чудо: сломанный человек распрямляется и, собственно, становится человеком. Тюремные чиновники этого страшно боятся и совсем не понимают — как? почему? А для меня такие случаи — счастье. Мои адвокаты видели, и не один раз.

Конечно, без уверенности в семье, без их поддержки было бы совсем тяжело. Но в этом и беда, и преимущество попадания в тюрьму в зрелом возрасте: семья, друзья, тыл.

Здесь важнейшее условие — самодисциплина. Либо работаешь над собой, либо деградируешь. Среда пытается засосать, растворить. Конечно, бывает депрессия, но ее можно переламывать.

Вообще, чем жестче внешняя обстановка, тем мне лично лучше. Удобнее всего работать в ШИЗО, где появляется ощущение прямого, непосредственного противостояния враждебной силе. В обычных, по здешним меркам, условиях поддерживать мобилизацию тяжелее.

Извините, пишу, что называется, «заметки на полях». Не думая. Завтра — очередной суд.

С удовольствием продолжу диалог.

С глубоким уважением,

М.

3.

16.10.08

Дорогой Михаил Борисович!

Спасибо за ответ, написанный накануне суда. Сейчас, в это самое время, идет судебное заседание, и вечером мы узнаем по радио что-нибудь — почти наверняка нерадостное.

Письмо Ваше меня поразило. Отбросило в другую реальность: как будто мы в разных углах мирозданья. Но есть одно существенное и общее — осознанное отношение к личному жизненному пути. Место, где это осознание столь плодотворно происходит, в Вашем случае — тюрьма в квадрате. Как еще можно назвать карцер в местах лишения свободы? Ниже не упасть. Одновременно — неожиданная высота духа несломленного и ума, напряженно работающего. Так сидит в ледяной пустыне тибетский монах, растапливая вокруг себя своей теплой задницей или иным нам неведомым способом полянку, на которой начинают расти травы и цветочки. И вырастают на этой поляне редкие плоды осознания себя и окружающего мира, сострадания, терпения. Вот уж поистине, те ребята наверху (в обоих смыслах!) Вам делают не только

известность, разного рода славу — хорошую или дурную, в этой системе координат не имеет значения, — но с Вами происходит процесс, которым мог бы руководить мудрый гуру, духовный учитель, старец какой-нибудь или кто там на это место назначен.

Меня всегда очень увлекал тот поток, в котором находится человек от рождения до смерти. Поток тебя несет, а ты плывешь по течению, предугадывая его повороты, то попадая в середину течения, то делая самостоятельное движение, чтобы несколько изменить направление. И здесь всегда есть начальная точка, когда ты осознаешь свою жизнь вписанной в общий поток и все последующие моменты «переориентировки». Это очень увлекательная история — каждая человеческая судьба. Думаю, что Вы можете сказать больше, чем многие люди, которым жизнь не давала такого экстремального и разнообразного опыта. Вам дали время подумать. Насильственно. Но Вы оказались хорошим учеником. Вот об этом я и хочу поговорить.

Возьмем исходную точку: детство, семья, установки и намерения. Как Вы планировали свою жизнь в то время, когда вообще эта идея возникает?

У меня это произошло очень рано: родители были более или менее ученые. Традиционные «менеэсы», хотя и со степенями. Я и была нацелена на науку — это была биология, и в моем сознании очень удачно уживались идеи «служения человечеству», удовлетворение тщеславия и ошибочное представление о том, что наука — наиболее свободная область. Естественно, все иллюзии со временем рассыпались. Расскажите, а как Вы мальчиком видели свое будущее? Что было Вашей жизненной программой в юности? Я знаю, конечно, что Вы были в комсомоле, и даже функционировали в том пространстве, которое для меня (я Вас старше на 15 лет) было совершенно неприемлемым. Вероятно, Вы чувствовали себя своим или по крайней мере мимикрировали под «комсомольских деятелей», потом оказались «своим» в среде «олигархов», где тоже своя занятная и привлекательная для народных масс жизнь. Вы явно превысили пределы дозволенного, нарушили некий неписаный закон (сознательно или неосознанно), то есть перешли границу «дозволенного» в том высшем кругу, куда мой глаз не проникает и, честно говоря, никогда и не стремился проникнуть. Вот я как раз и хочу поговорить об этом.

Каждый из нас выбирает для себя свою собственную границу, которую он не переступает. Для примера: моя подруга Наташа Горбаневская вышла на площадь в 1968 году с трехмесячным ребенком и потом получила «психушку». У нее инстинкт самосохранения если не отсутствовал, то явно был ослаблен. Я бы не вышла и без ребенка. Просто от животного страха. Но я не могла проголосовать на собрании в Институте общей генетики, где работала тогда, «за осуждение» и протопала вон из зала под изумленные взгляды сослуживцев в тот момент, когда надо было поднять руку. Это была моя граница. Очень скромная. Заплатила недорого — при первой возможности уволили. Стала в конце концов книжки писать. Где пролегали Ваши этические границы в юности? Как они менялись со временем?

Я совершенно уверена, что Вы об этом думали, и даже читала некоторые Ваши высказывания на этот счет. Но нам, чтобы разговор наш был плодотворным, надо пройти шаг за шагом к сегодняшнему дню. Кстати, не могу Вам не сказать, что по радио нам сегодня сообщили, что условно-досрочное освобождение Вам не дали.

Суд свое дело знает. Ничего другого и не ожидали. Таким образом, у нас есть некое неопределенное время для разговора на эту отвлеченную, но интересную тему, и мы сможем продолжить наше общение.

С уважением,

Людмила Улицкая

4.

10.11.08.

Уважаемая Людмила Евгеньевна!

Спасибо за письмо и за проявленный интерес.

Мои воспоминания носят совершенно отрывочный (эмоциональный) характер, т.е. то, что эмоционально окрашено, — помню, остальное — почти нет.

Иногда происходит замещение памяти, то есть помню то, что на самом деле рассказывали родители. Тем не менее «отчетливо», с детства хотел стать директором завода. В общем это неудивительно: родители всю жизнь работали на заводе, детский сад — заводской, пионерлагерь — заводской, директор завода — везде главный человек.

Мои мама и папа, как я теперь понимаю, весьма не любили советскую власть, но всячески ограждали меня от своего влияния в этом вопросе, считая, что иначе испортят мне жизнь. И я вырос «правоверным» комсомольцем безо всяких сомнений в том, кто друзья и кто — враги.

Выбирая свой путь в жизни, ориентировался не просто на химическое производство, а на оборонное направление, т.к. считал, что самое главное — защита от «внешних врагов».

Комсомольская работа в институте была, конечно, не проявлением политического призвания, а стремлением к лидерству. Собственно, я никогда идеологией не занимался, моя стезя — оргработа.

Стройотряды, заводская рабочая практика — все это очень нравилось именно как возможность самореализации производственника, менеджера.

Когда после института меня распределили в министерство — Госгортехнадзор, — был крайне огорчен, т.к. хотел на завод, и поэтому отпросился в райком комсомола, чтобы не идти на три года в министерство.

Дальше — центры НТТМ, бизнес, защита Белого дома…

Интересно, что секретарь парткома института предлагал мне в 1987 году продолжить «комсомольскую» карьеру и был поражен, когда я выбрал «хозрасчетные штучки».

Что же касается «барьеров», то они для меня заключались в одном: никогда не изменять своей позиции под давлением силы, а не аргументов. У нас был прекрасный ректор Г.А.Ягодин. Он называл меня «мой самый непокорный секретарь» (имелось в виду секретарь факультетского комитета комсомола). Понятно, что он мог легко меня сломать, но не делал этого, позволяя закалиться характеру. К сожалению, в 1985 году он ушел из института на повышение.

Мне повезло и второй раз. Секретарем нашего свердловского райкома партии была Кислова, а членом бюро — министр промышленности стройматериалов Ельцин Б.Н. Я получил от них настоящий урок мужества, когда их «гнобили», а они не сдавались. Причем, Кислова не сдала Ельцина. Чего ей это стоило — могу себе представить.

К слову, в 1999 году депутатом от Томской области, где я работал, был Лигачев Е.К., который всячески пытался «гнобить» уже меня. Я запретил нашим атаковать его в ответ, т.к. он был уже очень пожилым человеком, хотя сказать было чего «с избытком».

Я считал себя членом команды Ельцина. Одним из очень многих. Именно поэтому пошел защищать Белый дом в 1991 году и мэрию в 1993-м, именно поэтому вошел в неформальный предвыборный штаб в 1995—1996 годах. Это, пожалуй, стало самым опасным мероприятием в моей жизни (почти). Именно из-за Бориса Николаевича я не выступал против Путина, хотя и имел про него свое мнение.

Что же касается «олигархической» тусовки, то я всегда выступал против такого обобщающего понятия. Мы были совершенно разными людьми. Гусинский и Березовский, Бендукидзе и Потанин, я и Прохоров. У нас совершенно разные цели в жизни, восприятие жизни. Скорее, были нефтяники и металлурги, массмедийщики и банкиры. И то, наверное, будет не очень точно.

Думаю, могу определить себя как вольтерьянца, т.е. сторонника свободомыслия, свободы слова. Б.Н. Ельцин в этом плане был моим идеалом, как до него и Г.А. Ягодин. Работа с ними не вызывала у меня внутреннего протеста.

Разгром НТВ (я пытался им помочь деньгами, что мне вменили в первом процессе) стал моим «Рубиконом». Именно разгром команды, а не переход собственности, поймите правильно.

Пока прервусь. Благодарю Вас за письмо. Надеюсь на продолжение общения.

С уважением,

М.

5.

18.11.08

Уважаемый Михаил Борисович!

Письмо Ваше на этот раз меня удивило своей неожиданностью: полжизни мы выстраиваем стереотипы, разного рода штампы и клише, потом начинаем в них задыхаться, а годы спустя, когда наработанные стереотипы начинают рушиться, очень радуемся освобождению. Пока что я говорю о своих представлениях. Постепенно, надеюсь, и до Ваших доберемся.

Итак. Ваши родители — добротные шестидесятники хороших кровей — инженеры, производственники, честные, порядочные — ваш папа с гитарой в одной руке и с рюмкой в другой, веселый и живой, мама, готовая всегда и гостей принять, и помочь подруге в трудных обстоятельствах. И их отношения с советской властью понятны: а пошла она… Дети шестидесятников, прочитавшие в девятом классе перепечатанные на машинке «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына и «1984» Оруэлла, брезгливо от власти отшатывались и в лучшем случае писали диссертации, работали врачами или лифтерами либо участвовали в социальном движении, которое впоследствии называлось «диссидентским». Часть этих подросших детей прошла опыт тюрьмы и лагерей в 70—80 годах, часть эмигрировала на Запад. А Вы как-то убереглись от этого и удачно встроились в тогдашнюю машину, нашли в ней свое место и эффективно работали. Особенно трогает невинность, с которой молодой человек готов пойти хоть в «оборонку», потому что родину надо защищать.

Два десятка лет разницы в возрасте исключают ситуацию, которую легко вообразить, будь мы ровесниками. Когда я с тошнотой отвращения и с туристической путевкой в кармане приходила в комитет комсомола факультета для получения характеристики, то сидели там либо прожженные карьеристы, либо идиоты — и я отвечала на вопрос, кто там у них в Болгарии секретарь ЦК партии. Я туда пошла в 60-е, а Вы там сидели, или в соседнем кабинете, в начале восьмидесятых. Несомненно, Вы принадлежали к кругу людей, с которыми я, мягко говоря, не дружила.

Оказывается — что меня и удивило в Вашем письме, — у кого-то из этих людей в 80-е годы могла быть «позитивная» мотивация. Вы там присутствовали — молодой, талантливый человек, мечтающий стать «директором завода», осмысленно и правильно что-то производить, может, даже оружие для защиты родины. И там, в этом окружении, Вы видели «прогрессистов», как Ельцин, и ретроградов, как Лигачев. Вы находились внутри системы, и нашли там свое место, и создали команду. Вы пишете, что идеология Вас не интересовала, а имело значение «стремление к лидерству». Но это стремление — приличное определение понятия «карьеризм». Это не ругательство, а определение. Карьера, дело — важнейшая часть жизни нормального мужчины. Сегодня — и женщины тоже. Но, как мне казалось, предлагаемые там, внутри системы, правила игры были таковы, что порядочному человеку их принять было невозможно. А Вы-то были мальчиком из приличной семьи. Как можно было ухитриться вырасти «правоверным» комсомольцем безо всяких сомнений в том, кто друзья и кто — враги? Значит, это было возможно. У меня нет оснований не доверять Вашему анализу. Значит, я была пристрастна в своем полном неприятии всех партийных и полупартийных людей.

В восьмидесятые годы в руководстве страны (да и на всех уровнях, вплоть до бани и детского сада) была уже полностью изжита любая общественная идеология, и оставался только пустой каркас.

Теперь вижу, что я неполно представляла себе картину. Может, и вовсе неверно. Отвращение к советскому строю было во мне столь велико, что я не допускала, что в этой позднекоммунистической среде можно на кого-то ориентироваться, кому-то доверять. Даже кумира найти. Ельцин был для меня одним из партработников, и я страшно заволновалась, когда все мои друзья побежали к Белому Дому, а я сидела у себя дома и горевала: почему мне не хочется бежать на эту демонстрацию вместе со всеми?

Через несколько дней сказала: если будет люстрация, как в Германии после поражения нацистского режима, тогда поверю. Был большой энтузиазм, а я не могла его разделить. Люстрации не было: почти все начальники остались прежними, поменявшись креслами, лишь кое-кого изгнав.

Я понимаю, что в Ельцине было обаяние, и размах, и хорошие намерения. Только кончилось плохо — сдал всю страну в руки КГБ. Нашел «чистые руки». И Вы это, какими-то иными словами выразив, тоже, как мне показалось, признаете.

Как Вы сегодня, спустя десятилетие, оцениваете фигуру Ельцина? Если эта переоценка произошла, то когда?

Был момент, когда мне казалось, что реформы Гайдара могут создать эффективную экономику, но он не вытянул. Книга его о падении империи очень интересна, многое объясняет, но задним числом.

Была ли у Вас в то время какая-то концепция переустройства или Вы были вполне удовлетворены теми большими возможностями, которые тогда открылись перед предпринимателями? Нет сомнений в том, что Вы оказались очень хорошим директором очень большого, на полстраны, завода.

Наконец самый болезненный из всех возможных вопросов. Настолько болезненный, что я готова не получить на него ответа. Вообще снять вопрос. Был момент, когда близкие к Ельцину люди получали в управление или во владение, или в собственность огромные куски в виде «фабрик, заводов, газет, пароходов». Было одно распределение, потом ряд последующих «перераспределений». Часто очень жестких. К этому времени Вы уже стали «директором завода». Где в тот период проходили границы дозволенного для Вас?

Да, относительно вольтерьянства. Старец весь мир взбаламутил своими идеями. А прижитых от прислуги детей велел сдавать в приют. Или это Руссо? Это просто какой-то капитальный закон природы: чем возвышеннее идеи, тем гнусней практика жизни…

Вот. Вношу поправку в вопрос: что из идей Вашей молодости, когда Вы мечтали быть «директором завода», вы сохранили? Что утратили? Я, конечно, о системе ценностей речь веду.

Я Ваше имя выделила из ряда олигархов, когда в одной детской колонии, куда меня занесло вместе с подругами-психологами, обнаружила компьютерный класс, на Ваши деньги организованный, а потом еще в разных сферах натыкалась на следы «Открытой России», Вашего детища. Несколько лет спустя, когда Вы уже были арестованы, я попала в лицей «Коралово», познакомилась с Вашими родителями и увидела там невообразимо прекрасно устроенный остров для детей-сирот и полусирот. Ничего похожего я не видела нигде в Европе. Тоже Вашими усилиями построенное дело.

Вы пишете, что для Вас поворотным пунктом в отношениях с властью был разгром НТВ. У каждого человека действительно «свой Рубикон». Но до этого времени Вы как-то выстраивали отношения с властью, все более теряющей чувство приличия. Еще один жесткий вопрос: у Вас было ощущение, что этот процесс можно изменить? Если бы НТВ сохранилось, вы смогли бы наладить подпорченные отношения с Кремлем?

Пресса продажна и послушна властям во всем мире. Вопрос в том, что в разных странах разного размера труба для выхлопа отрицательных эмоций. Неужели Ваш конфликт произошел из-за диаметра не нефтяной, а информационной трубы? Для меня это значило бы, что Вы, будучи прагматиком и практиком, не растратили романтических иллюзий.

Вы простите меня, может, что-то получилось жестко в этом письме. Но «золотой век» кончился. Иллюзии развеялись. Мало времени на размышления. У меня к тому же острейшее чувство катастрофически «сжимающегося» времени. Хочется напоследок «дойти до самой сути». Впрочем, никому не удавалось. Ну, хоть приблизиться сколько возможно.

И еще есть одна проблема, которую хотелось бы обсудить: человек — его частная жизнь и давление общества. Как сохранять свое достоинство, свои ценности… Как эти ценности меняются? И меняются ли? Когда человек находится в лагере,

возникает уникальный опыт, отличный от здешнего. Это я заранее Вас предупреждаю, о чем еще мне хотелось бы с Вами поговорить, если будет такая возможность.

Желаю Вам здоровья, твердости и спокойствия.

С уважением,

Людмила

6.

05.06.09.

Уважаемая Людмила Евгеньевна,

был очень рад получить Ваше письмо, воспринимаемое мной как справедливый «подзатыльник».

Мои родители специально сделали так, чтобы я не стал «белой вороной» в том обществе. Сейчас я это понимаю, тогда — нет. Более того — и в школе, и в институте я не видел «белых ворон». Школа была на пролетарской окраине, институт — тоже сугубо «пролетарский» — 70% по путевкам с заводов. Не было у нас диссидентов вообще. В институте особенно — факультет оборонный, и если исключали из комсомола, то автоматически отчисляли. Причем мы считали это справедливым.

Я как секретарь факультетского комитета отказывался исключать из комсомола отчисляемых из института, т.к. был убежден: не всякий комсомолец может быть способен к учебе. А вот обратное на оборонном факультете казалось мне абсолютно справедливым. Ведь мы должны при необходимости отдать жизнь за Родину даже в мирное время, а как это можно потребовать с некомсомольца или некоммуниста? Не шучу, не утрирую. Ровно так и думал.

«Один день Ивана Денисовича» читал, был потрясен, Сталина ненавидел как опорочившего дело Партии в интересах культа собственной личности. К Брежневу, Черненко относился с юмором и пренебрежением — геронтократы, вредят Партии. Андропова уважал, несмотря на «перегибы на местах». Вам смешно? Хотел бы посмеяться. Не выходит.

Я, когда был на практике, не в заводской библиотеке сидел, а гексоген (взрывчатку) лопатой кидал, на пресс-автомате работал (чуть вместе с приятелем на тот свет не отправился по собственной ошибке). На сборах были, мне звание сержанта присвоили и назначили замполитом, а я опять попросился на завод — снаряды старые разбирать. Мы ведь комсомольцы, нам положено идти на самые опасные участки. И разбирал под недоуменными взглядами командовавших офицеров с нашей военной кафедры.

Опять рассмешу: их недоумение не понял, а они ничего не сказали.

К слову, смело ругался с секретарем партбюро. Даже никаких опасений не ощущал. Он сам приходил на комитет комсомола, где было 20 женщин с заводов и двоетрое парней — мы с ним спорили, и комитет голосовал за меня, практически 100%. Парторг жаловался ректору — Ягодину. Девчонки, к слову, мне до сих пор пишут. Одна из них — моя первая жена, другая уже 20 лет — нынешняя. Пишут, правда, не только они, но и другие, писала даже парторг (это начальник секретаря партбюро) Люба Стрельникова.

Не подумайте ничего плохого. Я был в этом плане очень приличным молодым человеком. Шучу.

Что же касается ощущения внешнего врага, то оно было крайне острым, как и ощущение причастности к «девятке» — группе оборонных отраслей.

Я, к слову, уже как советник Силаева принимал участие в последнем заседании ВПК (военно-промышленной комиссии) — «девятка» плюс министерство обороны. Ну, это отдельная тема.

Я никогда не знал секретаря ЦК по обороне — Бакланова, но потом, после 1991 года, взял его к себе из корпоративной солидарности. Ельцин это знал, но ничего мне не сказал.

А в 1996 году оборонщики напрямую Ельцину деньги дать отказались (в кредит Правительству, тогда было такое возможно!), а я попросил — дали под честное слово. Хотя рисковали головой. Частично на их деньги я и купил ЮКОС, потом деньги отдал. Они знали, на что я беру. Некоторые из моих знакомых, которых я считаю хорошими людьми, входили в ЦК КПРФ, некоторые поддерживали ГКЧП (как, к слову, и Бакланов, и Лукьянов, чья дочь сейчас — мой адвокат).

Это я к тому, Людмила Евгеньевна, что с той стороны баррикады люди были совсем не «плоские». «Упертые» в одном и абсолютно порядочные — в другом.

Я, как и они, был солдатом не своей, виртуальной войны. Но мы были честными солдатами. Защищали то, что считали правдой.

Я Вам еще более рискованную вещь скажу. Мы очень серьезно подходили к сотрудничеству с КГБ. Мы — это оборонщики. Они работали на нас и одновременно контролировали нас, но совсем не с точки зрения «политической грамотности», а с точки зрения физической охраны, контршпионажа и т.п. Это были очень серьезные, очень квалифицированные специалисты. Некоторые из них прошли Отечественную войну на нелегальной работе. Их уроки мне очень пригодились в тюрьме, т.к. у них за плечами были и тюрьмы, и концлагеря, и зинданы. Они были очень рады, что их опыт кому-то нужен. Оказалось — еще как нужен!

Были и другие — «НКВДшники». Их не уважали, сторонились и мы, и те специалисты, о которых я говорил.

К слову, никто из них (из специалистов) никогда не попросил у меня денег. Хотя некоторым я помог найти работу после 1991 года. А их коллеги спасли нам жизнь, отказавшись штурмовать Белый Дом. Некоторых я знал лично, других — опосредованно.

Вот она — судьба. Вот она — гражданская война. А как потом все «запереплеталось»…

Теперь о лидерстве и карьеризме. Не соглашусь — вещи разные. Карьера, в плохом смысле, — это вверх по ступенькам бюрократической лестницы, подхалимничая и пресмыкаясь. Да, таков путь большинства «успешных людей». Так можно было стать вторым секретарем, заместителем директора завода, начальником управления и даже заместителем министра. Но не «линейным руководителем» — начальником цеха, директором завода. Туда ставили других. Лидеров. И терпели их, т.к. карьеристы на линейных постах «валили» дело. А за дело был спрос.

И Ягодин, и Ельцин терпели меня как «линейного руководителя» абсолютно «в духе партийных традиций».

Это было такое же место для «иных», как наука. Только «иных» в другом смысле: политически правоверных, но «плохо гнущихся».

Если говорить о Борисе Николаевиче, то я не могу быть беспристрастным. Понимаю все его недостатки. Более того, считал в 1999 году, что ему надо уйти. Хотя кандидатуру Путина я не приветствовал, и Путин это знает.

Но Борис Николаевич был фигурой. Глыбой. Настоящий русский царь со всеми плюсами и минусами данной ипостаси. Он сделал много хорошего и много плохого. Чего больше — не мне судить.

Можно ли было Россию глобально изменить сильнее или лучше, чем он? Можно ли было обойтись без «термидора» и нового застоя, без возвращения «товарищей из органов»? Без чеченской войны, без штурма Белого Дома? Наверняка можно. Мы не сумели. Не он — все мы. И какое у меня право судить?

Когда мы познакомились, мне было 23. И я хочу сохранить те свои воспоминания. Он уже умер, и это никому не мешает.

В гайдаровские времена идей переустройства страны в целом, как исторического здания, у меня не было, но было видение «переустройства» экономики. Я был сторонником создания и последующей приватизации не отдельных предприятий, а крупных научно-промышленных комплексов по типу «Газпрома» (не всегда таких масштабных, но аналогичных по структуре). Мы в Правительстве называли это активной промышленной политикой (не только создание, но и некое целеполагание, определение задач и приоритетов).

Когда мои идеи пришлись «не ко двору», я ушел, предупредив, что воспользуюсь той дурью, которую они понапишут. В том числе и свободно обращаемыми ваучерами. Надо сказать, я сразу говорил, что это плохо кончится, что чешский пример лучше (там «закрытые фонды»), но мне заявили — как всегда — о моем явно корыстном интересе. Правда, не совсем понятно — каком. И я не стал спорить. Не хотите — не надо.

Зато потом — и вот здесь мы можем поговорить о границах дозволенного — я пользовался любой дыркой в законодательстве и всегда лично рассказывал членам Правительства, какой дыркой в их законах и как я буду пользоваться или уже пользуюсь.

Да, это была маленькая месть, возможно — грех тщеславия. Но, надо отметить, они вели себя прилично: судились, перекрывали дырки новыми законами и инструкциями, злились, однако никогда не обвиняли меня в нечестной игре. Это был наш постоянный турнир.

Прав ли я был по большому счету? Не убежден. С одной стороны — объективно поднимал промышленность, с другой — подставлял далеко не самое плохое правительство. С одной стороны — конечно, вкладывал все доступные мне средства в индустрию. Эффективно вкладывал. Сам не шиковал и не давал шиковать другим. Но в то же время не очень думал о людях, о социальной ответственности за пределами моего, пусть очень большого, коллектива.

Что же касается «жесткости» при захвате и перераспределении, то вопрос имеет смешной, неправдоподобный ответ.

В «высшей лиге» играло от силы два десятка игроков. Больше просто не было. А список предприятий, например, для «залоговых аукционов» был 800 позиций. У нас всех вместе сил хватило, по-моему, на 70.

Я сам был вынужден бросить все остальное, чтобы справиться с ЮКОСом. Сидеть в командировках безвылазно, бросить банк, распродать и раздать почти все ранее купленные предприятия. Например, мне до этого принадлежала вся отрасль производства стройматериалов Москвы, ряд металлургических заводов, тот же пресловутый «Апатит».

Это не шутка, это — настоящая работа. И никакие чужие дела меня абсолютно не интересовали. Мы все очень редко реально конкурировали между собой, мы боролись с общим бардаком и разрухой. Бандиты нас тоже практически не атаковали, т.к. им было абсолютно непонятно, что и как можно ухватить в такой гигантской машине. Конечно, бывали «отморозки», бывали риски, но вообще времена в «высшей лиге» были «вегетарианские» по сравнению с нынешним «днем рейдера».

Когда, например, Володя Виноградов («Инкомбанк»), ныне покойный, мешал мне в борьбе за ВНК, я ему предложил отступные, а когда он отказался — задавил суммой залога на аукционе. Что, конечно, обошлось мне недешево.

И это была обычная практика: PR-кампания, лоббирование, деньги. Но не милиция и не криминал. Если бы кто-то был замечен в таком, с ним бы просто перестали иметь дело из соображений безопасности. И быстро бы подставили.

Именно поэтому все поиски Генеральной прокуратуры в последние годы привели к столь неубедительным результатам.

В «высшей лиге», во всяком случае, до прихода туда граждан с «правоохранительным прошлым», барьер стоял там, где его можно было защитить в арбитражном суде (пусть не полностью независимом, но и не контролируемом, как сегодня Басманный). Барьер стоял и на уровне допустимой поддержки со стороны чиновников, которые могли встать на твою сторону из собственных соображений, но понимая, что им свою позицию придется всерьез защищать у Премьера и Президента, но не только, а еще и — страшное дело — в СМИ!

То есть сегодняшний уровень «отморозки», когда люди ощущают полную безответственность при правильности «политической позиции», — нет, такой уровень было трудно себе представить.

У меня был уволенный начальник НГДУ, Фазлутдинов, который, отстаивая незаконность увольнения, дошел до ВС РФ и победил, получив от меня в качестве ком-

пенсации более 40 тысяч долларов (тогда — очень большие деньги). И мое Правовое управление, зная, как оно «попадет» за проигрыш, ничего не смогло сделать.

Пришедшая нам на смену «Роснефть» попросту выкинула его из суда «в шею». Он приходил плакаться к моему адвокату, который вел его дело в компании.

Нет. Искать дырки в законах и пользоваться ими в полной мере или ограниченно — вот где проходил наш барьер. А демонстрация Правительству его ошибок в законодательстве — главное интеллектуальное удовольствие в этой сфере.

Не могу не отметить, что главной причиной смены моих личных жизненных установок в социально-предпринимательской сфере стал кризис 1998 года. До этого момента я рассматривал бизнес как игру. Только игру. Где надо (хочется) победить, но и проигрыш — не проблема. Игру, где сотни тысяч людей приходили утром на работу, чтобы поиграть вместе со мной. А вечером уходили к своим делам и заботам, со мной не связанным.

Это, конечно, очень схематично. Я сталкивался с проблемами и до 1998 года, но это были проблемы, за которые я лично ответственности не нес: я пришел, а так «уже было».

И вот 1998 год. Сначала весело — переживем! А потом — август. Катастрофа. Цена на нефть 8 долларов за баррель, себестоимость — 12 долларов за баррель. И нет денег, чтобы отдать долги, и нет денег на зарплату. А людям реально нечего жрать, и это — моя личная ответственность. А нефть внутри страны никто не покупает, на экспорт труба забита. Никто не платит. Банки-кредиторы грозят заблокировать счета за рубежом. В России банки просто не проводят платежи. Березовский дал мне кредит под 80% годовых в валюте!

Приезжаешь на «вахту» — люди не орут, не бастуют — понимают. Просто в обморок падают от голода. Особенно молодежь, у кого своего хозяйства нет или дети маленькие. А больницы… Мы ведь и лекарства покупали, и на лечение отправляли, а здесь — денег нет. И, главное, — эти понимающие лица. Люди, которые просто говорят: «А мы, мол, ничего хорошего и не ждали. Благодарны уже за то, что приехали, разговариваете. Мы потерпим…». Забастовок с августа 1998 года не было вообще.

В результате после преодоления кризиса мои жизненные установки начали меняться. Я не мог больше быть просто «директором». В 2000 году мы создали «Открытую Россию».

Еще раз о взаимоотношениях с Законом. Никогда не считал и не считаю оправданной позицию — «все нарушали». Если нарушал ты — отвечай. Моя позиция совершенно в другом: наше законодательство (как, впрочем, и законодательство любой другой страны) оставляет множество «белых пятен», простора для толкований, которые, собственно, и являются предметом деятельности суда (в основном Верховного). Беспредел или, вежливо говоря, «избирательное применение закона», в деле «ЮКОСа», заключается в том, что для «ЮКОСа» применяется отдельное, специальное толкование закона. Такое, которое не применяется (и не может быть применено) к другим субъектам аналогичных правоотношений.

Я считаю, что в целом законы у нас нормальные, не хуже и не лучше, чем в остальных странах, а вот с правоприменением, с судами — катастрофа.

Теперь об идеях и ценностях молодости.

— «Страна — осажденная крепость, поэтому все — для укрепления обороноспособности, кругом враги» — это, конечно, ушло, заместившись пониманием интересов стран и народов, которые не всегда (мягко скажем) совпадают с интересами государств и элит. При этом патриотизм — будете смеяться — по отношению к России остался. Он внутри и, например, мешает говорить о стране гадости, даже когда очень хочется.

— Идея коммунизма, как всеобщего «светлого завтра» ушла, оставив в душе горечь от раскрывшегося обмана. Ведь под красивой мечтой скрывался наглый бюрократический тоталитаризм. Причем сама идея социального государства, обеспечивающего систему заботы общества о своих аутсайдерах (вольных или невольных), о равном шансе для каждого из детей — эта идея живет. Но она стала внутренним дополнительным стержнем только после кризиса 1998 года. До этого — обида и желание доказать, что «могу»…

— А вот общечеловеческие ценности пробивались ко мне долго. Думаю, именно тогда, когда они «пробились», я и восстал. Было это в 2001 году — НТВ, — и восстание было «на коленях». Но именно тогда на РСПП встал вопрос: что «во-первых» — собственность или свобода слова? Ведь долги НТВ «Газпрому» были реальными. И тогда я для себя пришел к выводу: одного без другого не бывает, и дал НТВ 200 миллионов долларов. Что мне потом записали в обвинение.

Я не революционер. И если бы НТВ сохранили, то я, возможно, и к остальным событиям относился бы менее внимательно. В общем, не спешил бы «выделяться», оставляя «политику» более активным «товарищам». Как, впрочем, всегда и поступал. Здесь — не смог. Возникло ощущение удавки на шее.

С этой точки зрения тюрьма — вещь более определенная, менее гнетущая. Хотя, конечно, во всем остальном — сильно не сахар.

И, конечно, такая развязка не была моей целью. Но меня загнали в угол, из которого другого достойного выхода не было. Мудрый человек, вероятно, избежал бы такой альтернативы.

Что касается проекта «культурной антропологии», то не уверен, что в области денег я лучший специалист. Подумаю. Пока, если можно, дайте моим адвокатам ссылки, что посмотреть.

Еще раз спасибо за письмо.

М.

7.

24.06.09

Дорогой Михаил Борисович! Более полугода тому я отправила Вам письмо, которое, как сейчас выяснилось, до Вас не дошло. Надеюсь, что это дойдет.

Происходящий процесс — абсолютно кафкианский — несколько затянулся. Я даже призадумалась: эта бездарность — естественная, «как всегда», или какой-то сатанинский замысел, в котором учитывается психологическая усталость общества, которое устает реагировать на события, развивающиеся медленно и слабо, как в плохом театре. Хорошо, что есть два участника, Вы и Платон Лебедев, которые время от времени разрывают этот дурной сон.

При этом постоянное ощущение, что разыгрывается игра живых людей не то с тенями, не то с призраками. Может, куклы? Не люди, а какие-то мыльные пузыри, можно было бы сказать — гоголевские персонажи, если бы не так мучительно бездарно все это было поставлено. Нет, нет, конечно, ясно, что есть намерение затянуть процесс, хотя бы для того, чтобы не выпустить Вас на свободу.

А что Вы, Михаил Борисович, на это скажете: это плохая работа постановщиков спектакля или хитроумный ход, рассчитанный на неизбежную усталость общественного мнения? Надежда, что весь мир забудет об этом процессе? Но — не забудет. Будет фигурировать в учебниках истории страны, как процесс Синявского и Даниэля.

Буквально на днях я была на приеме у генерала Калинина по поводу книг для детских колоний, мы собрали 62 посылки. Первый раз в жизни видела живого генерала этого ведомства. Генерал произвел впечатление живого, образованного и профессионального человека. Просто вполне хорошее впечатление. Я понимаю, что управление федеральной системы наказаний — не дамская благотворительная организация помощи бездомным кошечкам, но все-таки…

А как Вы думаете, Михаил Борисович, этот шквал наказаний, который на Вас обрушивается, жизненно опасных и смехотворных «наездов», которые происходят, — на каком уровне организуется: местного тюремного руководства или самого высшего уровня? Или вообще спускается из другой епархии? Имею в виду Кремль, конечно.

Никак не хотелось бы поставить Вас в более тяжелое положение, чем то, в котором Вы уже находитесь. Поэтому можете не отвечать на этот вопрос.

Когда Дмитрий Медведев стал президентом, за границей все журналисты задавали этот волнующий их вопрос: что я думаю о новом президенте? Что тут отвечать

человеку, который имеет роскошь вообще о них не думать — ни о старом, ни о новом? Есть в жизни много вещей поинтереснее. Но отвечала всегда одно и то же: скоро узнаем про нового президента: если Ходорковского отпустят — значит, это другой президент, а если нет, значит — никакого нового президента нет. Вот такая загадка Сфинкса!

А Вы, Михаил Борисович, на своей шкуре, простите, почувствовали, что власть поменялась, или — нисколько она не поменялась?

У Вас удивительная судьба, Михаил Борисович: Вы уже прожили несколько разных жизней, и, надеюсь, впереди Вас ждет еще прекрасный кусок жизни — деловой и общественной или частной и закрытой, но в любом случае это будет жизнь осмысленная, творческая. Не могу себе представить Вас на пенсии. Как Вы мыслите свою жизнь после освобождения? Сейчас Вы защищаетесь и делаете это великолепно. Что вы будете делать, когда вернетесь домой?

С месяц тому назад я была в «Коралово», в лицее для сирот, который Вы в свое время организовали. Там новый директор, очень хороший и умный человек, Марина Филипповна и Борис Моисеевич окружены ребятами, и видно, какие у них прекрасные отношения. Отстояли от идиотского налога оставшихся родителей воспитанников, и весь лицей в целом — какая-то воплотившаяся социальная утопия. Следы Вашей благотворительности встречаю часто — именно следы. Разрушено замечательное дело. Я уже не говорю о Вашей компании. Но в данном случае меня интересуете Вы, а не отнятые у Вас деньги.

Что Вы будете делать после освобождения? Не могу себе представить, чтобы Вы не строили планов относительно будущего.

Желаю Вам крепкого здоровья и терпения. Мужества и силы Вам не занимать. Ждем Вас на свободе.

Людмила Улицкая

8.

24.06.09

Уважаемая Людмила,

большое спасибо за Ваше письмо и очень рад возможности поспорить, хотя Вы меня и жалеете в своих комментариях. Это, к слову, неспортивно: Вы лишаете меня права аргументировать свои очень кратко изложенные утверждения, с которыми Вы, как я понимаю, не согласны.

Если что-то напишете более ругательное, «не для печати», — совсем не обижусь.

Я действительно «государственник», т.е. считаю, что на ближайшие 20—40 лет (дальше я не заглядываю) роль государства в жизни России (российского общества) должна быть больше, чем сегодня. Однако я совсем не за «жесткую руку». Убежден: государство — это хорошо работающие институты, живущие за счет налогоплательщика и в интересах налогоплательщика. Со временем многие из них должны быть заменены общественными структурами. Т.е. прекратить жить за счет налогоплательщика, а стать элементом самоорганизации и гражданского служения. И уж, конечно, я против продолжения «татаро-монгольских» традиций, когда государство есть оккупант, собирающий дань с покорного народа и не обязанный отчитываться за использование этой дани, не интересующийся желаниями граждан и диктующий им правила жизни.

Что же касается глобализации, то я — глобалист. Почитайте мою статью о причинах кризиса. Однако убежден, что национально-территориальное деление себя изживет еще не скоро. И если в области экономики, экологии и т.д. глобализация необходима и позитивна, то в области культуры — очень сомневаюсь.

Я лично хочу жить в моей привычной с детства Москве, а не в Баку или Чайнатауне. Даже если из-за этого мой город недосчитается каких-то доходов. Прошу понять правильно, я не сужу о людях по происхождению или национальности, но если человек приезжает в «мой город», то он должен принимать мои правила, а не навязывать мне свои.

И так думают многие. Комфорт создается культурной средой, совсем не всем нравится Нью-Йорк.

Если я останусь в меньшинстве, значит, уеду искать то место, где люди живут так, как я привык с детства. И это стремление к поиску общества с едиными культурными корнями — стимул очень сильный. Сильнее даже чисто экономического для очень многих людей.

Что касается «честных солдат»… Боюсь, Вы ошибаетесь. С «честным солдатом» мы бы нашли взаимопонимание, т.к. то, что происходит, вредит даже государству. Все гораздо хуже — мы имеем дело с абсолютно развращенной частью бюрократии, которая осмысленно служит не обществу и даже не государству, а своему карману, своим корыстным интересам. В этом проблема: мы живем в государстве циников, у которых нет идеологии, даже «советской».

Боюсь, что и «великая Россия» для большинства — чистый лозунг, от которого они легко откажутся во имя денег. Попросту уедут в те же США, если получат гарантии безопасности там при риске потерять «непосильно нажитое» здесь.

Теперь про равенство возможностей. Убежден, и сделаю все от меня зависящее, чтобы добиться у нас в России, равенства возможностей для каждого ребенка. Идеал недостижим, как и во всем. Но потратить жизнь на приближение к этому идеалу мне не жалко. Я считаю, что «право на шанс» — главное, что мы должны обеспечить всем детям в России. Да и во всем мире. Экология, образование, политические свободы — это средства обеспечить не только некий минимальный уровень жизни и комфорта каждому, не только для того, чтобы повысить средний уровень жизни, но и предоставить каждому ребенку, каждому человеку возможность полностью реализовать себя вне зависимости от того, в какой семье (или стране в конечном итоге) он родился.

За весь мир я отвечать не берусь, но за следующее российское поколение хочу и могу побороться. Убежден, что это не только одна из главных целей, но и главный ресурс общественного развития.

А о том, чем заниматься «после», я думаю редко и отвлеченно. Жизнь покажет. Делать то, что можешь, надо, по-моему, здесь и сейчас, каждый день, как будто он последний. Тогда нет времени бояться. Делать, насколько хватает сил и таланта, чтобы потом «не было мучительно больно», когда вдруг узнаешь, что время кончилось… Если с талантом плоховато, то тогда хоть «примером». Это и пытаюсь.

Еще раз спасибо за письмо.

С уважением,

М. Ходорковский

P.S.: Простите за излишний пафос и неуклюжесть письма. Пишу, сидя в «процессе», отвлекают…

9.

26.06.09

Дорогой Михаил Борисович! Спорт сразу отметаем. Мы с Вами не соревнуемся в риторическом искусстве. И разговор наш — не для победы какого-то мнения, моего или Вашего. Он — для наведения внутреннего порядка, для проверки собственных позиций. Может, для их перемен. Это любому думающему человеку полезно.

Какая там может быть ругань с моей стороны: даже ваши враги сегодня Вас не ругают — по той причине, что Вы продемонстрировали огромное моральное превосходство.

Мы с Вами вполне совпадаем в оценке нашего государства — никуда не годится. Именно по той причине, что не служит своей стране, а кормится от нее. Порода государственных мужей, пекущихся о благе Отечества, в нашей стране полностью вывелась. До основания. Но когда Вы говорите о том, что «на ближайшие 20—40 лет роль государства в жизни России (российского общества) должна быть больше, чем

сегодня», меня оторопь берет. У сегодняшней власти огромные, невиданные полномочия, она делает решительно все, что ей в голову взбредет, и в области экономики, и в области политических отношений с миром. Она распределяет совершенно неподотчетно национальные ресурсы, государственные ценности передает в частные руки и успешно выводит их за границу. Как еще, куда дальше увеличивать роль этого государства? И это говорит человек, который на своей шкуре испытал жестокость государственной мести, недееспособность закона, полное отсутствие логики и здравого смысла в действиях.

Нет, конечно же, вопрос, с моей точки зрения, в другом: как ввести в какие-то разумные берега то, что происходит в стране, как ограничить «беспредел», о котором Вам известно гораздо лучше, чем мне. Что надо сделать, чтобы заработали какие ни есть законы, хорошие или плохие, как ограничить полновластие, самодурство чиновников, от мала до велика, их безграничное корыстолюбие и алчность? Я не знаю.

Вот Вы, Михаил Борисович, считаете себя «государственником». А что это такое, государство? Как вы понимаете его? Оно неразрывно связано с понятием права. Как будем это определять? По Платону, который понимает государство как выражение идеи справедливости при условии, что все у всех общее (то есть запрет на частную собственность), включая жен и детей? По Канту, который полагал, что государство — соединение множества людей под господством права? По Аристотелю, который понимает государство «как общение, организованное ради общего блага»? Или по Ленину: «Государство — машина для угнетения одного класса другим»?

Когда начинаешь читать эти архаические книги, оказывается, что все ужасно устарело, все неприемлемо по разным причинам, кроме Владимира Соловьева: «Право — некоторый минимум нравственности, равно для всех обязательный». Именно на этом праве и строится государство. Теоретически…

Эти древние давно уже обо всем подумали — их читать интересно (только не подумайте, что я такой уж образованный человек, — это все, как говорила Надежда Яковлевна Мандельштам, «из отрывного календаря»). И еще есть ощущение, что в наше время терминология требует пересмотра, что многие понятия требуют новых определений. Даже такие фундаментальные понятия, как «благо», «добродетель» — и то требуют переосмысления. Трудно порой определить, что такое социализм, коммунизм, либерал, консерватор, где левое, где правое, где вперед, где назад. Попробую переслать Вам замечательной сборник эссе Умберто Эко «Полный назад», он там проговаривает эти вещи превосходно — все-таки один из умнейших людей нашего времени.

Таким образом, Михаил Борисович, Ваше заявление, что Вы — «государственник» (я не ставлю это под сомнение, коли Вы так говорите), — меня совершено обескураживает. Нельзя быть «государственником в принципе». Это заявление требует пояснений: какого такого государства Вы сторонник? Платоновского? Ленинского, то есть марксовского? Может, нашего? И этого государства роль должна быть еще больше?

Я тоже, как и Вы, считаю, что наше государство плоховато справляется со своими прямыми обязанностями (защита населения от войн и бедности). Хорошо бы, чтобы оно работало получше. Но как Вы представляете переход от того, что мы имеем в реальности, к тому, что Вы рисуете в воображении? Ни Вы, ни я никак не революционеры: революция — гораздо более страшное зло, чем плохое управление. Бедность, всеобщее убожество и отсутствие комфорта — меньшее зло, чем матросы, ломающие стулья во дворце и сжигающие библиотеки, пролетарии, разграбляющие магазины, и отребье, убивающее прохожих в темных переулках. Не говоря уже о гражданской войне, спутнице революций. В этом пункте мы, кажется, сходимся.

Но государство не будет эволюционировать само собой в том направлении, которое кажется желательным и Вам, и мне. Каким это образом вдруг возникнут эти «хорошо работающие институты, живущие за счет налогоплательщика и в интересах налогоплательщика», да еще со временем заменяемые сами собой на общественные структуры, являющиеся «элементом самоорганизации и гражданского служения?» Новый Ленин нужен? Новый Троцкий? Нет, тут уж мне князь Кропоткин и Герцен милее.

Сходимся мы с Вами еще и в том, что оба, каждый в своей сфере и со своими возможностями, ведем свою линию поведения, делая то, что считаем полезным для нашего общества. Я никак не могу сравнивать мои очень скромные движения с Вашей замечательной, огромной деятельностью, следы которой я и до сих пор наблюдаю, хотя давно уже Вас ограбили и перекрыли Вам кислород. Не будем обольщаться — накормить инвалидов, обеспечить им приличные условия жизни, разобраться с миллионом бездомных детей и сирот, навести порядок в медицинском обслуживании пенсионеров и всех прочих граждан страны, позаботиться о том, чтобы дать образование поколению, которое не хочет читать книги, а жаждет золотой рыбки для удовлетворения своих желаний, — обязано государство, а не благотворители. Но государство само с этим не справляется, а любую инициативу обойтись без него преследует. Особенно горько и трагично это выглядит, когда речь идет об усыновлении детей из детских домов. Без взяток — не проходит. По старым меркам — торговля людьми…

Причина понятна: любое вмешательство общественности немедленно высвечивает полнейшую гнилость чиновничьего аппарата. Невозможно уцепить «стрелочника», потому что он делится со своим начальством, и оно его защитит. Самая яркая иллюстрация — дело Буданова: его защищают все, кто стоит выше его по служебному положению, потому что все это — одна компания с одними и теми же принципами и повадками. То есть, я хочу сказать — эту систему исправить невозможно. Опрокинуть невозможно. Заменить невозможно. Это — наша система, всех устраивает. Но что можно? В ее недрах делать свое дело НЕЗАВИСИМО: я знаю людей, которые не берут взяток. Их мало, им трудно, но они есть. Я знаю людей, которые не воруют: их мало, им трудно, но они есть. В отличие от наших «честных солдат», они не обязаны выполнять приказы, потому что не ждут ни прибавки к окладу, ни повышения по службе. Таких людей я встречаю и в Москве, и в провинции: в библиотеках, в детских учреждениях, в музеях и даже среди врачей изредка попадаются такие герои. Только они и могут немного изменить атмосферу в обществе.

Тому безликому злу, которое в нашей стране заводится, как плесень от сырости, можно противостоять только лично. Это опасно. Вызывает подозрение, раздражение, зависть и ненависть. Вы, наверное, не раз слышали: «А, ты хочешь, чтобы тебя считали хорошим? Чтобы тебя любили? Показываешь всем нам, окружающим, какое мы дерьмо?».

Такое у нас общество. Такое у нас государство. Сильное, безнравственное, жестокое. Куда уж больше…

Ну вот, дошли до глобализации и кризиса. Глобализацию никто не придумывал и не продвигал — ее заметили, как замечают явление природы: похолодание или потепление. Она, по моим представлениям, есть процесс, совершенно не подверженный управлению. Конечно, можно ее тормозить, можно продвигать, но она как явление социальной жизни планеты есть факт, сродни природному. Нравится нам это или не нравится, вопрос другой. Можно что-то корректировать. Но джинн уже вылез из бутылки, и народы будут перемещаться по планете, смешиваться, взаимодействовать, и это тяжелый процесс. Есть целый вымирающий континент, Африка, и то, что сегодня происходит в Испании—Италии в связи с нелегальной эмиграцией, остановить очень трудно. Глобализация означает, что ни африканские страны, ни европейские не смогут решить эту проблему «запретительным образом», и искать пути решения можно только совместно. Несколько лет тому назад во Флоренции на площади перед Баптистерием разбили лагерь африканцы. Площадь потонула в моче и в фекалиях.

Но это не глобализация — это извечная борьба культуры и варварства. Наряду с глобализацией идет еще один могучий процесс — варваризации. И он в каком-то смысле и сильнее, и страшнее. Мне тоже не нравится жить в Москве, которая стала похожа на Баку или Чайнатаун, но не из-за большого количества китайцев или азербайджанцев, а потому, что на самом деле она превращается в средоточие варварства, в место, где вытаптывается все, похожее на культуру. В моем подъезде нет китайцев или африканцев — это мои соседи вываливают помойные ведра возле мусоропровода, расписывают лифт и стены большими фломастеровыми буквами даже

не мата, а названий футбольных команд. Весной, когда тает снег, двор оказывается завален собачьим дерьмом и пустыми бутылками. Китайцы не виноваты, азербайджанцы тоже. Я, как и Вы, разлюбила Москву. Грязный, хамский и опасный город, к тому же уродливый. Последний архитектурный ансамбль на Манежной площади уничтожен стараниями сегодняшних варваров. Начальников города, а не заезжих китайцев и азербайджанцев.

Хотя глобализация — тоже часть культуры, но все-таки у культуры есть свой самостоятельный язык — музыки, изобразительного искусства, литературы. Благодаря глобализации языки быстрее перемешиваются, может быть, даже создается некий новый общий язык, в котором буквами алфавита оказывается музыка «Битлз», закусочная «Макдоналдс», «Майкрософт Ворд», Человек-Паук и китайские упражнения «цигун». Глобализация не требует принесения себе в жертву драгоценностей национальной культуры. Национальная культура сдается сама.

Того места, к которому Вы привыкли с детства, уже нет и больше не будет. Ищи — не ищи. Это нашим детям предстоит создавать такие места для жизни, где человеку будет хорошо. И обществ с едиными культурными корнями больше не будет, разве что в Ираке. Всем нам придется делать этот выбор между поликультурным обществом и цельным, традиционным, как в Ираке и Афганистане. Может, есть какие-то иные пути, но я их не знаю. Разве что купить остров?

Говоря о «честных солдатах», я, скорее, имела в виду, что таковых не бывает. Это всего лишь удобная ширма. Мы действительно живем в государстве циников, и беда не в том, что у них нет идеологии; беда в том, что у них нет совести. Вот, современные коммунисты имеют кой-какую идеологию, и у единороссов есть идеология «великой России», а возле кормушки все ведут себя одинаково: расталкивают друг друга рылами и чавкают с аппетитом.

Для равенства возможностей я вместе с Вами готова была бы поработать. Вы уже сегодня сотням детей из интерната «Коралово» дали возможность подняться из очень трудного, даже безнадежного положения. Я этому свидетель.

Напоследок расскажу анекдот: «Умер Эйнштейн и предстал пред Господом. Говорит: вот, я умер, теперь уж все равно. Напиши мне формулу Вселенной.

Господь Бог взял в руки мел и написал. Эйнштейн посмотрел, посмотрел, почесал в затылке и говорит:

— Да ведь здесь ошибка!

— Да, я знаю, — отвечает ему Бог».

Это точно. Мы живет в мире, где существует ошибка. В самом замысле. Возможно, и не одна. Может, Вам казалось в какой-то момент, что ее можно исправить? Я в этом не уверена.

Чтобы завершить наш разговор: Вы, Михаил Борисович, идеалист. Вас в этом не укоряли? Да, да — аналитик, рационалист, ученый и практик великолепный, но при этом — идеалист. Верите в то, что есть в принципе правильные решения, и что все можно просчитать. А если что идет не так — значит, ошибка в расчете.

А мне кажется — не так. Жизнь — скорее искусство, чем наука. Общих решений вообще нет, есть только частные: на данный момент, на данный случай, применительно к этим конкретным обстоятельствам. И сиюминутное точное движение важнее, чем всеобъемлющая концепция. И все, что Вы сейчас делаете и говорите, убеждает меня в том, что с Вами все в порядке: с умом, с сердцем, с совестью. Поздравляю с днем рождения!

10.

1.07.09

Уважаемая Людмила Евгеньевна,

позвольте мне злоупотребить Вашим вниманием и сделать несколько заметок по Вашему последнему письму относительно государства и его роли.

Начну с определения. Мы очень часто путаем себя, используя одинаковые термины и в исторической науке, и при описании современных процессов, которые иногда бывают следствием многовековой эволюции исходных идей.

Наиболее очевидный пример — демократия как способ государственного управления. Сегодня, попытайся мы восстановить институт греческой демократии, — получим тоталитаризм (или авторитаризм в лучшем случае). Ту систему государственных институтов, которую мы называем демократией сегодня, разработали несколько ученых в течение в основном XVIII века.

То же касается и более общего понятия «государство» (более общего в приложении к вопросу госуправления).

Государство — это способ самоорганизации общества, основанный на имущественных взносах его членов (взносах в той или иной форме, включая нераспределенный общий доход). Это определение описывает, естественно, опять же государство с точки зрения функции управления, о которой, собственно, и шла речь.

Может ли государство, например, не обладать специальным аппаратом принуждения? Конечно. Нам известно немало государств, где с этой функцией справлялось само общество.

А может ли государство быть «внешним» по отношению к обществу, т.е. не опираться на желание поддерживать именно такую форму управления со стороны большинства своих заинтересованных членов? (Инертная часть общества в управлении не участвует.) Нет! Подчеркиваю: сегодня — нет.

Убежден: форма «внешней» организации общества в сегодняшнем представлении государством в прямом смысле слова не является. Это — оккупационный режим, который нестабилен без внешней поддержки.

В России сегодня — государство. Нравится оно нам или нет.

(Сразу отмечу: есть переходные формы, но они живут в пределах одного поколения (20 лет).)

Вот моя точка зрения о государстве как термине (в приложении к вопросу управления).

Теперь о роли российского государства. Очень хотелось бы одинаково трактовать понятия роли и полномочий.

Полномочия, т.е. законные права вмешиваться в общественную и частную жизнь, у нашего государства действительно огромные, слабо регламентированные и имеющие крайне слабые противовесы, а вот роль, т.е. реальное участие в жизни граждан, — неадекватно маленькая.

Когда я говорю «неадекватно», то имею в виду не адекватно состоянию общества, которое пока само (помимо государства) не умеет и не хочет решать многие свои проблемы. Наше общество в этом не одиноко, но тогда роль государства должна быть выше.

В частности: доля ВВП (т.е. общественного богатства), перераспределяемая через государство, у нас ниже большинства развитых стран, и уж точно ниже, чем у наших соседей со сходными климатическими условиями. А это — главный, обобщающий показатель, который находит свое практическое отражение в слабой пенсионной системе, системе здравоохранения, транспортной и коммунальной инфраструктурах и т.д.

Но даже если взять тему промышленности, то и здесь роль государства неоправданно мала.

Конечно, Путин может лично принять решение о фактической национализации или смене собственника на любом предприятии. Он может создать 10 госкорпораций и вложить туда гигантское имущество. Это — полномочия.

А вот влияние их (этих полномочий, реализованных в практические действия) на промышленность страны очень невелико. Она остается сырьевой.

И здесь два выхода: либо «либерализм» и посмотрим, что сделает рынок, либо продуманная промышленная политика.

На деле, естественно, — всегда комбинация. Но я (и в этом смысле я — государственник) считаю, что в нынешних условиях на долю промышленности, работающей

в рамках «промышленной политики», должна приходиться значительная часть промпроизводства. Вероятно, 60%.

Что я имею в виду под «промышленной политикой»? Где, когда и сколько должно быть добыто нефти, газа, леса, алмазов и, возможно, еще нескольких стратегических типов сырья. Как? Дело бизнеса. Куда и в какой форме это сырье может быть поставлено. Как и конкретный выбор, в пределах отведенных вариантов — дело бизнеса. Где, сколько и каким образом должно быть произведено электроэнергии, куда она должна быть поставлена (речь идет о стратегических мощностях — примерно 70% производства). Где строить дороги, где развивать города, университеты. И т.п. вопросы — на сотне страниц, а подвижный, гибкий план (пятилетний, как ни противно) — на сотнях тысяч страниц (если включить региональный аспект).

Зачем? Опять проблема управления. Чтобы работал рынок, нужно иметь не менее трех, а лучше — четырех независимых поставщиков конкретных услуг (продукции) в каждой точке, где она может быть нужна. В небольшой стране эту проблему может решить внешний рынок. В гигантской по территории России (а здесь важны именно территория и транспортная доступность) роль внешнего рынка ограниченна, хотя и существенна.

Структура промышленности и транспорта у нас плохая. Особенно после распада СССР. Ждать, пока рынок воссоздаст недостающее, можно очень долго. Необходимо компенсировать ключевые проблемы структурной промышленной политикой, а потом, по мере восстановления «костей» и «нарастания мяса», выдергивать «титановые спицы» (как при сложном переломе).

Я отстаиваю эту позицию с 1991 года, хотя знаю, что многие либералы, мои друзья, со мной не согласны. Увы, концептуально они ошибаются, а практически сегодня качество государства таково, что оно неспособно справиться с решением этих вопросов. Решать же их надо. Поэтому полномочия государства можно (и нужно) убавить (их чрезмерно много, и они несбалансированны), а вот роль государства, его фактическое участие в экономической и социальной жизни общества, на этом этапе — повысить.

Еще раз извините за то, что отнял у Вас время.

Тему «честных солдат» и прочее, как соотношение расчета и искусства в жизни, с удовольствием и интересом прочитал. Ваша точка зрения мне кажется неабсолютной, но очень полезной для такого «комсомольца» и «технаря», как я. Спасибо. Буду думать.

С уважением и признательностью,

М. Ходорковский

11.

08.07.09

Дорогой Михаил Борисович!

Ваши размышления о государстве и госуправлении выглядят вполне убедительно. Я по образованию биолог, и некоторые принципы, которые работают в природе, я с внутренней готовностью легко переношу на социальные механизмы. Здесь очень много общего, и эволюция в биологическом мире мне представляется самым фундаментальным законом. Нервная система, то есть система управления в высшем смысле, произошла из недифференцированных тканей. Мы не знаем, почему это произошло, — вероятно, в силу внутренней необходимости, не улавливаемой нашим интеллектом. Скажем приблизительно так. Но рассматривая существа на разном уровне эволюции, мы можем понять, как именно шел этот процесс. Каждое существо — памятник определенной ступени. Здесь существенно, что эта «высшая формация», нервная система, в принципе не работает «против» организма. Если бы такое случилось, организм ответил бы немедленной гибелью, и нервная система погибла бы вместе с организмом. Собственно, эта аналогия может быть применена и к системе

«государство—общество». Плохо работает государство — погибает общество; погибает, соответственно, и государство.

Биологические процессы абсолютно не имеют «этического» аспекта. Социальные — имеют. Такая странная вещь, как нравственность, не бывает ни классовой, ни групповой — она прикреплена исключительно к личности. Каково бы ни было государственное устройство, управление всегда в руках одного человека или небольшой группы лиц. Уровень их нравственности, как мне представляется, очень многое определяет. Теократическое, монархическое, демократическое или социалистическое государство хороши или плохи, как мне представляется, в зависимости от уровня нравственности его руководителей. В этом смысле хорошая монархия лучше плохой демократии. Лев Шестов сто лет тому назад сказал: «Где нет свободы, там нет хлеба». Где нет нравственности, не может быть никакой социальной справедливости — так я позволю себе перефразировать.

Мне с Вами дискутировать трудно — у Вас большой опыт и конкретные знания процесса управления. Но тут на прошлой неделе приехал ко мне приятель — физик-теоретик, живущий тридцать лет в Европе, переводчик многих книг по теории управления, и несколько вечеров мы с ним «терли» все те вопросы, которые Вы в своем письме затрагивали. Я была Вашим самозваным представителем, а он страшно на меня нападал, выстраивал совершенно иную систему доводов. Вы бы с ним побеседовали гораздо более продуктивно, чем я. В результате, втянутая в малознакомый мне круг проблем, я взялась читать толстенный том Джона Ролсона Сола («Ублюдки Вольтера: Диктатура разума на Западе»). Не знаю, дочитаю ли до конца, но такое чувство, что книга эта полемизирует с Вами гораздо лучше, чем я смогла бы.

Признаюсь честно, что многое из того, что Вы написали в последнем письме, вызывает у меня внутренний протест. Признаюсь также, что я целую неделю писала Вам очень старательный ответ по существу — на каждое Ваше высказывание, — а потом поняла, что нет у меня ни достаточной квалификации, ни подлинного интереса к тем темам, которые для Вас столь важны. Вплоть до того, что возникло чувство тоски, знакомое мне со школьных лет, когда нужно было сдать экзамен по обществоведению, или позднее, в университете, по истории партии. Нет, невозможно.

Ведь моя роль по существу сводится сейчас к тому, чтобы дать Вам повод высказать все то, что Вы за последние шесть лет обдумали, чтобы множество людей, чьи глаза устремлены на Вас и чьи души повернуты к Вам — прежде всего к Вам как к человеку, вынужденному платить по крупным общественным счетам своей личной, уникальной, неповторимой жизнью и здоровьем, — узнали, за что именно Вы платите.

Я горячо надеюсь, что случится еще в жизни момент, когда мы посидим втроем за чаем, — приглашу моего приятеля, с которым мы всю неделю обсуждали Ваши соображения относительно государства, его полномочиях и роли, — и вы будете сражаться, а я сидеть в уголке, наблюдать и слушать; это с юности мое любимое занятие — послушать умные споры.

Желаю сил, здоровья, бодрости.

Людмила

Евгений Степанов

Малый издательский бизнес на энтузиазме

I. ОБЩИЕ КРИЗИСНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Статья Феликса Сантуряна «Малый бизнес в России: прогноз навсегда» («Знамя», № 4, 2009) пробудила потребность высказаться по теме.

К сожалению, надо признать, что кризис в нашей стране (стране, в которой налицо все признаки монополистического капитализма) был неизбежен. По одной простой (не глобальной) причине: российская экономика по-прежнему громоздка и склонна к гигантомании. В России не создан институт поддержки (материальной, а главное, идеологической) малого бизнеса.

Малый бизнес в России развивается медленно и неэффективно.

Для контраста: в Японии доля занятых на малых (и средних) предприятиях в общей численности населения занимает 78%, в Италии — 73%, в Дании — 80%. В США каждая третья семья вовлечена в малый бизнес. А у нас доля малых предприятий занимает в среднем — 10—12%. Об этом, в частности, говорится в интервью с генеральным директором Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса Виктором Ермаковым (http://www.govoritmoskva.ru/economic).

Есть регионы, где этот процент значительно ниже.

Вот цитата из самого что ни на есть официального источника — с сайта Федеральной службы государственной статистики России (http://www.gks.ru): «Численность экономически активного населения к концу января 2009 г. составила, по оценке, 75,7 млн. человек, или более 53% от общей численности населения страны. Преобладающая часть занятого населения сосредоточена в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства».

А это значит, что подавляющее большинство населения работает на дядю и не является хозяевами. Это значит, что класс людей, способных отвечать за себя и свое дело, ничтожно мал. Это значит, что реформы, затеянные Горбачевым, по сути, не дали кардинального положительного результата. Финансово-промышленная олигархия в очередной раз подтвердила свою недееспособность. Бизнес, построенный на основе гигантских корпораций, летит в тартарары. При этом важно подчеркнуть, что многомиллиардные убытки, которые потерпели во время кризиса наши олигархи, — это потери не только олигархов. Это потери всех нас. Потому что сокращены тысячи рабочих мест, люди остались без средств к существованию. Вывод очевиден: сама система финансово-промышленной олигархии и менеджмент крупнейших корпораций оказались неэффективны.

И объяснять это надо, на мой взгляд, не только с экономических позиций, но и с позиций психологических. Работающий в крупной компании человек (не говорю, конечно, обо всех) имитирует работу. Его задача — сделать так, чтобы доволен был

Об авторе | Евгений Степанов — экономист, литератор, выпускник Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова (специальность «финансы и кредит»), основатель и генеральный директор холдинга «Вест-Консалтинг». Живет в Москве. Постоянный автор «Знамени».

его начальник. И все. Работа в большой корпорации — это вообще особый вид человеческой деятельности, когда львиная доля рабочего времени менеджеров тратится на бесконечные совещания, интриги, перекуры, яростную борьбу — как правило, подковерными методами! — за сохранение насиженного места и выявляет в людях далеко не лучшие качества. Бытие, как известно, определяет сознание.

В небольшой фирме интриги и «протирание штанов» непредставимы в принципе. И со стороны руководителя, и со стороны персонала.

В малом бизнесе работа нацелена непосредственно на получение финансового результата. Здесь имитация невозможна. Мелкий предприниматель работает в разы больше, чем любой вице-президент самой крупной корпорации. Потому что мелкий предприниматель работает на себя и результат своей работы видит тут же. Если он будет работать плохо, он просто разорится. Говорю все это совершенно ответственно как человек, который много лет был руководителем структурного подразделения в компании с персоналом в шестьдесят тысяч человек, и как представитель малого бизнеса: в настоящий момент я являюсь директором небольшой фирмы.

Малый бизнес развивает в людях главное — креативность, понимание того, что созидательная работа — это творчество, которое приносит радость и удовлетворение (моральное и материальное).

Вот именно на поддержку креативности в людях, деловой активности в них и должны быть, по-моему, направлены усилия государства, системы образования, института социальной рекламы и т.д.

Только тогда можно будет думать о реальном возрождении экономики.

Нынешний кризис не первый и, к сожалению, не последний.

Конечно, сразу напрашиваются аналогии с 1998 годом. Общие негативные тенденции очевидны — значительное снижение цен на мировых рынках на энергоносители, девальвация рубля, разорение многих крупных и мелких предприятий, лавинообразное увеличение числа безработных и т.д.

Похожий кризис происходил и более ста лет назад — в 1900—1903 годах, когда стагнация, начавшаяся на Западе, перекинулась в Россию. И вот об этом кризисе (и успешной попытке выхода из него!) хотелось бы поговорить подробнее.

Тогда кризис тоже затронул разные слои общества — сократился объем производства в крупных синдикатах, закрылось три тысячи небольших предприятий, на которых в общей сложности работало 112 тысяч человек.

Малый бизнес оказался близок к исчезновению.

Нужно признать, что и тогда, более ста лет назад, он был развит в России недостаточно. Более половины трудоспособного населения работало на крупных (по тем временам) заводах и фабриках с числом рабочих свыше 500 человек, шесть гигантских предприятий в нефтяной отрасти добывали 65% всей нефти. То есть и тогда мы строили монополистический капитализм, который не мог не рухнуть.

За счет чего же россияне вышли из кризиса сто лет назад?

Оздоровление экономики, начавшееся в 1909 году, специалисты связывают со столыпинской аграрной реформой. О ней написано множество книг и статей — не буду повторяться. Скажу только о некоторых принципиально важных для меня моментах. Петр Аркадьевич Столыпин делал ставку на крепких хозяев, стремясь выделить их из основной массы крестьянства. Он помогал на государственном уровне не только слабым, но прежде всего сильным, наиболее активным слоям населения, видя в них опору России.

Именно на поддержку сильного крестьянина, на яркую созидающую личность и были направлены многие правительственные указы.

В ходе столыпинской реформы крестьянам продавались земли на льготных условиях, государство покрывало значительную часть кредитов, выданных аграриям. Это делалось за счет субсидий из бюджета, в период с 1906 по 1917 год дотации составили 1457,5 млрд. рублей — астрономические по тем временам суммы.

Крестьянский банк наиболее охотно поддерживал именно крестьян-единоличников, покупавших земли в личное пользование — расценки для них были максимально приемлемые. Люди стали работать на себя. На своей земле. Используя свои средства производства.

Такая политика привела к качественному изменению в сознании. Значительно вырос процент сильных, уверенных в себе людей, умеющих принимать решения, вкалывать с утра до ночи, созидать, зарабатывать. Именно при Столыпине начал происходить отход от политики построения монополистического капитализма. Помимо небольшого количества финансово-промышленных воротил появился целый класс крепких хозяев — основа нации.

В 1913 году 79,7% покупателей, которые в Крестьянском банке приобретали земли, были единоличные крестьяне.

А до 1906 года землю в основном покупали крестьянские коллективы (общины).

Изменилось сознание народа — экономические результаты не заставили себя ждать.

В 1913 году Россия вошла в число наиболее развитых европейских стран.

Экспорт зерна из России составлял до 28,1% всего мирового экспорта.

За 1907—1913 годы национальный доход на душу населения возрос на 27%.

Люди стали зажиточнее, появилась уверенность в завтрашнем дне. И, разумеется, улучшилась демографическая ситуация. В 1907—1913 годах население России увеличилось с 149 до 171 миллиона человек.

Так было.

…Какой же путь развития выбрали мы, россияне XXI века? Что мы построили за двадцать с лишним лет после начала перестройки?

Прежде чем ответить на эти вопросы, нужно напомнить, что существует несколько апробированных и достаточно эффективных социально-экономических моделей. Наиболее известны три: либеральная, социально-рыночная и корпоративная.

В настоящий момент российскую экономику в полной мере нельзя отнести ни к одной из них.

Было бы нечестно утверждать, что мы действительно пошли по либеральному пути (когда частная собственность преобладает над государственной и является, по сути, священной). Частная собственность у нас в случае необходимости легко отбирается государством — примеров, увы, достаточно.

Мы не выстроили социально-рыночную систему, когда демократическая система управления сочетается с могучей социальной политикой государства, — социальная политика у нас носит декларативно-декоративный характер.

Мы не имеем и корпоративной модели, которая, как известно, предполагает не только активное вмешательство государства в экономику, но и наличие реально работающих, сильных профсоюзов, защищенность необеспеченных слоев населения — до «шведского социализма» нам еще очень далеко.

С одной стороны, в современной России налицо все признаки монополистического (олигархического) капитализма.

С другой — трудно избавиться от ощущения, что мы активно возвращаемся в индустриальное государство тридцатых годов XX века.

И совершенно очевидно, что мы построили общество, свободное от мелкого частного предпринимателя, в котором он существует вопреки, а не благодаря.

Мы отказались от собственных уроков истории. Отказались от опыта столыпинских реформ, забыли о фантастических успехах НЭПа — а к 1925 году в стране было 68% крестьян-середняков! Кстати говоря, столыпинская реформа и НЭП во многом перекликаются — это тема отдельного большого исследования.

Почему же он все-таки существует в современной России, этот пресловутый мелкий бизнес?

Он существует, потому что он существовал всегда. В том числе и в Советском Союзе, где были, как известно, и цеховики, и черные маклеры, и т.д. Кстати, истинные миллиардеры (а не те молодые богачи, которых мы видим в телевизоре) — оттуда, из далеко не однозначного советского прошлого. О многих из них мы ничего не знаем, потому что они предпочитают держаться в тени.

Просто есть определенная группа людей, которая не может жить по-другому. И не деньги их прежде всего интересуют, а кураж, страсть добиться успеха и воплотить задуманное в жизнь. Несмотря ни на что. Иногда ценой жизни.

Современный предприниматель — это, по сути, тоже цеховик.

У него нет поддержки государства. У него есть только формальное право (чего не было у цеховика) быть предпринимателем. И больше ничего. То, как непросто малому бизнесу получить даже кредит в нашей стране, в красках описано в статье г-на Сантуряна. А вот, к примеру, как в период кризиса обстоит с этим дело у других государств.

Президент США Барак Обама, встретившись в марте 2009 года с представителями малого бизнеса своей страны, пообещал потратить пятнадцать миллиардов на их поддержку — причем деньги пойдут именно на оживление кредитного рынка. Более того, будет увеличен объем государственных гарантий займов представителей Американской ассоциации малого бизнеса. Гарантии кредитов увеличат до 90% с нынешних 75—85%.

Это значит, что государство действительно подставляет плечо малому бизнесу, а не имитирует помощь. Министр финансов США Тимоти Гейтнер подчеркнул, что двадцать один американский банк, получающий помощь от правительства, должен будет ежемесячно отчитываться о кредитах малому бизнесу страны.

А то, что происходит у нас, мы, к сожалению, в силах представить по статье г-на Сантуряна.

Нынешний кризис (а, на мой взгляд, это не кризис, а завуалированный и хорошо кем-то спланированный дефолт в целях перераспределения рынков) нанесет (нанес) удар прежде всего по мелкому собственнику, малому предпринимателю. Им-то как раз государство и не поможет. Дерипаске и Абрамовичу — поможет, а хозяину небольшой мастерской или мини-типографии — нет.

С одной стороны, это вроде бы разумная позиция государства — нужно спасти как можно больше рабочих мест.

С другой стороны, совершенно недальновидная: власти не понимают, что деньги нужно вкладывать — не устану повторять! — в изменение сознания человека, в создание условий для малого бизнеса. В то, чтобы число активных и приспособленных к предпринимательской деятельности людей росло.

Иначе мы останемся на уровне Советского Союза, когда бизнесом (тогда подпольным) занимались единицы — те самые, которые не могут без риска и без куража. Только к реальной экономике страны все это не имеет отношения.

То есть задача перед государством стоит на самом деле гораздо более сложная, чем сохранение промышленных гигантов в качестве экономической базы. Эта задача — изменить мышление россиян, увеличить процент активного населения. От 10—12 незначительных процентов до 50—80, как во многих развитых странах.

Если этого не сделать, нас ждет, к сожалению, неплохо известная модель социально-экономического развития — это индустриализация тридцатых годов XX века. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

II. ПРОБЛЕМЫ НЕБОЛЬШОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

Расскажу о своем опыте. Я занимаюсь изданием прозаических и поэтических книг, литературных журналов и другой печатной продукции десять лет. Издательство небольшое. Работает в нем пять человек в штате и около двадцати на договоре. Выпускаем мы порядка пятидесяти книг в год, ежемесячный журнал поэзии и прозы регионов России «Дети Ра», журналы авангардной литературы «Футурум АРТ», «Другие», литературно-художественные ежеквартальники «Крещатик», «Зинзивер» и газету «Литературные известия». Все эти проекты — заведомо убыточные. Мы и не собирались на них зарабатывать деньги.

Как выжить? Шансов, прямо скажем, немного. Налоговых послаблений (а ведь мы занимаемся гуманитарными благотворительными проектами!) государство нам не делает. Если бы Холдинг «Вест-Консалтинг», который принадлежит мне, не занимался другими масштабными проектами (в частности, консалтингом крупных фирм, производством WEB-сайтов и рекламой), издательство существовать бы не смогло.

Государству — так, увы, получается! — небольшой издатель не нужен. Оно его не поддерживает. Хотя, по идее, поддерживать должно. Потому что литература призвана сеять разумное, доброе, вечное и делать людей добропорядочными гражданами. Некоммерческий издатель — в идеале! — партнер государства. Но так сейчас не происходит.

Приходится делать попытки выживать с продаж. Однако прокормиться с розницы крайне затруднительно. Тиражи хороших, качественных книг (стихов и прозы) в лучшем случае достигают пятисот экземпляров, а на самом деле гораздо меньше. Продать даже пятьсот экземпляров — крайне проблематично. По ряду причин. И здесь мы опять упираемся в гигантоманию отечественной экономики. Дело в том, что ведущие магазины (например, «Москва», МДК, «Библио-Глобус», «Молодая гвардия») не принимают на реализацию книги от мелких издательств. Они их принимают от крупных посреднических организаций, например, таких, как ООО «Корф у Сытина» или «36, 6».

В институте посредничества нет никакого греха, кроме одного. Цена книги неизбежно растет. Посредник ставит наценку 100 процентов, затем наценку добавляет магазин. Это — еще закономерные 50 процентов. В итоге, если книга изначально стоила сто рублей, на прилавке большого магазина она появляется за триста. И вполне может оказаться неконкурентоспособной по цене.

Так было до кризиса. И год назад, и два, и три, и четыре, и пять. Во всяком случае, все мои попытки пятилетней давности наладить сотрудничество напрямую с такими гигантами, как «Москва», МДК, «Библио-Глобус», не увенчались успехом. Но сейчас-то ситуация вроде бы изменилась. Казалось бы — кризис, крупные магазины должны бороться за каждого поставщика, каждого покупателя, снижать цены, находить новые консалтинговые решения. Ничего подобного.

В апреле 2009 года я сделал еще одну попытку наладить сотрудничество с крупными магазинами напрямую. Пришел в офис магазина «Москва», который находится на Тверской, 8, стр. 1.

Не буду передавать деталей своей краткой и неутешительной беседы с товароведами Н.С. Антоновой и В.Н. Быковой. Суть проста. Милые женщины порекомендовали мне работать, как и прежде, через посредников, в частности, через ООО «Корф у Сытина». Логика их проста и понятна. Она заключается в том, что с крупными поставщиками им работать удобнее.

— Мы им заказали книги — они тут же привезли. А как вы работаете, мы не знаем, — сказали мне очаровательные и, видимо, не привыкшие себя излишне утруждать товароведы.

Спорить я с ними не стал. И доказывать ничего не стал. Я, конечно, сдам книги в большие магазины через ООО «Корф у Сытина». Я это делаю уже много лет. Но цена, повторю, на книги неизбежно возрастет. Вот и все. Пострадает, как всегда, потребитель. То есть читатель. Он будет покупать книги по завышенной цене. И, разумеется, выбор у читателя будет невелик. Большие магазины все-таки берут на реализацию преимущественно заведомо успешные книги.

Куда же податься?

В столице есть несколько магазинов интеллектуальной литературы, которые принимают такую продукцию на реализацию. Это оплот некоммерческого издателя. Продажи, например, поэтических сборников нашего издательства в небольших магазинах (скажем, в «Фаланстере») даже выше, чем в «Москве», МДК или в «Библио-Глобусе». Парадокс? Нет, не парадокс. В маленький магазин приходит подготовленная публика, хорошо знающая, ч т о ей нужно.

К сожалению, даже в Москве (не говорю уже про другие российские города) ничтожно малое количество таких магазинов. По сравнению с другими европейскими столицами мы отстаем в разы. Именно магазины интеллектуальной книги (равно как библиотеки) во многом создают культурную среду. Именно им должно помогать государство. Но помощи нет. Некоммерческие магазины арендуют свои площади по рыночным ценам (что, конечно, в корне неверно) и еле-еле сводят концы с концами. Нищенское положение приводит к тому, что некоторые магазины не всегда, скажем так, галантны с поставщиками.

Я знаю один довольно известный магазин, который за шесть лет сотрудничества с моим издательством не выплатил нам ни рубля. А мои попытки получить деньги от двух видных культуртрегеров-продавцов, мелькающих в последние годы на многочисленных тусовках, всегда вызывали с их стороны внимательное сочувствие и полное нежелание расплатиться. Сначала в магазине (по заверениям продавцов) сломался кассовый аппарат, потом злополучный магазин и вовсе сгорел. Когда его отстроили заново, трогательные партнеры обещали «решить вопрос». Но воз и ныне там.

Этот пример, конечно, нехарактерен. Но факт остается фактом: от выручки в небольших книжных магазинах издательство сейчас жить не может в принципе. Это нереально.

Что же остается делать?

Издавать книги за счет средств авторов? Есть, конечно, и такой способ выжить. И, нужно признать, подобной практикой занимается немало некоммерческих издательств. Но это уже вольная или невольная дезинформация читателя, обман…

Уповать на гранты? Но их, как известно, на всех не хватает.

Не слишком вдохновляющая ситуация и в журнальном сообществе. Распределительная система, о которой мы так негативно высказывались в конце 80-х годов, по-прежнему работает и процветает. Кто-то имеет дотации и всестороннюю государственную помощь, кто-то не имеет ничего, кроме энтузиазма…

Фактически — будем называть вещи своими именами! — мы вернулись или стремительно возвращаемся в эпоху самиздата. И если бы не было Интернета, многие современные произведения по-прежнему ходили бы в списках.

Я уже говорил о тиражах некоммерческих книг. Скажу о тиражах литературных журналов. Знаю несколько очень известных и качественных литературных журналов, входящих в престижное интернет-сообщество «Журнальный зал», тираж которых составляет 100 (сто!) экземпляров. Сто экземпляров на весь русскоязычный мир… Печатное журнальное слово — если не принять кардинальных мер! — вполне может исчезнуть.

А как обстоит дело с небольшими типографиями?

Небольшие типографии в Москве закрываются рекордными темпами.

Несложно понять, почему.

Из чего складывается себестоимость полиграфической продукции?

1. Аренда.

2. Зарплата.

3. Расходные материалы.

Москва становится неконкурентоспособной на этом рынке. Потому что здесь за офис в 33 квадратных метра я должен платить, например, в районе «Дмитровской» — сорок пять тысяч рублей, а где-нибудь в Вышнем Волочке — десять тысяч рублей. И зарплата в Москве в области полиграфии минимальная тридцать тысяч рублей, а в Вышнем Волочке — семь тысяч.

При одинаковой цене на расходные материалы, при том, что у всех сейчас работают одинаковые печатные станки, естественно, издательства будут размещать заказы на периферии.

…В чем нуждается предприниматель? Во-первых, в средствах — это мы уже обсудили. Во-вторых, в офисе, в производственном помещении. Это очень важно. Ну почему бы властям не предоставлять офисы в аренду по реальным (а то и заниженным!) тарифам? Неужели нет таких возможностей? Ведь это выгодно государству — появятся новые рабочие места, предприниматели будут платить дополнительные налоги.

Доводов можно приводить много. Но что толку?

Государство, предоставив гражданам формальное право заниматься частным издательским делом, не предоставило для этого никаких возможностей. В итоге профессия некоммерческого издателя становится дорогостоящим хобби увлеченных и состоятельных людей. Слава Богу, пока энтузиазм и деньги есть.

Анатолий Ключников

Двадцать лет спустя

В статье А. Хасия и В. Мироновой «Когда помощи ждать неоткуда» (Знамя, 2009, № 4) я с изумлением прочел такой пассаж: «Государству тому [СССР] не хватало качественных товаров, но оно было защищено от глобального кризиса, который мы наблюдаем сейчас. При всей абсурдности организационных мероприятий по поддержанию эксклюзивного положения отдельной категории руководителей, при всех оговорках, экономическая модель СССР обеспечивала возможность трудоустройства всех граждан страны, а значит — обеспечение их стабильным доходом, образованием, здравоохранением... Увы, мировой экономический кризис — это состояние, в котором экономическому положению людей в советском государстве многие будут завидовать, и взгляд на него будет пересматриваться».

Позвольте мне маленький мемуар на тему «нехватки качественных товаров», которая преподносится как вполне терпимый пустячок по сравнению с мировым кризисом — я хочу напомнить, что именно мы собираемся пересматривать. Потому что, если на эти рельсы, к тому же хорошо нами накатанные, стать, сойти с них будет очень трудно. А можем ли мы сегодня представить, чтобы двадцать лет в стране не происходило *никаких* изменений? А ведь именно это и представлял собой Советский Союз на протяжении всей моей сознательной жизни, разве что появились кассетные магнитофоны вместо катушечных и тяжеленные цветные телевизоры, в то время как японские уже можно было вешать на стену. Представьте сегодня: зашли вы в гастроном, а там прилавки-холодильники завалены одним кулинарным жиром, открытые прилавки — рыбными консервами и супами в пакетиках, в бакалейном отделе — опилки вместо чая и конфеты-подушечки по праздникам. А ведь это так и было, и совсем недавно. Сектор «победившего колхозного строя» был представлен нечищеными крупами, томатной пастой, некоторыми видами закусок, где запросто можно было найти почерневшую капусту с крошками земли. Наше автомобилестроение уже и не пыталось разработать свою марку автомобиля, «КамАЗ» и «Жигули» мы купили вместе с конвейерами, а вездеходным грузовиком продолжал оставаться ЗиЛ-157, срисованный с американского «студебеккера» в эпоху товарища Сталина. И вот в XXI веке нам предлагают пересмотреть свое отношение к оплоту стабильности, в котором мы выросли.

Знаете, когда в нашем городе двадцать лет подряд ходили одни и те же слабосильные, тихоходные, раздолбанные автобусы, воняющие бензином, я думал: то ли это новые, то ли я на них еще в детстве катался… В течение двадцати лет — никаких кризисов, потому что и *развития никакого*: «общественные работы» на колхозных полях, деревянные телевизоры, которые «японцы будут покупать потому, что у них самих древесины маловато»; страна все никак не могла обеспечить малые города домашними телефонами, в то время как в других странах уже появилась *сотовая*

Об авторе | Анатолий Викодьевич Ключников родился в 1968 году, окончил Московский авиационный институт, инженер-математик. Одиннадцать лет работал на нефтедобывающем предприятии в Татарстане. Живет в г. Лениногорске (Татарстан), работает консультантом в московской компании. Прошлая публикация в «Знамени» — см. № 7 за текущий год.

связь. Алюминиевая или чугунная посуда, ненадежная, громко тарахтящая бытовая техника. Нет, была и надежная, конечно: поклонники власти Советов показывают на холодильники, которые действительно работали по тридцать—сорок лет, но при этом умалчивают, что они почему-то малы по размеру, хотя именно советские люди имели привычку запасать еду впрок. А еще эти «ЗиЛы», «Миры», «Свияги», «Юрюзани» обрастали в морозилке коркой льда. Сначала моя мать в нашей «Свияге» лед ковыряла, потом, когда мама стала старой, я начал — вот такая была преемственность поколений… Ладно, с мелочами (вернее, без них) мы как-то справлялись, ручку сковороды можно было и тряпкой обмотать... Но если, к примеру, нужно было ремонт в квартире сделать — так хоть плачь: обои продавали таких расцветок, какие не смогут схалтурить даже китайцы, а бумага желтела за пару месяцев. Если ты решил не клеить обои, а просто красить стены — опять неувязочка: в магазине продавали только синюю, зеленую и коричневую краску, причем таких тонов, что не в каждой тюрьме красить будут.

Краска половая, как можете догадаться, вообще была жутким дефицитом, а ведь у нас, в малом городе союзной республики, не Москва, полы были дощатые, а не паркетные, их красить было необходимо. Вот мы и привезли из Самары на руках шесть трехкилограммовых банок краски, так как сумки-коляски были таким же дефицитом, как и все, что в них возят, «советские люди на такси не ездили», да и не было тогда такси в малых городах. Сейчас такое кажется пещерной дикостью, и мне самому хорошо помнится, но с трудом верится, что когда-то не только стройматериалы, но и колбасу, рыбу, кулинарные и бакалейные изделия я возил из крупных городов на поездах и рейсовых автобусах, таская все это на руках до боли в шее…

Глядя на современные российские магазины в *провинции* и мысленно сравнивая их с магазинами, которые были при СССР в *Москве*, я твердо верю слухам, что советские люди в зарубежных магазинах падали в обморок или метались по ним, как затравленные зайцы.

И в чем же был великий смысл хваленого советского планирования, если в итоге не получалось ни количества, ни качества? Как такое планирование сможет помочь стране в период кризиса? Только в том смысле, что населению придется вспомнить свой прежний опыт: не тратить деньги на «предметы роскоши», покупать дешевую одежду и обувь, снашивать их до дыр, а потом надевать на работу. И снова заняться огородами, чтобы не «завидовать экономическому положению советских граждан».

Это я тоже вспоминаю совершенно без ностальгии, хотя огородники проявляли прямо-таки чудеса самоорганизации: строили пруды, ставили насосные станции, тянули водопроводы по огородным участкам. Качали воду, ремонтировали водопровод, чистили пруд, строили будки и заборы. А потом, в конце огородного сезона, несколько недель шли разговоры о том, кто, сколько и чего засолил, замариновал, наварил — все делились рецептами. Люди готовили *десятки* трехлитровых банок, которые таскали в подвалы, отгружали в погреба в своих гаражах. Потом, зимой, все эти банки соответственно поднимались из гаражей и погребов, тащились обратно…

После перестройки все это было заброшено, в магазинах появилась закуски по доступным ценам, а сейчас среди производителей соков, вин, закусок все больше и больше российских. Где теперь набрать достаточное количество людей, согласных в *выходные* дни в земле ковыряться, получая за это овощей на мизерную сумму, чтобы собрать из них садово-огородническое общество? За овощами нужен постоянный уход: поливка, прополка сорняков. Кстати, многие ли из читателей представляют, что это такое: перетаскать хотя бы половину «КамАЗа» навоза с дороги в огород носилками, ведрами, тачкой? А без такой работы мичуринских урожаев не дождешься… Вот и охладели люди к огородам, как только в магазинах и на рынках появился богатый выбор продуктов питания. Водопроводы, насосы, металлические столбы оград порезали и сдали на металлолом. А больше там ничего и не было: в малых городах на земельных участках не строили домиков, пригодных для ночлега, — у нас не было традиции в выходные дни жить за городом , потому что в малых городах

нет потребности в свежем воздухе, а до любого огорода можно добраться пешком максимум за час.

Видел я в апреле 2009 года в телевизионных новостях сюжет, как раз иллюстрирующий предложение авторов статьи переходить на огородничество. Там рассказывалось, что желающим в городах раздают семенной картофель, выделяют им участки под посадку, учат правильно сажать этот самый картофель. М-да, огородники… А подумали, где будут хранить собранный урожай? Мы в СССР хранили его в подвалах жилых домов, но сейчас пошли такие теплые зимы, что картофель даст ростки уже в ноябре — и все, пропал ваш урожай. Можно еще ссыпать картофель в погреб в гараже, который находится на краю города, но зимой эти гаражи заметает до крыши, так что ворота вручную откапывать приходится. Как ни крути, но выходит, что горожанам лучше заниматься индустриализацией, а не сельским хозяйством.

Когда-то М.С. Горбачев озвучил цифру: уровень жизни нашего населения отстал от развитых стран «в среднем в пять—шесть раз». Подразумевается, что это много. А мне интереснее поразмышлять, почему только в пять—шесть, а не в *десять*. А потому, что наши люди ***сами*** поддерживали свой уровень жизни, своими руками. В малых городах организации брали в аренду колхозную землю, и горожане сами сажали все ту же картошку, на колхозы не надеясь. Они содержали сады-огороды, общая площадь которых превышала площадь самого города, после работы бегая на полив грядок, а в воскресенье — на прополку.

Все советские детишки ходили в *самодельных* шерстяных варежках и носках, а в магазинах теплых носков не продавали — зачем, если нет проблем? Женщины вязали еще и шарфы, и кардиганы, и свитера — догадайтесь, что в магазинах не продавали ни мотков пряжи, ни клубков шерсти. Где же это бралось на *десятки миллионов* человек?!! А просто были в городах умельцы, как моя мать, которая в ванной заливала кипятком шерсть, купленную в деревне, и стирала, а воду при этом, казалось, ножом можно было резать, до того она была грязная. Потом пряла на педальной самопряхе, возраст которой перевалил за ***сто*** лет, перематывала многократно пряжу (я, понятно, тоже этим занимался) — долго расписывать всю технологию, но я все помню. Двадцать лет я наблюдал одно и то же: шерсть, стирка, вонь, пряжа, перемотка, вязание, продажа, мусор в квартире после прядения…

А как вам нравится то, что мужики, у кого были свои машины или возможность использовать служебную, ездили в деревни за мясом? Вот только трехкамерных холодильников тогда не было, мясо хранили на балконах — теперь, когда зимы стали теплые, такое уже не пройдет. Кстати, многим ли из читателей приходилось рубить мясо? Ну или хотя бы отрубить голову гусю?

А сколько «общественных работ» перелопатили потребители плановой экономики: и сбор урожая на колхозных полях, и уборку улиц, и высадку саженцев вдоль трасс! В нашем городе со всех предприятий посылали работников на подсобные работы в Камышлинскую котельную, лично я там месяц кирпичи подносил, когда отрабатывал производственную практику от своего техникума. Это я еще легко отделался, а ведь кому-то пришлось ехать по комсомольской путевке в Казахстан на целину, а кому-то — под радиацию в Чернобыль по списку от военкомата. При том что защитные костюмы для работ под радиацией стали выпускать только после этой аварии.

Говорят, в СССР люди крепче дружили. Да, потому что дружба помогала при посадке, окучивании, уборке картошки: две-три семьи сделают работу в два-три раза быстрее, и не так устаешь, хоть и должен потом тоже помочь. Бабы вместе ездили в деревню за шерстью, мужики — за мясом. И система «ты — мне, я — тебе» постоянно работала, ведь всем приходилось постоянно «доставать» ту же мебель, одежду, обувь… Один что-то доставал, другой умел чинить радиоаппаратуру — вот так и работала взаимовыручка. Когда все то, чем люди занимались десятки лет, стало просто не нужно, поменялось и мировоззрение. Советский народ перестал существовать, когда не стало *советского* быта! Поэтому, когда вы, господа, предлагаете нам вернуться к основам советского быта, вы понимаете, в кого мы превратимся? Да-да, в тех самых забитых жизнью «совков», уставших от решения бесконечных мелких и крупных проблем и давок в очередях.

Никакой ностальгии по прошлому у меня нет: советский народ прожил свою историю крикливо, бестолково, нерационально — врагам на потеху, оставив после себя негибкое производство, когда смена одного вида продукции велась *годами,* и которое невозможно было оперативно перестроить, поэтому оно почти все развалилось. Остались только памятники героям, которые подавляюще действуют на психику. Мне больше всех нравится в Москве групповой памятник возле метро «Улица 1905 года»: как будто конная милиция разгоняет фанатов «Спартака», а они машут флагами и баннерами...

Мой город Лениногорск, Республика Татарстан, всегда считался нефтяным городом, даже тогда, когда в нем работало два *военных* авиационных предприятия с численностью работников большей, чем численность в обоих наших НГДУ. Упомянутая «экономическая модель», которая «обеспечивала возможность трудоустройства», в обычном разговоре называется гораздо проще: «гонка вооружений». Так как эта гонка — чисто затратное удовольствие, если страна не имеет дивидендов в форме трофеев и контрибуций от побежденных врагов, то расхваливать подобную «модель» надо очень осторожно.

Когда в СССР при внешнем долге в $120 млрд. потребовалось сокращение гонки вооружений и конверсия для тысяч заводов, КБ и НИИ, они оба закрылись, при этом «агрегатно-механический» агонизировал свыше десяти лет. Неудивительно: они были не лидерами отрасли, а всего лишь филиалами казанских заводов, и как их было спасти, если у СССР вместо денег был только внешний долг, никаких планов конверсии заранее не составлялось, про «гибкие технологии» только что-то смутно слышали, не было никакого опыта коммерческих отношений, не было умения ориентироваться на рынке и не было даже пустяковой литературы по бизнесу? У нас одно время даже была самая высокая безработица в Татарстане. Ко всему этому надо еще добавить, что те предприятия, которые имели шанс выжить, но не имели *настоящего* хозяина, были банально разворованы и закрыты. Да, эти 90-е годы были лихими во всех смыслах. Но…

Если при СССР все никак не удавалось обеспечить все квартиры телефонами, то теперь любой человек среднего достатка может позволить себе компьютер с Интернетом. Хоть высшее образование и стало платное, но спрос на него резко возрос — в нашем городе появились филиалы казанских вузов. Если при СССР на предприятиях записывались в очередь на покупку автомобиля, то теперь их развелось столько, сколько прежде тараканов не было. Раньше поездки на курорт были проблемой, люди ездили «дикарями», а теперь отдых на *заграничных* курортах стал заурядной вещью.

Сейчас можно и работать, и подрабатывать после работы, в то время как раньше брать деньги за свои услуги люди и боялись, и стеснялись, поэтому брали *поллитрой*. Но, сами понимаете, возможностей подработки в провинции немного, поэтому подработку найдет только *неленивый* или мастер *высокой* квалификации, и это справедливо! Главное — что можно, и никто ничего тебе за это не скажет.

«Советская власть» все раздавала и раздавала жилье бесплатно десятки лет, а последние бараки у нас в городе ломали уже после перестройки. Был снесен огромный квартал «домов барачного типа» между улицами Ленинградская, Жданова (Садриева), Лермонтова и последний барак на улице Школьной. Там теперь стоят современные дома. Как видите, «антинародный режим» в моем городе в целом справился с задачей защиты наших прав в получении работы, образования, отдыха, жилья. Он не держал население впроголодь: оно даже огороды побросало и вспоминать о них не хочет!

У нас возле города при Советской власти были сделаны искусственные озера. И только после перестройки дошли руки их спустить и почистить, выложить набережную плиткой, превратив их в место, где действительно можно погулять. В центре города с крыш убрали гнилой шифер и поставили там цветной профнастил, а это стоит *миллионы*. Стали ставить профнастил на школы, детские сады, на дома с протекающей кровлей, которую раньше ***бабы*** годами заливали гудроном летом при жаре, и все без толку. Можно сколько угодно говорить о том, что сейчас люди не уверены в завтрашнем дне, что реформы беспощадно срывают их с насиженных мест

(меня тоже сорвали) и т.п.; но, глядя на количество магазинов и сервисных фирм после перестройки и количество покупателей, я понимаю, что деньги у людей ***есть***, а все остальное — демагогия.

Сравнивая то, что было, с тем, что стало, я не могу не признать огромных достижений «антинародного ельцинского режима», и мне совсем не хочется даже на минутку становиться советским человеком, даже на время преодоления кризиса. Поэтому пассаж, которым заканчивается статья В. Мироновой и А. Хасия: «Особого внимания заслуживает менталитет российских граждан. Он позволяет не только предельно сконцентрироваться на достижении самых масштабных целей и задач, но и поделиться своим опытом с другими», мне, мягко говоря, не нравится. Чему мы уже можем учить других? Тому, как можно организовать народное хозяйство, где «никому ничего не надо», и поэтому оно выпускает халтурную продукцию, некоторые виды которой еще и в дефиците, и чтобы за это никого не увольняли? При этом напряжение в работе продолжалось десятки лет, труд воспевался, за него давали грамоты и награды, а население в итоге перебивалось с карточек на талоны. Едва ли кому будет нужен такой опыт.

Я думаю, не к нашему опыту нужно обращаться за помощью, а к заокеанскому: как их руководители смогли преодолеть Великую американскую депрессию? Хотя может и не помочь, и тоже по «китайской причине»: у них там ситуация гораздо проще в том смысле, что не надо в корне ломать мировоззрение — этот самый «менталитет граждан».

Олег Шаталов

Пскопские

ЛЕТОМ ДЕВЯНОСТОГО

В деревушку Станки мы въехали по следу шедшего перед нами бульдозера. То есть дороги здесь раньше практически не было, поэтому мало кто забирался в эти места на крайнем юго-западе Псковщины, почти на границе с Белоруссией и Латвией. Добраться сюда можно, свернув с трассы Москва — Рига в районе города Пустошка на укатанную грейдером лесную дорогу, а километров через тридцать — еще раз налево, а там уже — за бульдозером…

За окном «жигуленка» проплыл полуразвалившийся дом. Потом еще два дома по обе стороны дороги, явно жилые — с огородами, хозпостройками и баньками на участках. Дальше было заросшее травой холмистое пространство, по которому протекал узкий ручеек, пропущенный мелиораторами под дорогой. Метров через двести на пригорке около дороги стояла одинокая изба, которая и стала нашей собственностью. Навалившись на крышу избы, лежали два огромных тополя, позади дома находился запущенный яблоневый сад, посаженный сразу после войны. Тогда же, после войны, и дом этот был построен на месте землянки. За садом — пожня, то есть давно не паханный луг, целина.

Еще метров через двести по дороге — последний дом в этой деревне, тоже обитаемый. А дальше, по обе стороны дороги, — поля, за ними — то отходящий от дороги, то приближающийся к ней необыкновенно красивый лес, стоящий не ровной стеной, а с изгибами, выступающими островами и прогалинами.

С трудом вытаскивая сапоги из грязи, мы как-то добрались до мелиораторов, работавших в заболоченном поле, — они копали канавы и закладывали в землю дренажные пластмассовые трубы для отвода влаги. Должен сказать — это у них получилось, поля теперь сухие, и гады, как называют здесь ядовитых змей, в основном гадюк, практически исчезли, одни ужи остались. На полях начали либо что-нибудь сеять, либо выращивать траву на силос, либо просто пускали туда пастись колхозных коров. (Давно уже никого не пасут.) Мелиораторов мы попросили оттащить от дома поваленные тополя, что они очень быстро и сделали — техника была у них мощная. Денег взять отказались, сказав, что выпить с нами бутылку водки — красная цена за такую работу.

Об авторе | Олег Петрович Шаталов родился в 1938 году, окончил физфак МГУ, кандидат физико-математических наук, работает в Институте механики МГУ, занимается молекулярной физикой. Автор около сотни научных статей. В «Знамени» публикуется впервые.

От автора | На шоссе Москва — Рига, у поворота на Великие Луки, долго висел большой плакат с портретом президента и словами из его речи: «Псковская область — это бурно развивающийся регион с большой перспективой развития…». В этом регионе я и живу в свободное от работы время с 1990 года. Иногда, с многолетними перерывами, я делал записи о событиях и людях, ставших мне близкими. Теперь, сложив вместе эти записи, я обнаружил, что последовательной хронологии в них нет. Но, может быть, это не важно.

Четырехстенок шесть на шесть, сложенный из толстых бревен, с русской печкой, разжигающейся с одной спички, оказался в удовлетворительном состоянии. Крыша, естественно, протекала, но это уже мелочи.

Через день пошли к тем же мелиораторам, попросили тракториста вспахать нам несколько соток за домом, а то пожня оказалась такой твердой, что лопата в нее не втыкалась. Назавтра, проезжая на работу мимо нашего дома, тракторист заехал и к нам и перепахал все что можно, не тронув яблони. От денег опять же отказался, сказав, что лучше бы выпить и поговорить, может, мы ему расскажем, что же это за перестройка такая у нас там в Москве.

Общение с новым человеком в этом удаленном от мира месте стоит намного дороже водки. Телевизор там есть практически в каждом доме, но новый человек, да не из соседнего Невеля, Великих Лук или Пустошки, — это вам не телевизор. Похоже, пока мы не сроднились, для местных жителей мы были вроде иностранцев, или циркачей, или заезжих лекторов из общества «Знание», на которых смотрят со смешанным чувством недоверия, любопытства и превосходства.

Деревня, кажется, не возражала против нашего приезда. Высокий худой мужик Иван Антоныч Никитин, живущий в последнем доме, помог нам сделать крыльцо, чтобы в дом можно было входить, а не вползать, принес дрова для печки. Старушка по имени Тоня принесла яиц, сала, молодой и даже помытой картошки и сообщила первоначальные сведения об окружающих людях и пространстве.

Метрах в двухстах от нашего дома стояла заброшенная конюшня стойл на двадцать—тридцать. Лошадей в ней давно уже не было, но слой утрамбованного и давно перепревшего навоза превышал полметра. Правда, подъехать туда с прицепом можно было не в любую погоду, и, когда я впервые попытался это сделать, крепко увяз. На помощь мне пришли все тот же Антоныч, худой усатый мужик с малиновой сеткой сосудов на щеках и очень пожилой невысокий старик, опиравшийся на палку. Это было практически все мужское население деревни. Да и все население вообще легко было пересчитать по пальцам: у Антоныча была жена, с ними жил ее сын Колька, мужик лет сорока пяти. В доме справа при въезде в деревню жили Туловские, Лилька и Мишка, ему за шестьдесят, ей лет на пять меньше, крепкая бездетная пара с большим хозяйством, скотиной, огородом, картофельным полем на сорок соток. Напротив них — тоже бездетная пара Шарепо: упомянутая Тоня лет под семьдесят (поэтому Тонькой я ее называть не могу) и ее глухонемой муж Петя (в деревне глухонемого никто Петькой не назовет) — на десять лет старше, руки у него сильно тряслись. Скотину они уже держать не могли, только куры, козочка, летом свинья — зимой и весной у них было отличное сало. Старик с палкой и мужик с усами — это и были Петя с Мишкой, пришедшие вместе с Антонычем выталкивать мою машину.

После войны, когда кто-то вернулся из Германии, а кто-то вышел из лесов и отстроился, в деревне было семнадцать домов, растянувшихся по обе стороны дороги, была конюшня с лошадьми, начальная школа, за выходящими на юг окнами моего дома был небольшой, но кирпичный магазин, остатки кирпичей от которого я до сих пор собираю для всяких мелких надобностей. В пятидесятых — шестидесятых годах в деревне устраивались ярмарки. Пекли пироги, пели песни.

Теперь поем только мы — в чей-нибудь день рождения или после посадки картошки. А собравшиеся у нас по этому поводу односельчане подтягивают. (Подтягивали, когда я это писал — лет семь тому назад. Теперь уже не подтягивают. Да и картошку мы больше не сажаем.)

Разговаривать с местными поначалу нам было трудно. И акцент у них какой-то свой, непривычный, псковский, и половина слов непонятны — *пожня, копань, клевелы, лехи, торовать*… Говоришь, как с иностранцами. «Я после похорон Ксении Карповны такие халтуры устроила!» — рассказывала Демьяновна. «Халтуры» — это поминки. Я поначалу думал, это какие-то белорусские или латышские слова; потом посмотрел у Даля — нашел почти все, с примечанием «*местн., пск.*».

И с обращениями у них свои особенности, впрочем, принятые, кажется, и во многих других русских деревнях. Антоныча никто никогда Иваном Антоновичем не называл. Ванька — и все. И в лицо, и за глаза. В лучшем случае — Антоныч. И брат

его, Алексей Антонович, муж Демьяновны из Авинища, так до смерти и оставался Лешкой. И Тоська, и Нинка, и Колька, и так далее. Впрочем, большинство из них одного возраста, так что это, может быть, еще с детства пошло. Ко мне же как прилипло имя Пятрович (у них звук *е* как *я* произносится), так я им и остался навсегда. Если кому-нибудь со стороны надо пояснить, кто я такой, так и надо говорить: Пятрович из Станков. Про такого слышали, а представишься по-другому — не поймут.

Тех, кто помоложе, и подавно по отчеству звать не пристало. Их просто *мальцами* зовут. Только Петю глухонемого все зовут Петей, да я иногда Петром Андреевичем — но тогда не все понимают, о ком идет речь.

И только двух человек здесь всегда звали по имени-отчеству. Это Зоя Петровна, бывшая хозяйка нашей хаты, живущая на центральной усадьбе Шалахово, и Ксения Карповна из Авинища. Потому что были они учительницами, и все послевоенное поколение окрестных деревень было их учениками или родителями их учеников. Хотя обе эти женщины давно не работали, каждая из них всегда могла войти в дом к председателю или иному местному начальнику и сказать ему все, что считала нужным. А каждый трактор или грузовик, проезжая мимо них по дороге, всегда останавливался, и водитель предлагал подвезти.

АВТОЛАВКА, «МАКСИМКА» И ЛИСИЧКИ

В радиусе трех километров есть еще три—четыре такие же деревни. Недоезжая примерно километр до Станков — Блиново, домов десять. Еще километра на три ближе к центру, уже на хорошей грейдерной дороге (большаке) — Житниково, а потом — Шалахово, где находится правление колхоза, объединяющего все эти деревеньки. На обочине большака стоит памятник, вернее, просто огороженная бетонная плита, на которой выбиты фамилии местных крестьян, расстрелянных немцами во время войны. Здесь раз пять встречается фамилия Никитины, несколько раз — Шарепо, Харлашовы, три или четыре строчки — Туловские, есть еще десятка два фамилий. Во всех окрестных деревнях — одни фамилии, здесь почти все родня.

Если пройти мимо моего дома и дома Антоныча дальше по грунтовой дороге, укатанной вначале мелиораторами, а теперь осенью и весной разбиваемой лесовозами, то километра через полтора придем в Авинище. Населения там не больше, чем в наших Станках.

Трудно передать словами то удивительное чувство, которое испытывает, вероятно, каждый горожанин, когда он идет по проселку ранним утром в тишине, нарушаемой лишь пением почти невидимых в высоте жаворонков, с прозрачным, как в горах, воздухом, с непередаваемыми запахами цветов и трав и театральными декорациями то приближающегося, то уходящего от дороги леса.

Как-то весной мы с Ваней из Авинища собирали брусничный лист и строчки, он всю дорогу комментировал: «Вот здесь деревня Барсуки была. В нее немцы согнали людей из соседних деревень и всех сожгли в сарае за помощь партизанам. А вон там немцы поймали двух наших разведчиков, подвесили их на деревьях и развели под ними костер. А вот на этой поляне тоже была деревня, ее перевезли, когда укрупняли колхозы, одна баба Клава не уехала, так и жила, ее яблони до сих пор вон на том пригорке видны. А в том окопе я рвал найденные в лесу гранаты, когда пацаном был и за коровами ходил. А это место — «Гремячий мост» называется, здесь вода вкусная». И так далее…

А дальше Авинища — уже сплошные леса с черникой, брусникой, грибами. Сколько же там этого добра! А какие клюквенные болота! Леса в основном сосновые, мшистые и холмистые, как вся пушкинская Псковщина. Леса эти изрыты окопами, траншеями и ямами, в которых, видимо, стояли орудия.

Дорога же, разбитая лесовозами, идет все дальше в глубь леса. В хорошую погоду по ней приезжают на «Жигулях» парни из Белоруссии. В объезд всех постов и застав парни эти снабжают местное население водкой, по цене куда более низкой, чем в местной торговой сети. Градус у нее до сорока заметно недотягивает, но зато вкус такой, будто пьешь чистый ацетон.

На центральной усадьбе, по подсчетам Зои Петровны, есть шестнадцать точек, где в любое время дня и ночи можно купить эту водку в бутылках с фирменными закручивающимися пробками и наклейками «Столичная», «из лучших сортов…» вдвое дешевле, чем в магазине. А если в Шалахове самопальной водки случайно не окажется, то ее вам продадут в Столпове или в Козырях. И, как ни ругалась бывшая учительница с местным милицейским начальством, те только улыбались, хоть и знают они эти злачные точки. А в деревнях умирали от этого зелья ежегодно два-три человека.

В последние пару лет, однако, ситуация изменилась. В хозяйственных магазинах в пятилитровых пластмассовых бутылях стала продаваться незамерзающая жидкость для омывания стекол. Зовут ее здесь «Максимка». Умерло в ближайших селах от «Максимки» уже восемь человек, но заставить не пить это зелье даже ближайших знакомых невозможно. Они точно знают, что напиток этот вдвое дешевле магазинной водки, что они пьют его регулярно и, как видите, ничего, пока живы. Правда, у сына Демьяновны Володьки ноги уже отнимаются, и сам он какой-то дурной стал, так и пил-то он совсем уж неумеренно…

А скупают парни из Белоруссии по дешевке клюкву и лисички, которые, говорят, перепродают потом куда-то на Запад. Этой возможностью продавать лисички, которых бывает много и которые растут чуть ли не все лето, люди здесь дорожат. Для такого промысла каждый имеет свой заповедный участок и действительно зарабатывает вполне прилично. Кто похозяйственней, может на холодильник или на телевизор лисичек насобирать, а мужики, которых немного, но все безработные, надолго лишаются заботы достать денег на водку. По ценам 1998—1999 годов закупочная цена на лисички менялась от трех рублей за килограмм в разгар сезона до 40 рублей осенью, когда их было уже мало. Летом 2007 года их закупали по 50 рублей. Лето было засушливое, грибов было мало. Осенью 2000 года мы видели лисички на небольшом базарчике в окрестностях Парижа, где я был в командировке. Уж не знаю, откуда они там взялись, из псковских ли лесов или поближе, но вид у них был квелый, а стоили они около 1000 рублей за килограмм в пересчете на наши деньги.

Километрах в шести на север от наших Станков стоит деревня Столпово. Туда один раз в неделю даже автобус из Пустошки приходит. Деревня красиво расположилась над озером Язно, которое можно объехать по лесной дороге, но можно пересечь и на лодке, намного сократив путь до города Невель, который для большинства местных жителей является как бы местной столицей. До него намного ближе, чем до Пскова.

Если же, едучи из центра, не сворачивать в наши Станки, а проехать дальше на запад по насыпной дороге, то, миновав холм под названием Мамочкина Горка и клюквенное болото, широким кольцом окружившее озеро Удебно, попадем в деревню Гусино, стоящую над озером с тем же названием.

Жило в Гусине от двух до шести человек, в зависимости от сезона. Летом иногда добавлялись немногочисленные дети и внуки. Но что-то в последнее время не вижу я людей из Гусина. Внуки выросли, а оставшиеся в живых старики уехали к детям в города.

В отдалении есть и другие мелкие деревеньки, но связь с ними почти отсутствует.

Невдалеке от центральной усадьбы Шалахово — кладбище, на котором вся округа хоронит. Кладбище тихое, лесное. Чуть дальше находится необыкновенной красоты лесное озеро Неведря с прекрасным песчаным пляжем, абсолютно пустынным.

Насыпная дорога здесь называется «линия», и является она частью многокилометровой насыпи, местами уже разрушенной. Строилась эта насыпь заключенными еще до войны и, кажется, должна была соединить железнодорожным полотном западную границу и Великие Луки. А может, куда и дальше шла бы — не достроили. Что-то вроде известной «Мертвой дороги» между Салехардом и Дудинкой.

Вот, пожалуй, и вся география.

Здесь нет церквей. Ближайшую построили в Пустошке в 1999 году. Летом 2005 года капиталист местного масштаба, владелец нескольких фур, живущий на центральной усадьбе, своими руками начал строить у входа на кладбище деревянную

часовню, приезжавший из Пустошки батюшка освятил это место, осенью уже крышу крыли жестью.

В Шалахове есть фельдшер, ветеринар, клуб, два сельмага. Но за восемь километров из нашей деревни в сельмаг не набегаешься, а потому главным снабженческим и одновременно культурно-массовым мероприятием для Станков и окружающих населенных пунктов является приезд автолавки по понедельникам и четвергам. (Сейчас еще и молочная лавка по вторникам ходит.)

Автолавка — это удивительное и непонятно почему все еще живущее явление. Когда колхоз практически развалился, шоферам и пастухам годами не платили зарплату, а автобусы из Пустошки ходили один или два раза в неделю, — в деревеньки наши продолжали ездить автолавки, спасая живущих в полном одиночестве стариков и старух. Раньше автолавки возили хлеб, водку, мыло, уксус, «Беломор» и кильку в томате. Теперь килька пропала и является, кажется, лучшим угощением, которое можно привезти с собой из Москвы. Но зато появились «ножки Буша», бананы и ликер «Амаретто». «Амаретто» при мне никто никогда не покупал, но у Демьяновны в Авинище мне предложили закусить американскими куриными окорочками. На меня это произвело сильное впечатление. Хозяйка крепкая, у нее большое хозяйство, вокруг дома копошатся куры и гуси, хрюкают свиньи, блеют овцы, а окорочка гостю на закуску — американские!

Автолавка для деревенских — не только магазин на колесах, но и повод пообщаться хотя бы раз в неделю. За час, а то и за два до приезда автолавки подтягиваются к нам в Станки люди из Блинова, Гусина, из Авинища, а то и из Житникова. По одному, по двое, кто пешком, кто на телеге, дачники — на велосипедах. Идут, причесавшись, принарядившись, как в клуб или на праздник. Когда к автолавке с мешком для хлеба выходит Лилька прямо от плиты или от какого другого хозяйства — в своей обычной рабочей одежде, — это всегда бывает замечено с неодобрением. Сидят на лавочке перед Тониным домом, говорят о редких свадьбах и частых смертях; обсуждают, что за родственники приехали к Толику в Гусино и как же напился пастух Володька, если не заметил, что у него сгорела баня; выясняют, где уже начали сажать или копать картошку...

Картошка — одна из важнейших забот в деревне. Ее деревенские едят сами, кормят ею скотину, снабжают городских родственников. Каждый двор, если он может еще держать хозяйство, имеет по крайней мере сорок соток картофельного поля, а у Демьяновны из Авинища, что меня окорочками кормила, таких картофельных полей два или три. (Но и родни у нее в Невеле изрядно).

А потому вопрос, сажать ли нам картошку, даже не возникал — это как-то само собой разумелось, без нее же нельзя. Весной пришел к нам Антоныч с лошадью, телегой и плугом и спросил, где будем копать. С навозом проблемы не было, а несколько ведер рассады нам дали соседи. Антоныч пахал, мы с собравшимися соседями в количестве от четырех до шести человек закладывали в борозду рассаду, моя жена Маша готовила стол.

Так получилось, что в тот и последующие годы мы открывали сезон посадки картошки, потому что времени у нас было — майские праздники. Потом надо было возвращаться в Москву. Но не сажать картошки нельзя, а открытие сезона — это праздник. Работа занимает от силы час, а потом все идут в дом веселиться. Мужики, когда пьют, едят очень мало и из еды явное предпочтение отдают упомянутой выше кильке в томате. Женщины, как правило, не пьют, но с интересом пробуют салаты и другие гастрономические изыски, на которые моя Маша большая мастерица. Так что у нас получается не просто застолье, а дегустационный сеанс. Интерес этот у женщин чисто академический, сами они непривычную еду готовить не будут, но едят с удовольствием и обсуждают живо. В деревне еда простая: хлеб, суп, яичница с картошкой, зажаренная на свином сале. Еще жарят оладьи и едят со сметаной. Второе обычно едят все вместе из одной большой сковороды, причем ложками. «Не нужна мне твоя вилка, — взмолился как-то у меня пастух Володька, — я ею гоняю гриб по всей тарелке, а поймать не могу, дай мне ложку!»

Когда Антоныча не стало и коня его забрали в колхоз, пахать картофельное поле к нам приезжали Шура и Толик Туловские из Гусина — родня нашего Мишки Тулов-

ского. Когда Шура повесился в приступе белой горячки и его колхозную лошадь тоже забрали, одну весну мы пахали с парнем из Блинова, потом — с Мишкой-дояром из Житникова, потом — с Ванькой, сыном Демьяновны из Авинища, или с ее зятем Гришкой, когда он приезжал из Невеля. А потом уже не пахали.

Мишка-дояр, маленького роста, коренастый, очень деловитый, с живыми горящими глазами, раньше работал на дойке коров в блиновском отделении колхоза, потому дояром и прозывался. Имея лошадь, подрабатывал с ее помощью, пел — просто здорово, но если выпивал лишнего, то становился дурным и буйным. А потому с ним всюду ездила его жена, крупная, сурового вида женщина, которая, кажется, в то время уже не работала. Несколько лет назад она почти скоропостижно умерла. От рака, как многие здесь умирают. А Мишка уволился с работы, потому что зарплату в колхозе все равно тогда не платили, а без жены с хозяйством управляться, будучи работающим, не мог.

ДОМ АНТОНЫЧА

Дом Антоныча — в конце деревни. Раньше, может быть, он был и не в конце, но сейчас-то осталось всего четыре дома, включая наш, и его — самый дальний. Двор всегда был чисто убран, и дорожка от калитки уложена плиткой, и если на этой плитке появлялись оставленные курицей следы, он сразу же брал в руки метлу и восстанавливал чистоту дорожки. Была и другая скотина, корова, небольшая пасека, колхозная лошадь, за содержание которой ему платили семь рублей в месяц и с помощью которой он обслуживал не только себя, но и всех окружающих: возил навоз и дрова, пахал огороды, ездил на центральную усадьбу в магазин, в правление или к фельдшеру, в Пустошку за комбикормом — ну да мало ли на что нужна лошадь в деревне.

Антоныч прошел всю войну, на которую попал в шестнадцать лет. Когда недалеко от Станков немцы согнали в сарай жителей соседних деревень и подожгли, среди этих людей был и шестнадцатилетний Ванька с родителями. Как-то ему удалось выскочить, убежать в лес и спастись, родители погибли. Потом он с армией дошел до самого Берлина, где встретил своего брата Лешку, ставшего потом мужем Демьяновны из Авинища. Потом отстраивал свою деревню. Потом работал бригадиром, пока при Хрущеве не выложил на стол партийный билет, отказавшись сажать кукурузу — ее в этих краях отродясь не сажали. И стал простым колхозником, а потом и колхозным пенсионером.

Когда мы появились в Станках, он был еще крепок, строен и носил черную фуражку, которую не снимал, кажется, никогда. Я его видел в этой фуражке в любую погоду и непогоду, за столом и даже спящим. А без нее — только на очень старой фотографии.

Антоныч никогда не курил и сурово осуждал курильщиков, утверждая, что лучше выпить лишнего и потом проспаться, чем постоянно травить себя этим дымящимся зельем. Водку пил не закусывая, при этом всегда держался с достоинством, твердо стоял на ногах. «А зачем я еще живу, ковыряясь во всем этом дерьме, если не чтобы выпить и отдохнуть?» — говорил он. За столом он по-детски радовался моему тосту «Ну, вперед!», который, видимо, напоминал ему что-то из молодых военных лет.

Летом 1996 года он стал резко худеть, хотя, кажется, и худеть-то ему было некуда. Почти совсем перестал есть. Его увезли в Невель, где жила его дочь с семьей, месяца через три он умер от рака легкого. Дочь Лидка у него была от первого брака, та жена умерла задолго до нашего приезда, тоже от рака.

Лидка к Антонычу в Станки не приезжала, а зять приезжал, хотя и нечасто. Когда, не поворачивая головы, он проходил по дороге мимо наших окон с неподвижно опущенными вдоль туловища руками, смотря прямо перед собой, ореол почти театральной трагичности как будто окутывал этого человека. Как почти все местные этого поколения, он был безработным, подкармливался, как мог, у Антоныча, пил не закусывая и, похоже, ничего большего и не хотел. Умер он после Антоныча, кажется, через год, и тоже от рака.

(Что-то много здесь рака. Я привез с собой радиометр, обшарил с ним все, что только смог, — ничего, везде нормальный фон 10—12 микрорентген в час. Только в печке, где скопилось много золы, уровень подскочил до 50 микрорентген. При сжигании дров следы тяжелых металлов не улетучиваются с дымом, а остаются в золе.)

У второй жены Антоныча, Екатерины Ивановны, по-деревенски Катьки, — городской, из Невеля, — был взрослый сын Колька, который пил, гулял, дрался, и, в общем, жить она с ним вместе в Невеле не могла, а потому лет десять назад согласилась выйти замуж за вдового к тому времени Антоныча и переехала к нему в Станки. Нервы у нее были — совсем никуда. Что вызывало у нее неожиданные слезы, не всегда и поймешь. Понятно, впрочем, что и ежедневный подъем чуть свет для дойки коровы, и варка месива для свиньи, и слабеющий с возрастом хозяин, которого все чаще привозила лежащим поперек телеги в мертвецки пьяном состоянии привычная ко всему лошадь, — все это не компенсировалось для Екатерины Ивановны свежим деревенским воздухом, изобилием парного молока, черники, грибов и клюквы. К тому же ноги у нее болели, до хлева все труднее было дойти, не говоря уже о лесе.

Никогда не забуду, как зашел я к ней как-то осенью попрощаться перед отъездом в Москву и спросить, не привезти ли чего оттуда, а она заплакала:

— Пятрович, стыдно мне просить тебя об этом, но очень надо.

— Что надо-то? — спрашиваю.

А она говорит:

— Видишь, ноги у меня совсем отнимаются, ходить не могу, мне бы к Кашпировскому, а Антоныч даже к врачу в Невель не пускает — корову не на кого оставить.

Кашпировского в то время часто по телевизору показывали...

Колька ее в это время перебрался из Невеля к ним. Работы в Невеле не было, а здесь — картошка посажена. Рыбак он отличный — каких щук приносил с озера! А когда лисички идут, так вообще он, можно сказать, счастливый человек, сам себя обеспечивает, как и все, кто ходить может. Парень он был веселый, добродушный и доброжелательный. Но когда пил, остановиться не мог.

Пришел он ко мне как-то осенью после сбора картошки с Антонычевым конем и пристегнутой к коню бороной, волочащейся зубьями по земле, в состоянии сильного перенедопития — это когда выпил больше, чем мог, но меньше, чем хотел.

— Пятрович, — говорит, — у тебя поле еще не бороновано, надо бы это сделать до твоего отъезда.

— Да куда тебе сейчас бороновать, Коля, — говорю, — отдохни уж лучше, я пойду сам с конем похожу по полю.

Колька сел за стол, положил голову на руки и тут же заснул, а я натянул сапоги, вышел, взял под уздцы коня и час-полтора водил его по полю. Потом отцепил борону, отвел коня в усадьбу к Антонычу, привязал к столбу. По дороге заметил корову, привязанную цепью к вбитому в землю крюку. Явно недоеную, потому как уже темно, а она еще в поле, а не в коровнике.

Повел домой и поспавшего Кольку. Остановился он у забора, стал нервно дергать молнию на брюках — не получилось, он махнул рукой, побрел к хате. В хате по одну сторону печки спала Екатерина Ивановна, по другую, в полной амуниции и неснимаемой фуражке, — Антоныч, тоже, видимо, сильно уставший за день. Колька сбросил галоши, надетые на босу ногу, полез на печку. Из штанин в галоши закапало. Я разбудил Антоныча, сказал, что коня-то я привел — лошади меня почему-то слушаются; но с коровой справиться не могу, потому что она непослушная и бодается, может и убежать, а сейчас мычит как недоеная, и надо бы ее забрать.

Антоныч встал. Прямой, как жердь, злой и усталый, он очень конкретно высказал, что обо всем этом думает. Но оставить недоеную корову в поле он не мог и потому пошел надевать стоящие у печки Колькины галоши. Я его предупредил, что там сыро. Он мне ответил коротко и понятно, надел галоши и вышел из дома.

В Невеле у Кольки осталась подруга, которая его не забыла и периодически наведывалась на выходные. Тогда Колька запрягал Антонычеву лошадь и ехал встречать подругу на озеро Язно, где с той стороны переправлял ее на лодке знакомый мужик, который и сейчас подрабатывает перевозкой через озеро приезжающих людей.

Колька встречал подругу на берегу, а поскольку места там красивые и пустынные, они сразу же начинали отдыхать. Бывало, свидание проходило слишком бурно, заканчивалось дракой, и Колька возвращался домой один, а подруга уезжала обратно в Невель. Иногда они возвращались с озера вдвоем и какое-то время жили у Антоныча в доме.

Однажды они так вот жили и вдруг обнаружили, что надо бы съездить в Шалахово, в магазин, потому что истощились запасы. Запрягли лошадь и поехали. Подробностей я не знаю, не было нас в это время в Станках. Но соседи рассказывают, что, помимо прочего, купили они в Шалахове шесть бутылок водки и изрядно выпили по дороге домой, после чего занялись выяснением отношений. Повздорили они, похоже, крупно, потому что приехала домой подруга сильно побитая. Но, как выяснилось, и она дала Кольке хороший отпор. Поленом. Прямо по голове. И, как оказалось, насмерть. Привезла она его в Станки уже мертвым, а от Житникова, где они подрались, до Станков — всего четыре километра. Попыталась затащить на печь, но сил не хватило и шуму наделала много. Антоныч проснулся, все понял. Отнесли они Кольку в сарай. Дня через три знакомый врач из Невеля дал справку, что Колька умер от отравления алкоголем.

Ноги у Екатерины Ивановны после Колькиной смерти совсем распухли, с коровой она не могла уже справляться — пришлось отдать корову в соседнее Блиново, куда Антоныч стал по утрам ходить за молоком. А когда и Антоныча не стало, Екатерину Ивановну забрала в Невель сестра. Там она все больше лежала в постели. Однажды привязала один конец капронового чулка к железной спинке кровати, второй обмотала вокруг шеи и сползла с кровати...

После смерти стариков начал часто приезжать в Станки и жить в доме Антоныча его внук Андрей, недавно отслуживший в армии под Москвой, в известной дивизии имени Дзержинского. Говорил он по-городскому, вежливым вкрадчивым голосом, и был единственным здесь, кто называл меня по имени-отчеству, не знаю уж, откуда он их узнал. Он опрятно одевался и любил рассуждать о пустоте и примитивности окружающего мира. Разговор оканчивался обычно предложением купить у него бензопилу, комбайн для сбора клюквы или какой-нибудь иной инструмент из обширного хозяйства, оставленного Иваном Антоновичем. Бывали просьбы и попроще, вроде одолжить до завтра десятку, но поскольку десятка назавтра никогда не возвращалась, повторять этот фокус много раз оказалось невозможным.

Такие разговоры Андрей вел не только со мной и не только в Станках, в результате в доме Антоныча вскоре ничего не осталось. К Андрею стали наезжать на мотоциклах совсем уж сомнительные личности, веселье в доме продолжалось часто до утра. Как-то пытался он часа в три ночи пробиться ко мне в дом, колотя в двери и окна и требуя ему помочь, потому что горючее к этому времени кончилось, а запал еще оставался. Я сказал ему, видимо, что-то неласковое, потому что он больше ко мне не ходил.

Работать на грядках или в курятнике Андрей не хотел, поэтому не прошло и года, как кормиться в доме Антоныча ему стало нечем, и он перестал приезжать. Говорят, жил у матери в Невеле, нигде не работал, попадал в истории и, кажется, лечился от белой горячки. Потом начал работать на обувной фабрике, но за воровство попал на год в тюрьму, откуда вышел с туберкулезом прямо в больницу.

А мать его, Антонычева дочка Лидка, стала все чаще появляться в разоренном отцовском доме и, выйдя на пенсию, переехала сюда со своим новым спутником, которого здесь за глаза звали бомжой. Она — высокая, худая, как отец, ходит в брючках, вид имеет озабоченно-суровый. До переезда в Станки работала в Невеле, торговала в каком-то ларьке. А спутник ее невысок, коренаст, с гладко зачесанными назад волосами. Раньше волосы были туго стянуты на затылке в косичку, теперь развеваются по ветру, красно-рыжие. Говорит, что в городе, в старой семье, у него было две иномарки, что дядя у него — главный прокурор Калининграда, а сам он имел две торговые точки в Невеле. Но с торговлей прогорел и теперь промышляет в основном сбором оставшихся в лесу после войны стреляных гильз на предмет сдачи цветмета, а также рыбалкой, продажей багульника, лисичек и клюквы.

Теперь уже вроде бы и неправильно называть их с Лидкой бомжами, потому что они постоянно живут в Станках, а с 2007 года остались единственными обитателями нашей деревни.

ПАСТУХИ

Володька-пастух появился году в девяносто пятом. Было ему 35 лет, был он не очень крупным, но очень ладно сбитым парнем, в трезвом состоянии нрав имел жизнерадостный. В армии он служил механиком, в двигателях разбирался. Рассказывал, что родился и жил где-то недалеко от Невеля. Отец умер, мать вышла замуж второй раз. Однажды отчим зарубил жену топором, а Володьку выгнал, и тот болтался по окрестным псковским деревням, пока не прибился к нашим Станкам.

Тогда в деревне жил в ничейном полуразрушенном доме человек в очках по фамилии Халепа. Работал он пастухом в местном отделении колхоза после отсидки за что-то. Одно стекло у его очков было расколото и покрыто трещинами, я все говорил ему, что надо бы стекло вставить правильное, а то глаз совсем испортит, но он отмахивался. Потом Халепа исчез куда-то.

Володька у него в помощниках был, и все звали его Халепенок. Когда Халепа исчез, Володька вместо него стал пастухом. Только бросил он это дело, поскольку в колхозе зарплату ему не платили полтора года. Нарубив кому-нибудь дров, поработав на сенокосе, отремонтировав крышу старикам или зарезав свинью старушке в соседней деревне, он всегда имел гарантированный обед и бутылку, чего служба в колхозе ему не давала. От нерегулярного питания и контрабандной белорусской водки его мучили рези в желудке, и перед выпивкой он всегда съедал половину столовой ложки соли, говоря, что лучшего лекарства не знает.

Было невозможно уговорить его поехать к врачу, но таблетки он охотно глотал любые. Был необидчив, получая отказ на стандартную фразу «Пятрович, я знаю, ты мне сегодня не откажешь», не обижался. Может, потому что всегда находил место, где ему не отказывали. Как многие в этих краях, начав пить, он не мог остановиться, и тут уже не было силы, способной сдержать его в поисках выпивки, и он пил, пока не отключался где-нибудь, хорошо, если в чьей-нибудь хате, а то и на дворе, и в поле, и в лесу...

То ли после убийства матери, то ли само по себе, с психикой у этого молодого, красивого, неунывающего парня было неладно. Он даже лежал в психушке под Великими Луками. Чем дальше, тем сильнее развивалась в нем, отчасти показушная, тяга к самоубийству, в хмельном состоянии возрастающая, особенно если накладывались еще какие-нибудь дополнительные факторы, а таковые обычно накладывались.

Полюбил он продавщицу из Пустошки, а та давно не приезжала, потому что — либо в магазине у нее ревизия, либо с мужем отношения напряженные, либо телефон по случаю дождя не работает. (Мобильников тогда еще не было. Однако проводной телефон в доме у Мишки Туловского был, я даже в Москву и из Москвы звонить мог; только вот когда погода сырая или дождик идет, провода где-то коротили, и связи не было). Так вот: телефон не работает, до Пустошки более 30 километров, а подруга нужна сейчас же немедленно — Володька хватает нож, который всегда под руками, и начинает себя резать. Грудь у него вдоль и поперек разрисована белыми шрамами. И запястья. Однажды он так резанул себе вены, что ему едва ли удалось бы выжить, если бы его случайно не обнаружила в доме Антоныча зашедшая туда Тоня. Телефон в этот день работал, и Володьку спасла «скорая помощь», прикатившая из Пустошки. Потом он говорил мне, смеясь, что уж ежели ему в тот раз не удалось покончить с собой, то в следующий раз он будет резать себя не по рукам, а по горлу.

Жил Володька-пастух сперва с Халепой в заброшенном доме на краю деревни, а после смерти Антоныча переселился в его пустующий дом, но, когда туда начала приезжать дочь Антоныча Лидка, она Володьку выгнала, и он перебрался к Тоне. Тоне было с ним трудно, но и помогал он ей крепко — и дров нарубит, и воды из

колодца натаскает. А колодец неблизко, метров 200—300 до него, и никакого журавля над ним нет, руками надо ведро тянуть. А когда в сухую погоду воды в колодце мало — это непросто.

В октябре 1999 года, когда я уже уехал из Станков с грибами, клюквой и картошкой, приехали какие-то «изыскатели» не то из Тулы, не то из Курска, не то еще откуда-то, человек десять. Сначала копали что-то недалеко от кладбища в Неведре. Местные ребята решили, что они могилы раскапывают, припугнули их, и те быстренько убрались. Но недалеко. Отошли километров на пятнадцать, прошли нашу деревню, деревню Авинище и дальше, километра через два—три, в лесу стоянку устроили. Как я уже говорил, леса в этих краях все вдоль и поперек траншеями и окопами перерыты, и, хотя уже 60 лет после окончания войны прошло, траншеи эти сохранились в нетронутом, можно сказать, состоянии, только травою и мхом заросли. Фронт здесь стоял несколько месяцев, наши и немцы на расстоянии 600 метров в окопах друг против друга сидели.

А пришельцы с миноискателями стали эти траншеи прозванивать и копать. Мы на следующий год ходили вдоль этих траншей, видели в них свежевыкопанные ямы и ямки, разбросанные котелки, каски, металлические ящики, россыпи полусгнивших пулеметных патронов... Пришельцы искали снаряды и выплавляли из них тол. Продавать или рыбу глушить. Прямо на костре, на открытом огне выплавляли. Когда приехала милиция, невдалеке от костра нашли палатку, а в ней — запасы крупы, хлеба, батарею бутылок водки и несколько брикетов переплавленного тола.

Что делал с ними Володька, не знаю, скорее всего — просто сошелся с новой компанией. У них — еда и водка, и люди новые, а им он полезен был как проводник. Как-то сидел он у костра, когда выплавляли тол из очередного снаряда. Снаряд взорвался — взрыватель, видимо, там сохранился. Володьке осколок попал прямо в сонную артерию.

Похоронили его на кладбище Неведря.

Спустя примерно год был я опять в Станках. Гляжу — подходит парень из соседней деревни, из Блинова. Шел он из леса с пакетом лисичек и с увесистым рюкзаком за спиной.

— Что несешь? — спрашиваю.

— Да вот, — говорит, — гильзы от ППШ, килограммов двенадцать в окопах накопал, их здесь как цветной металл принимают. Но земли целый самосвал, наверное, перекидал, устал.

Промысел продолжался.

Еще через год пастухом был какой-то новый, не известный мне человек интеллигентного вида, сильно смахивающий на профессора-пенсионера. Стадо-то мимо моего дома каждое утро проходило, и он как-то зашел, попросил воды.

Прошло еще несколько лет, и стада у нас здесь не стало. Оставшихся коров собрали в одно небольшое стадо в центральной усадьбе в Шалахове.

ПРОТИВНИКИ

В окне нашего дома, выходящем на запад, видны на пригорке три старые яблони — глядя на них, Тоня Шарепо рассказывает, что раньше там стоял дом ее матери. Отец Тони был глухонемым, и как-то это повлияло на то, что и ее заставили выйти замуж за глухонемого Петю. Она не хотела, но вышла. Было это давно, до войны. Когда пришли немцы, она ждала ребенка. Ребенок родился в лесу, в землянке, зимой и умер от воспаления легких через несколько месяцев после рождения. Больше детей у них не было.

После войны они вернулись в свою хату. Жизнь налаживалась, деревня отстраивалась. Работала Тоня продавщицей в магазине. Однажды нагрянула ревизия, обнаружилась недостача — не хватило нескольких бутылок водки. Тоню посадили, года два она отсидела в тюрьме. После тюрьмы Тоня уже не работала.

А муж ее Петя — небольшого роста, с густой кудрявой седой шевелюрой, он в свои уже сильно немолодые годы с почти детским интересом рассматривает, обхаживает, щупает все новое вокруг себя — смотрит, как я копаю грядки, какая у меня электробритва, какой бампер у моих «Жигулей» и как мы ободрали стены в своей избе. Он в пятилетнем возрасте упал, кажется, с печки и лишился слуха. На лбу у него — глубокая вмятина. Если бы он жил в городе, его, вероятно, научили бы говорить и понимать по губам, но он в городе не жил и говорить не научился. Это Тоня научилась разговаривать с ним знаками. А чтобы делать крестьянскую работу — слов не надо.

Как и все деревенские мужики, Петя умел все. Подаренное мне коромысло, сделанное его руками, — очень удобное, и каждый раз, отправляясь за водой, я мысленно благодарю Петю.

Тоня, когда режет поросенка или курицу, несет кусок соседям, кусок мне, кусок родственникам в соседнюю деревню, так что непонятно, что же остается у нее для себя.

Она никогда не бывала у врачей и очень их боится, считая, что, если попадешь к доктору, то это конец. Как-то я уговорил ее съездить со мной в Пустошку к врачу, потому что голос у нее стал садиться, а на шее появилась какая-то опухоль. Может быть, щитовидка, может быть, еще что-то. Доктор прописал ей адельфан — таблетки от давления, которое, вероятно, подскочило у нее от волнения, — и отпустил с миром. Я, к сожалению, увидел этот адельфан только когда мы вернулись обратно в Станки, но заставить Тоню съездить к врачу еще раз не было уже никакой возможности.

Одевается она, я бы сказал, кокетливо: яркий платок на голове, бусы, цветастое платье. С удовольствием за столом песню подхватит, если знает слова, или с интересом слушает незнакомую. Но вот стала она выпивать, изводя на это всю пенсию, а то и продавая запасенную на зиму картошку, что приводит в сильное волнение ее немощного Петю, у которого еще сильнее начинают трястись руки, и он плачет.

Последнее время жил у них в хате Володька-пастух. Было с ним нелегко: ел он вдвое больше, чем они с Петей вместе, и буйный был, когда пьяный, но зато и помогал он по хозяйству как следует. Тоне уже трудно работать, Петя совсем не помощник. «Все гнемся, гнемся, и все для этой кишки», — с досадой вздыхала Тоня. А когда приезжала из Пустошки ее родственница, у которой с Володькой была большая любовь, и уходили они с Володькой на несколько дней жить в пустующий Антонычев дом, Тоня каждое утро и вечер носила им и собаке Антоныча в кастрюльке что-нибудь поесть.

Но родственница заболела и перестала приезжать, Володька подорвался в лесу, и у Тони стали селиться какие-то новые люди. Женщины ходили собирать осенью клюкву, а весной багульник, отвозили продавать все это в Пустошку, вырученные деньги тут же пропивались.

От колодца до Тониного дома метров двести, и последние год-два таскать воду из него она уже не может. И последнего поросенка уже года три тому назад зарезала, тяжело с ним возиться. Одно время воду таскал ей Володька-пастух, пока жив был, а теперь Тоня собирает с крыши дождевую воду, в дни же приезда автолавки воду приносят пришедшие к лавке из соседних деревень люди. «Кому мы таперь нады», — с грустью говорит Тоня.

Когда в пустую Антонычеву хату переселилась его дочка Лидка со своим Володькой, стали они помогать Тоне таскать воду и рубить дрова, но и пьют они тоже вместе. Причем они-то помоложе, а Тоня от них отставать не хочет... А ведь и Пете еще надо помогать, он уж и с койки почти не слезает, по ночам будит Тоню, чтобы ведро подала... Часто я вижу, выглянув на улицу посреди ночи, что у Тони в окнах горит свет. То ли Петя ее позвал, то ли просто заснули, забыв погасить...

Осенью помогали мы Тоне собирать картошку. Стайка Лилькиных кур и гусей, перейдя дорогу, ковырялась вместе с нами, выискивая червяков на перепаханном поле. Вечером слышу — бранятся. Наутро зашел я к Лильке за молоком, а она как расшумится. «Эта воровка, — кричит, — недаром в тюрьме-то сидела, а

теперь вот у меня курицу украла! Я к этому делу тонко подошла! Сперва нашла перья в мусорной яме, потом выяснила, что у Тоньки как было пять курей, так и есть, а моя-то пропала! Здесь уж все ясно, я-то к этому делу тонко подошла!» Тем же вечером, закончив собирать Тонину картошку, сидели мы у нее за столом, человек пять—шесть: Тоня, Лидка с Володькой, я, две пришедшие помогать женщины из соседней деревни. Тоня смеялась: «Уж если бы я украла у нее эту курицу, то не стала бы, наверное, ей куриные перья под окна выбрасывать…». На столе стоял самогон, какая-то наливка, купленные в автолавке паштет, колбаса и консервы. Зажаренная в печи с картошкой курочка тоже была на столе. Но мало ли откуда может оказаться на столе курочка, тем более что народ-то из трех деревень собрался, и все почти родственники...

Весной 2002 года я с неделю пытался прозвониться в Станки к Лильке — спросить, что привезти с собой на майские праздники и вообще, как они там. Лилькин голос я слышу, а она меня — нет. Связь такая. И вдруг раздается звонок, звонит Зоя Петровна из Шалахова, говорит, тоже неделю не могла ко мне пробиться. А полторы недели назад неожиданно умерла Тоня. Беспомощного Петю увезли в больницу в Пустошку. Через три дня умер и он. Лидка занималась их похоронами.

Остались в деревне только Лидка с Володькой и Туловские — Лилька с Мишкой.

Когда мы появились в Станках, Мишка еще трактористом работал, а Лилька уже не работала — все больше у плиты, в коровнике или в огороде возилась да с Тоней через дорогу переругивалась. Мишка — мужик еще не старый, жилистый, только вот спина у него болит так, что уже несколько раз попадал он в больницу. А теперь еще и плечи стали болеть, косить стало трудно. Он усат, худ, щеки красные от близких к поверхности кожи сосудов. Чем-то мне он очень симпатичен, какой-то открытостью, что ли, деликатностью и готовностью всегда помочь.

Лильку Мишка взял в жены из Язно по ту сторону озера. Она оказалась не из здешнего круга родственников и влиться в этот круг так и не смогла. Образование у нее десять классов, что для деревни немало, знает много ученых слов, в основном из сферы сельского хозяйства и медицины, почерпнутых, по-видимому, из популярных изданий. Поэтому, наверно, и несколько свысока относится к окружающим. Строго судит нынешний нравственный уровень молодежи. «Сейчас все секс да секс, — говорит, — а вот в наше время… Мишка за мной сначала три года ходил, только потом поженились». Сейчас она получает минимальную пенсию, а раньше работала почтальоном.

Хозяйство у них немаленькое — и корова, и лошадь, и огород, и 40 соток картошки. Непонятно, зачем столько — на двоих-то. Ведь только сена сколько накосить и настоговать надо для этой скотины. Тем более что делать все это приходится в основном одному Мишке. Лилька все больше командует или у плиты стоит. Любит при этом похвастаться, какая у нее нынче крупная картошка или какие отличные лепешки она умеет печь. Картошка у нее действительно всегда хорошая, крупная. И лепешки вкусные.

В молодости, говорят, Лилька бойкая была. И выпить могла крепко, и от Мишки куда-то убегала. Но детей у них не получилось, так и остались вдвоем. Пьянство Лилька теперь сурово осуждает, хотя на Мишку это не очень-то действует — окончив сенокос, он может на день-другой сбежать в Гусино и отдыхать там со своей родней. Любит он и у меня иногда посидеть в доме или на лавке перед домом, поговорить о жизни.

Грибы он успевает осенью пособирать, но летом лисичками не занимается, времени нет. Лилька же не только в лес не ходит, но и к нам через дорогу обычно заходит только попрощаться, снабдить в путь десятком яиц или заказать в Москве какие-нибудь семена. Если и выходит за калитку, то либо к автолавке, либо поругаться через забор с Тоней, если ее куры в Лилькин огород залезут. Тоню она вообще сурово осуждает. И за то, что у нее коровы нет, и за пьянство, и за то, что чужих в дом жить пускает.

Здоровье у Лильки неважное — и желудок, и печень, и гипертония. Прошедшую зиму она долго лежала со всем этим в больнице, а теперь вот уколы надо де-

лать, но фельдшер из Шалахова не хочет ездить к ней каждый день, а сама Лилька тоже не ходок.

— Ну, — говорю я ей, — давай, поделаю я тебе уколы, пока не уехал. В вену я колоть не умею, а в мышцу — запросто. Шприц-то у тебя есть?

— Есть, — отвечает, — и лекарство для уколов есть.

Пришел я делать укол.

— Шприц-то прокипятить бы надо, — говорю.

— Я про стерильность все понимаю, — отвечает Лилька, — вон, шприц в кастрюльке уже полчаса варится.

Глянул я на этот шприц. Емкость — кубиков на двадцать, а вколоть надо было не больше двух. И скрипит как-то — вода, в которой он кипятится, с песочком. Взял иглу — совсем растерялся. Толщиной она была в полпальца, а длиной — сантиметров десять.

— Лиль, — говорю, — а нет ли у тебя иголочки поменьше?

— Да нет, — говорит, — это самая маленькая. Этой иглой ветеринар телке вымя прокалывал и мне ее оставил.

— А спирта хоть капля есть, чтобы место укола протереть?

— Нет, — говорит, — откуда? Есть только муравьиный.

Спирта в этот раз и у меня не было, а что такое муравьиный спирт, я не знал. Пришлось принести дистиллированной воды, запасенной для автомобиля, и использовать ее для протирки обрабатываемой поверхности.

Наконец все было готово. Улеглась Лилька, я протер место укола и сделал точный удар иглой в верхнюю внешнюю четверть ягодицы. А игла не вкалывается! Толстая и тупая очень. А сильно ударять я боюсь, игла очень длинная, как бы до кости не проколоть.

Вколол я ей этот укол с третьей попытки, ранку ваткой с дистиллированной водой протер. Ничего, обошлось, Лилька молодец, даже не охнула. Потом уж я съездил в Шалахово, одноразовых шприцев купил, и даже спирта немного мне дали…

Прошло еще года два-три, Мишка совсем слаб стал. Увезли его в больницу в Пустошку, оттуда переправили в Великие Луки. Съездили мы к нему туда, поговорили с врачом. Врач ничего хорошего не пообещал, сказал, что отказывают и печень, и почки. К зиме его отпустили домой, потом он опять попал в больницу, там и умер. Оставшись одна, Лилька как-то пережила зиму, а по весне наняла грузовик и уехала из деревни, перебравшись на другую сторону озера Язно, где жила до замужества.

Дом стоит пустой, все вокруг зарастает бурьяном.

Напротив, через дорогу, стоит пустой полувыгоревший дом Тони и Пети.

В деревне остались только Лидка с Володькой. Промышляют лисичками, клюквой, рыбой. Подумывают, не переселиться ли, хотя бы на зиму, в Пустошку.

Александр Цыганков

На улице Юровского

Недалеко от реки, у подножия большого городского холма, на улице Юровского, стоял старинный двухэтажный особняк.

Этот особняк трудно вписать в число архитектурных памятников. В начале двадцатого века такие постройки были типовыми. Проекты разрабатывались в Петербурге. И подобные купеческие дома росли по всему необъятному пространству от Волги-матушки до Амура-батюшки. Дом как дом, да ходили и о нем свои легенды. Но все когда-нибудь проходит, а все, что из дерева, только век стоит...

В советские времена бывший купеческий особняк превратился в самый обыкновенный четырехквартирный дом со всеми элементами социалистического общежития. Каретник поделили на хозяйственные постройки, высокий забор разобрали на доски для перегородок, на месте цветущего сада разбили огороды. Само здание перестроили, приспособили под новую планировку. Лишние детали убрали. И если бы не крепкий лиственничный сруб на каменном основании да не высокие резные наличники на окнах, он ничем не отличался бы от бараков первой пятилетки.

История этого дома была драматичной. И дело не в погибели одного только Поликарпа Самохвалова, купца первой гильдии, который ушел в мир иной по естественной причине, то есть от рук большевиков. Настоящая трагедия случилась с новыми обитателями бывшего купеческого особняка и при их деятельном участии. Человек, как известно, сам кузнец своего счастья.

Можно представить, что люди эти действительно были счастливы, когда вселились в отдельные квартиры, и, наверное, большинство из них впервые в своей жизни увидели, как вода бежит из крана, а в огромной ванне можно не только стирать белье, но и самому искупаться после рабочей смены.

На улице Юровского таких домов больше не было. Казалось бы, живи да радуйся! Но вот парадокс. По мере роста ударных темпов строительства социализма непредсказуемо высоким оказался и рост коммунистической сознательности некоторых строителей. Тогда как жители прочих домов по улице Юровского таскали воду коромыслами, а зимой возили на санках, обитатели бывшего самохваловского особняка вели какое-то обособленное существование. Никто им не завидовал, многие даже и не знали, каким сокровищем владели их соседи, а кто заходил и видел, то обыкновенно радовался простой водопроводной воде, которой хоть залейся, полагая, что скоро у всех так будет. Только и всего.

Об авторе | Александр Константинович Цыганков — поэт и художник. Родился в 1959 году в Комсомольске-на-Амуре, с 1992 года живет в Томске. Автор книг «Лестница» (1991), «Тростниковая флейта» (1995), «Ветер над берегом» (2005). Лауреат литературной премии имени Олега Алексеевича Афанасьева (2006), премии журнала «Юность» (2006). Участник многочисленных персональных и коллективных выставок, отраженных в электронной энциклопедии «Википедия». В «Знамени» публикуется впервые. Живет в Томске.

Журнальный вариант трилогии «Сгоревшие корабли».

Но кому-то из жильцов этого самого дома такое собственное положение не давало покоя. В общем, кто-то из них и проявил инициативу.

Субботним вечером было устроено собрание домовых комитетов улицы Юровского, на коем жильцы дома номер четырнадцать заявили, что они как сознательные товарищи больше не намерены жить как эксплуататоры, носить на себе позорное пятно старорежимного неравенства и вообще оставаться в стороне. Так прямо и кричали: «Если ни у кого нет водопровода, то и у нас пускай не будет! Либо всем — либо никому! Когда всем проведут, то и мы согласимся в ванных купаться! Будем солидарными, товарищи!».

Сразу же после короткого митинга был организован субботник, и в какие-нибудь полтора часа с водоснабжением управились. Трубы разрезали и сложили в груду металлолома, краны и прочую сантехнику продали на другой улице, подальше от места действия. Отмечали как следует. Справедливость восторжествовала. Но до всего коснется и третья сила...

Как раз этот бывший особнячок с уютными квартирками на тихой улочке давно уже был на примете у городского начальства. Живут всего четыре семьи, дом еще новый, благоустроенный и благообразный, прямо во дворе — огородики, рядом погреба выкопали, в каретнике хозяйственные подсобки устроены — и всё почти в самом центре города!

И случилось так, что вскоре после знаменательного субботника жильцы одной из квартир на втором этаже совсем уж неожиданно и быстро куда-то переехали. В освободившейся квартире появился молодой и горячий партийный товарищ с красавицей-женой. Веселая загорелая комсомолка вошла в свое новое жилье, как в светлое будущее, и едва сдержала слезы. Не обнаружив не только ванной с никелированными кранами, но даже и ржавых водопроводных труб, молодой коммунист побежал к своему начальнику.

— Это как же, товарищ Венский, получается?!! Нам с женой-комсомолкой торжественно вручили ключи от благоустроенной квартиры со всеми буржуазными предрассудками, а выходит, что и помыться негде? Да?!! Выходит, что я, товарищ Венский, зря кровь проливал!!! Где же ваша революционная совесть?

— Да что вы говорите, товарищ Артем?! Я сам в этом доме бывал, и не раз. Делегатам районной партконференции этот образцово-показательный домик в пример ставил. Говорил, что скоро у нас все так будут жить! По квартирам водил. Вот, говорю, ванна, а вот — краны! А за окном, говорю, пролетарские огороды! И нет больше никакой разницы между городом и деревней! Стираются грани! Даже заборов больше нет, говорю! А вы, товарищ Артем, на счет моей совести революционной тень на плетень наводите!

— Да нет там никакой разницы с деревней! Я вам, товарищ Венский, слово коммуниста даю! За водой с коромыслами ходят! Товарищ Вера чуть не заплакала!

— Товарищ Вера?!!

Сердце товарища Венского дрогнуло.

На следующий день врагов народа, вредителей, шпионов, провокаторов и подстрекателей дома номер четырнадцать — всех до одного — в последний раз провели по улице Юровского, мимо колонки, из которой они так и не успели вдоволь напиться воды. Вернулся ли кто-нибудь из них, искупался ли в новенькой ванне после колымских лагерей — неведомо.

Прошло время, и многое изменилось. Другими стали и люди, и город на высоком холме. Совсем не изменилась только улица Юровского. Казалось, что какой она была во времена Поликарпа Самохвалова, хоть и называлась тогда по-другому, такой и осталась до новейших перестроечных времен.

В первые годы великих перемен в самой маленькой и самой запущенной квартирке на первом этаже старинного самохваловского особняка появился новый жилец. Разговорчивый, скромный и обаятельный Василий Федорович довольно скоро расположил к себе всех. Простоватые соседи не могли даже и предположить, что через каких-нибудь пару лет этот милейший человек выселит их друг за другом из собственных квартир. Как и другие жители улицы Юровского не думали, что будут обходить стороной логово нового томского миллионера.

Но все когда-нибудь проходит, а все, что из дерева, только один век стоит. И ничего случайного не бывает. Поэтому именно случай и свел меня с Василием Федоровичем.

Этим случаем оказался наш общий знакомый, историк.

К слову сказать, богемное местное общество тех лет было симпатичным и довольно ярким, если не сказать, что пестрым. Один Андреевский чего стоил — кораблестроитель по призванию и юрист по профессии. Андреевский годами выстраивал модели прославленных, овеянных легендами боевых кораблей, под парусами коих смело входили в историю великие флотоводцы. Он мастерил сильно уменьшенные копии фрегатов и бригантин с самой тщательной скрупулезностью и до мельчайших деталей, завершая некоторые из них под микроскопом. И если кто-нибудь заглядывал в судовую кухню, то посредством лупы обнаруживал в ней не только медный котел, но и поварешку. Бортовая артиллерия в любую минуту могла произвести именно то количество выстрелов, которое и значилось в убойной характеристике корабля. Однажды я присутствовал на учебных стрельбах и собственными глазами видел, как Андреевский заряжал маленькие пушечки малюсенькими стальными шариками и расстреливал подаренную ему деревянную скульптуру известного местного ваятеля. Эффект был потрясающим! На красном структурном полированном дереве шарики-ядра оставляли впечатляющие вмятины-пробоины и отскакивали на стол. Свои прекрасные, доведенные до совершенства модели величавых парусников, работа над коими иногда занимала годы, он сначала просто дарил в музеи, ничуть не жалея о том, как настоящий энтузиаст-романтик, но теперь уже и продавал. Иметь в коллекции корабли Андреевского почитали за честь. Никто не сомневался в точности произведенных работ. Чертежи и рисунки настоящих кораблей прилагались…

Так называемый тонкий слой был неоднородным как по силе страсти, темперамента и характера своих представителей, так и по их культурному уровню, образованию и вкусу, но все-таки единым, то есть еще советским по инерции. Традиция к этому времени уже разрушилась. Внезапно нахлынувшая свобода зияла такими пустотами, что многих ввергала в космический ужас. Перед каждым вдруг открылась дорога, огромная и неведомая, как Млечный Путь в ясную ночь. И всякий выходил на нее один, не зная, чем она обернется: фешенебельным Бродвеем, уютной улочкой на Монмартре или Владимиркой с одноименной картины Левитана. Многие пили. Многие куда-то уехали, ушли, приспособились, приняли все происходящее как должное и стали жить по диким законам прогрессивной рыночной экономики. Другие все еще лелеяли мечты, оживляли *сердечные преданья* и предавались мирным беседам о бурных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви. И надо быть искренним, но за чашкой кофе или бутылкой вина говорили и спорили порой о вещах нешуточных и предметах серьезных. Иногда случайные собутыльники становились едва ли не близкими родственниками, если находили единство в вопросах самых абстрактных. И наоборот, лучшие друзья расходились врагами, не находя общей точки зрения в вопросах таких же отвлеченных. Как ни странно, но часто именно такие умозрительные вопросы и ставились ребром. На творческой почве случались не только простые ссоры. Громче и выразительнее других вели себя поэты. Почему-то именно их проникновенные и возвышенные беседы о современном стихосложении неумолимо стремились к рукопашной. Но в основном побеждало прекрасное! Было много девушек. И, в общем, это было приятное и веселое времяпрепровождение тех лет.

Я приехал в город всего несколько лет назад, но сразу же и попал в число, как говорят, своих. Поэтому мы забрели на огонек, который горел только на первом этаже, в еще маленькой квартире Василия Федоровича, и он встретил нас, как близких родственников, по которым долго скучал.

Он тогда еще только появился в особнячке на улице Юровского, жил более чем скромно и ночевал в спальном мешке среди голых стен. Но всем рассказывал о своих грандиозных проектах и был готов поддержать любое творческое начинание. Как только сели пить чай, он сразу повел разговор о собственной подводной лодке, которая уже ждет своего часа на судостроительной верфи в знаменитом приморском городе. Осталось только переоборудовать военную субмарину в научно-исследовательский подводный корабль, а также создать комфортные условия для коммерческих

путешествий. Многоцелевая программа использования такой подводной лодки обещала быть успешной во всех направлениях: изучение глубин Мирового океана, поиск несметных сокровищ и банальное коммерческое предприятие по предоставлению туристических услуг богатым любителям приключений в стиле Жюля Верна. Не исключались и транспортное пассажирское сообщение подо льдами Северного Ледовитого океана, и сезонная охота на тюленей.

В арсенале были не одни только слова. Василий Федорович сначала показал папку с документами, удостоверяющими серьезность всего сказанного, а потом и вовсе завалил стол чертежами, рисунками, планами, конспектами, книгами и множеством фотографий. На большой географической карте мира были уже намечены предполагаемые маршруты, а синие моря и океаны изрисованы разноцветными фломастерами. Крестиками обозначались координаты гибели кораблей, звездочками — места выныривания лодки для осмотра акватории, флажками — длительные стоянки для отдыха, в основном в изумрудных лагунах южных архипелагов. Открылись и другие карты с пометками, где и что искать. Особенное внимание было посвящено гибели «Титаника» и вопросам поиска Атлантиды.

Я его слушал увлеченно — перебирал фотографии, листал книги; и, наоборот, историк сидел тихо, пил чай и тупо разглядывал красочные альбомы с рисунками глубоководных электрических рыб и прочих обитателей морского дна. Потому что все эти материалы он же и собирал. Покупал необходимые карты и книги. Регулярно ходил в научную библиотеку, составлял конспекты и делал ксерокопии. Например, о «Титанике» информация была полной. Достаточно подробно были изучены документы о загадочном исчезновении испанских торговых каравелл во времена великих географических открытий. От историка не ускользала ни одна мелочь, если она имела хоть какое-то отношение к предмету изысканий. Даже романы Стивенсона перечитал заново. Преуспел и во многом другом. Очень внимательно и детально изучил изрезанные берега Пелопоннесса и дно Эгейского моря. Собрал сведения о нравах местного населения мавританского побережья. Но вызывал огромное недовольство своего работодателя тем, что с каким-то бараньим упрямством никак не желал заниматься вопросами Атлантиды — Платону не верил.

Когда заговорили как раз об этом, историк очень старался остаться незамеченным. Василий Федорович бросил на него насмешливый взгляд и спросил почти в сторону:

— Кстати, что там у нас новенького по Североатлантическому шельфу на широте Португалии?

Историк, не отрывая глаз от живописного изображения морского монстра в атласе, ответил с полнейшим равнодушием:

— Да ничего особенного. Глубина большая. Да и другие уже искали.

— Мелко плаваешь. А как вы думаете, у нас есть шанс увидеть из иллюминатора колонны древнего храма в затонувшем городе? — обратился он ко мне.

— Конечно, есть! Но больше я надеюсь на другие находки. Статуи атлантических богов! Ну, если не атлантических, то древнегреческие куросы обязательно попадутся! Причем в лучшей сохранности, чем где-либо. Только море спасает от варваров!

— В таком случае я приглашаю вас в первое же подводное плавание! К тому же скоро найдется серьезное финансовое подкрепление. Еще свои фонды создадим. География большая все-таки. Так что ни в чем даже и не сомневайтесь.

Историк понял, что подводные рифы из гигантских руин легендарного города пройдены, и смело вступил в разговор.

— Да! Великое дело — конверсия! Глядишь, скоро не только подводные лодки можно будет в благородных целях использовать, но и самолеты начнут раздавать…

Василий Федорович посмотрел на него, как на ребенка, и заговорил со мной:

— Без авиации я бы вообще не взялся за такое дело. Это просто смешно! Как минимум по одному транспортному самолету надо держать на каждом континенте. Переговоры уже идут. Решим проблему. Главное, чтобы подводный корабль на верфи не застоялся.

— Главное — корабль, — сказал я и замолчал.

Василий Федорович заметил что-то в моем взгляде и спустился на твердую почву, заговорив о китайской философской поэзии эпохи Хань. Пересказав своими словами некоторые установления традиционного даосизма из древней книги «Хуайнань-цзы», он стал читать стихи:

Неясное и смутное
Не может быть облечено в образ.
Смутное, неясное
Неистощимо в использовании.
Темное, глубокое
Откликается бесформенному.
Мчится, течет потоком —
Его движение не пустое.
С твердым и мягким свертывается и расправляется,
С холодным и теплым опускается и поднимается.

Подводная лодка все глубже погружалась в совсем уже бесплотные воды, пока не покрылась драконьими панцирями. Раскрыла огромные перепончатые крылья и полетела. Из тумана проступали колонны храма затонувшего города-государства. Между тем на землю незаметно спустилась ночь. Я пригласил миллионера на свою завтрашнюю выставку, и мы вышли под звезды.

Стало ясно, что я не успел на последний автобус. Приятель мой был одинок, жил в самом центре и отличался патологическим гостеприимством, на которое не всякий спешил ответить. Я заходил к нему на ночлег, но никогда не спал, а сидел до утра на кухне и что-нибудь читал из разбросанных на полу книг. Спать было страшно. Привидений в его доме не было, все-таки хозяин был атеистом, но он отличался такой изощренной нечистоплотностью, что разумнее было переждать ночь, сидя на кухне, чем возлечь на груду рваного и грязного тряпья, которое он весьма любезно предлагал:

— Постель готова! Можно, как говорится, и сновидениям предаться!

— Спасибо, спать что-то не хочется. Я, пожалуй, почитаю на кухне, если тебе свет не помешает…

— Мне? Да мне свет не помеха! Хорошо, что вообще горит еще. За электричество полгода не плачено…

Он либо ложился и стремительно засыпал, либо садился напротив и тоже читал какую-нибудь книгу. Яркая стоваттная лампа, ввинченная в патрон без плафона, разливала свет по обшарпанным серым стенам и потолку с обвалами в штукатурке и торчащей дранкой. Черные углы были покрыты многослойной паутиной. Неисправный холодильник с вырванной дверкой был забит немытым кухонным скарбом и пустыми бутылками. На потрескавшейся плите стояла кастрюля с круто заваренным кипятком. Рядом валялись пустые пачки из-под гранулированного чая «Вдохновение». По металлическим емкостям, однажды сваленным в ржавый умывальник, ползали тараканы. Оконные стекла уже давно утратили прозрачность, и никаких занавесок не требовалось. И нет никакой надобности в подробном описании прочих деталей этого интерьера — у каждого свой порядок вещей, и каждому свое место. Историка такой порядок вещей устраивал. Он уже давно жил как философ. И всякий к нему входящий помимо своей воли не мог оставаться равнодушным к философии. Наглядный пример захватывал и побуждал к размышлениям. Размышления подводили к вопросам. Ответы же обыкновенно шокировали, парализуя волю. Оцепенение грозило всякому, преступившему сей предел.

У историка квартировала целая дюжина разношерстных котов. Однажды кто-то, уезжая в отпуск, оставил у него кошку, а забрать забыл. От нее и пошло поголовье ленивых паразитов, которым добрый хозяин скармливал тонны дешевой рыбы и предоставлял абсолютную свободу поведения. Они скребли когтями прямо у него под кроватью, и запах стоял даже на лестничной площадке. Каждую особь историк знал по имени и никогда не ошибался. Как и самого его в городе знали все. В сером демисезонном пальто, в красном потрепанном кашне вокруг волосатой шеи, в ботинках на босу ногу и с

гордо поднятой головой он был заметен издалека. Несмотря на такой странный вид, к нему очень хорошо относились, уважали и обращались по имени-отчеству.

Он был добрым, общительным, хорошим человеком и как интеллектуал шизоидного типа обладал энциклопедическими знаниями. Впрочем, если бы он в одно прекрасное солнечное утро хорошо помылся, побрился, приоделся и зашел в парикмахерскую, то ничем бы и не отличался от заурядного университетского преподавателя. Но этого «чуть-чуть» как раз и не хватало.

В перестроечные годы он сменил несколько рабочих мест, но, в силу известных причин, нигде не задержался. Наконец едва ли не по блату устроился ночным сторожем, и все свое свободное время проводил в научной библиотеке, где и встретился с миллионером.

Эту звездную ночь я пересидел у историка, первым автобусом уехал в Шеломок и ближе к вечеру отправился в Сосновый Городок. Историк был уже там. Он стоял напротив лихо написанного осеннего пейзажа с разлапистой рябиной и красным автомобилем под ней и не мог понять, почему небо лиловое.

— Объясни мне, пожалуйста, откуда на твоей картине…

— Лучше не продолжай! — я развернулся и пошел навстречу довольно полной женщине с очень рельефным лицом.

Громкоговорящая заведующая выставочным комплексом вдруг заявила, что выставка должна открыться на час раньше, чтобы скорее закончили и, как она выразилась, не устраивали фестиваль. Грозно посмотрела и пошла искать уборщицу. Я спорить не стал и побежал на вахту звонить приглашенным. Дежурная девица поняла, в чем дело, и успокоила:

— Вы не волнуйтесь! Венера Самсоновна через полчаса уезжает в район со своими бардами, поэтому и дает строгие распоряжения. Сами понимаете. Сегодня ее здесь не будет.

— Да? Ну вы меня и утешили. Что не будет Венеры Самсоновны — хорошо, а вот бардов я хотел попросить, чтобы спели.

— Вам Евгений Александрович споет, из секции энтомологов. Он уже смотрел ваши картины. Хотел познакомиться. Если бы вы только видели, каких он бабочек в Непале наловил!

Через полчаса веселая ватага лохматых менестрелей с гитарами, подгоняемая Венерой, ринулась в подъехавший автобус. В залах стало тихо и спокойно, как и у меня на душе.

Между тем, приближался час открытия выставки. Я уже познакомился с Евгением Александровичем, который выглянул «посмотреть» из секции энтомологов. Стали подходить гости. В основном далекие от изобразительного искусства поэты и литературные барышни. Открывать выставку пришла искусствовед на вольных хлебах, с манерами, да и взглядами, рыночной спекулянтки и совсем не богемной наружности. Василий Федорович задержался. Он появился со свитой, когда публика стояла полукругом: искусствовед произносила дежурную вступительную речь. Узнав миллионера, она поняла, что пора передать слово кому-нибудь другому, и быстренько стала сворачиваться.

С гитарой на ремне вперед выдвинулся чернобородый энтомолог-любитель, ударил по звонким струнам и, охватывая взором всех, запел баритоном знаменитую песню Булата Шалвовича Окуджавы.

— Живописцы, окуните ваши кисти!

Литературные барышни стали подпевать. Вечер пошел непринужденно. Люди из свиты миллионера принесли большой стол и вместе с дежурной выставляли на него бутылки и другое содержимое картонных коробок. Венера Самсоновна как в воду глядела. Василий Федорович решил-таки устроить фестиваль.

Искусствовед отвела меня в сторону.

— Александр, у вас очень сильная красивая настоящая живопись, но продать ее невозможно. Почти невозможно. Не поймут. Но так уж и быть, я вам попробую помочь. Талантливым людям надо помогать.

И показала на несколько картин.

— Вот эти работы я у вас забираю! Когда закроется выставка, привезите их ко мне домой. Большие цены не называйте. Что-то и подарить придется для начала. Я, разумеется, буду говорить о вас…

— Извините, но я и не собирался продавать так сразу и неведомо кому все свои лучшие работы…

— Ну! Какие мы гордые! В общем, мой телефон знаете, а я пойду. Еще в одно место надо успеть.

Вокруг стола уже было тесно. Историк закручивал штопор и резко вырывал очередную пробку.

— Все не открывать! — скомандовал Василий Федорович. — Еще на Юровского поедем.

У историка отобрали штопор и отправили мыть яблоки.

Кто-то резал и раскладывал на тарелки колбасу, кто-то сбегал в театральную студию, где стоял мешок с разовыми стаканами. Другие топтались на месте и смотрели на миллионера, как будто он и был виновником торжества. Василий Федорович уже заметил, что привлек внимание, и взял слово. Он широко улыбнулся, поднял пластиковый стаканчик с красным сухим вином и начал.

— Друзья! Простите, но, кажется, я не ошибся, что обратился к вам именно так, потому что такой успех можно разделить только с настоящими друзьями! Я не буду говорить о том, что только время откроет истинный смысл творений поэта и художника. Время уже открыло — показало свое лицо! И оно перед нами! — он посмотрел на меня. — Поздравляю вас, Александр! И всем предлагаю немедленно выпить за нашего настоящего друга!

— Спасибо, что вы есть, Александр! — крикнула литературная барышня.

Я от смущения выпил сразу полный стакан.

Василий Федорович обратился ко мне совсем по-отечески.

— Саша! Посмотрим твои картины.

Мы пошли вдоль стен зала.

— Это, конечно, пост… По крайней мере, на основе постимпрессионизма. Заметно влияние и Сезанна, и наших русских кубофутуристов начала века. Я не большой их поклонник, но у тебя очень колоритная знаковая живопись. Постимпрессионизм постсоветского периода, позволю себе такое выражение. Синтез… Ты, Саша, как свои картины оцениваешь?

Я не понял.

— Ну, сколько бы ты хотел получить за одну любую свою картину? Примерно.

Подумав, я назвал сумму, в моем понимании довольно высокую. Василий Федорович даже и глазом не моргнул.

— Хорошо! Я покупаю у тебя семь полотен! — он остановился у триптиха «Осень в Горной Шории». — Это мне очень понравилось! Еще — три алтайских и, пожалуй, натюрморт со статуэткой — тоже мое. Ну что? По рукам?

Я, немного ошалевший от вина, приличного гонорара и легкости совершенного, согласился.

— Я уже начал собирать коллекцию для собственной картинной галереи. Золотой фонд! Здания пока нет, но были бы экспонаты, а стены отстроим!

— Не сомневаюсь!

Мы вернулись к столу, и я усомнился в его словах, но ненадолго. «Что это я такой недоверчивый? Василий Федорович, прекрасный, отзывчивый человек. Благодаря ему и вечер такой веселый получился. Сколько угощения привез!» — подумал я.

Фуршет шел своим чередом. Евгений Александрович спел еще несколько популярных песен и вдруг охрип. Гитара пошла по кругу. Все чаще наполнялись разовые стаканы. И пока один румяный дяденька с круглым ямщицким лицом пел неожиданно высоким тенором воровскую «Мурку», Василий Федорович велел откупорить оставшиеся бутылки.

Все стали пьяны и беспечны. В разгар веселья пришел ночной сторож. Дежурная девушка намекнула, что пора закругляться. Но гости и сами уже, глядя на пустеющий стол, закруглялись. Василий Федорович, опять по-отечески, обратился ко мне.

— Саша! Я предлагаю поехать ко мне и продолжить. Вызовем две машины такси. Кто не войдет, может отправляться домой. Если будут настойчивые, пришлем одну машину обратно.

Ночное небо над Сосновым Городком было усыпано огромными мигающими звездами. Веселая компания вышла на большую дорогу, где на обочине стояли только две машины такси. Румяный дяденька и некоторые его друзья немного засуетились, справедливо полагая, что им уж точно места не хватит. Автобусы уже не ходили. И на пути домой стеной стоял дремучий сосновый бор. Василий Федорович открыл дверку первой машины и, ни с кем не прощаясь, сел рядом с водителем. За ним немедленно последовали люди свиты. Я посадил во вторую машину историка и литературную девушку, с которой успел потанцевать, обратился к остальным:

— И кто-нибудь еще из девушек!

Но, как оказалось, все остальные барышни жили в Сосновом Городке и никуда больше ехать не собирались. Они схватили румяного дяденьку и со смехом затолкали в такси.

Во дворе особнячка на улице Юровского стояла непроглядная тьма. Тучи закрыли звездное небо. Только краешек луны проблескивал из холодного полуночного мрака.

— Антон! — закричал миллионер как только вышел из машины.

На первом этаже загорелся свет, отворилась дверь. Пассажиры обоих такси с пакетами и коробками пошли в дом. Историк громко прохлюпал по мелкой, но грязной луже. Василий Федорович сверкнул в его сторону линзами очков и попросил стоящего на крыльце Антона, чтобы тот подсказал исторической личности, где и как помыть ботинки.

После того как дверь квартиры закрылась, за ней всю ночь продолжалось обыкновенное пьянство. Миллионер называл меня не иначе, как триумфатором. Я много пил и потерял всякий контроль над собой, и Василий Федорович увидел меня, что называется, насквозь. Сначала я пустился декламировать стихи, которые хлынули потоком, потом доказал, что Атлантида — это поэтический вымысел… Под утро я пошел провожать историка до Перво-Стрелецкого переулка. Оба мы еле стояли на ногах, кое-как дошли, на рассвете вернулись обратно на Юровского и стали громко стучать: один в окно, другой в дверь. Антон вынес для нас сумку с вином и закуской по распоряжению своего патрона и повел обоих опять на Перво-Стрелецкий переулок. Завел прямо в квартиру и оставил на столе записку: *«Саша! Когда протрезвеешь и приведешь себя в порядок, приходи. Буду очень рад тебя видеть. Доброго здоровья! В.Ф.»*.

Еще в полусне я услышал какую-то нечеловеческую возню, открыл глаза и не сразу сообразил, где нахожусь. Вокруг резвились коты. Бегали друг за другом и катали по полу бутылку с вином. Они распотрошили сумку, которую принес Антон, сожрали бутерброды с красной икрой и с полкилограмма копченой колбасы. Разодранный когтями полиэтилен летал клочьями.

— Брысь! Бандерлоги! — крикнул я и поднялся с голого пола кухни историка. На столе стояла ополовиненная бутылка, чудом не сброшенная бандерлогами на пол. Из комнаты послышалось: «Ага!» — и в кухню с книгой в руках вошел мой приятель.

— Добрый день! Ну как ты? — не дожидаясь ответа и не обращая никакого внимания на полосатого бандита, который лез по нему, как по дереву, историк раскрыл книгу. — Ты только послушай! Это просто удивительно…

— Действительно, удивительно…— историк выглядел так, как будто накануне не пил вовсе.

— Оказывается, Колумб искал не Америку, и даже не новый путь в Индию, а врата Эдема на Земле! Вот строчки из его письма королю Испании: *«…я верю — именно там находится Рай земной, и никому не дано попасть туда без Божьего соизволения…»*.

Я налил себе вина, выпил и заторопился домой. Сбежал по лестнице вниз и вдохнул воздух золотой городской осени. На улице моросил мелкий дождь.

А вскоре над городом закружился снег. Наступила зима. Да такая зима, что, как ранешние сказители говаривали, замела метелями, завыла да завьюжила. И зияли по руслу реки Томи дьявольские черные полыньи-промоины. Хоть топись с перепу-

гу! И говаривали сказители, что водяной зеленым пальцем из полыньи грозил всякому, кто на другой берег хотел уйтить.

Зимним утром пил я чай и слушал радио — ждал, когда начнется передача «В мире прекрасного» и Людмила Валерьевна будет рассказывать о моем многогранном таланте, об осенней выставке картин в Сосновом Городке, а сам я прочитаю новые стихи в музыкальном сопровождении.

Наступило назначенное время, и после короткой паузы диктор объявил торжественным голосом: «Вспомним тех, кто теперь далеко! Музыкальный привет! И сейчас по просьбе Маши Пироговой из города Медвежий Брод прозвучит песня для ее друга и любимого человека — Коли Бармалейчика! Нам в студию позвонила Маша и рассказала, что Николай, которого все его многочисленные друзья считают большим авторитетом и ласково называют Бармалейчик, находится в зоне строгого режима номер сто сорок восемь дробь восемьсот сорок один дробь Рэ и очень скучает. Из ее короткого рассказа мы узнали и о том, какой замечательный человек Николай Бармалейчик, и о том, какая нелегкая судьба выпала такой неординарной личности. Коля очень любит музыку, но не официальную эстраду, которую нам долгие годы навязывали сверху, а подлинные, настоящие песни, написанные под диктовку самой жизни. Что греха таить, такие песни не всегда нравились властям предержащим и прочим идеологическим соловьям. В нашем радиофонде есть эти песни! И уже только по вкусу и выбору репертуара таких людей, как Николай Бармалейчик, можно смело ставить в один ряд с нашими прославленными диссидентами. Итак, по просьбе Маши Пироговой, которая только что и так своевременно позвонила к нам в студию из города Медвежий Брод, для ее друга и любимого человека Николая Бармалейчика звучит легендарная песня в исполнении знаменитой группы “Лесоповал”!».

По тундре! По железной дороге!
Где мчится поезд «Воркута — Ленинград»!
Мы бежали с тобою от проклятой погони,
Чтобы нас не настигнул пистолета разряд!
……
По тундре! По железной дороге!
……..
Мы бежали из зоны, замочив вертухая!

Песня окончилась динамичным стуком колес стремительно уходящего поезда. И сразу же начались криминальные новости. Но и после них долгожданной передачи не последовало. Эфир заполнили дебаты о реформах, приправленные рекламой и криками экстрасенсов. Стало понятно, что «В мире прекрасного» отменили.

Я выключил радио. Подумал и стал собираться. Накануне как раз кончились последние деньги, и я решил навестить миллионера. Идти на почту и звонить больше не хотелось. После выставки Василий Федорович отвез к себе в особнячок семь приглянувшихся ему полотен и вручил мне в качестве задатка небольшую сумму. А остальное почему-то не отдавал.

Как раз к Новому году я по неопытности умудрился сжечь целую машину дров и уже задолжал хозяйке, у которой снимал дом ее зятя, рванувшего с семьей на Север еще до перестройки и застрявшего там: в Эвенкии продавать квартиру было теперь некому, а бросать не хотелось. Хозяйка брала с меня плату, как со студента, и приговаривала.

— Живи, Шура, сколько хочешь! Этот черт лысый увез мою дочь куды-то… Похоже, что не скоро воротятся.

Несмотря на добрый нрав, после того как я перестал платить за жилье и пустил на дым все дрова, она стала провожать меня долгим взглядом, но ни о чем не спрашивала, а только выговаривала в сторону.

— Вот и пришла зима! Итивашумать! Нежрамши, поди, ходит…

Пока я добрался до улицы Юровского, сгустились синие зимние сумерки. Издалека заметил светящиеся окна в квартире миллионера и успокоился. Значит, Василий Федорович дома.

Улыбчивый хозяин встретил меня, едва сдерживая слезы счастья.

— Александр! Заходи! Я уже хотел сам к тебе в Шеломок ехать. Думаю, что с ним случилось? Не звонил целых три дня! Ты больше так не делай! — он повернулся к своим гостям. — Вот он и есть — один из ярких представителей прогрессивного человечества! Слава Богу, что наш соотечественник!

Я рассеянно поздоровался и стал раздеваться. За столом сидели незнакомые люди с очень серьезными нахмуренными лицами. Один ответил на приветствие вслух, двое других только кивнули головами. На столе стояла еще не открытая бутылка с польским спиртом «Ройяль». Я решил помыть руки. Из ванной комнаты как раз вовремя вышел историк.

— Ого! Кто пришел! Где это ты запропастился, Александр? Василий Федорович уже переживать начал.

Оказавшийся тут как тут Антон поставил на стол широкую тарелку с нарезанным салом, за ней — вторую, глубокую, с солеными грибами, и достал из холодильника банку с морсом. Василий Федорович сам открыл литровую бутылку, разлил в большие высокие рюмки спирт и предложил гостям «употреблять по вкусу». Я разбавил спирт ровно наполовину и поднял рюмку. Гости церемонились, добавляя кто воды, кто морса. Историк решил обойтись без лишних примесей. Внимательный ко всем мелочам миллионер посмотрел на него иронично.

— Эллины даже вино водой разводили!

— У них спирта не было!

Василий Федорович отвернулся безнадежно. И широко улыбнулся с явным намерением сказать тост.

— Друзья...

Но его перебил довольно упитанный дядька в атласном костюме.

— Значит, так, Василий Федорович! Давайте выпьем за то, чтобы до Нового года никаких проблем с проплатами у нас не оставалось! Будем здоровы!

И дядька влил в свое широкое горло порцию синтетического польского спирта. Следом стали пить остальные. Историк наколол на вилку кусок сала с розовыми прожилками.

— Свинью, похоже, грамотно кормили! Прожилки равномерные!

Упитанный дядька проглотил малосольный груздь, уставился на тарелку с салом и ответил:

— Главное — свинью зарезать грамотно! Пока не зажралась…

— Свиней вообще-то колют! — поправил его историк, но дядька не обратил на него никакого внимания и поднял глаза на миллионера.

— Вася! Еще наливай! А то, как у нас в Мундыбаше говорят, не вовремя выпитая вторая делает бесполезной первую!

— Это верно, — ответил миллионер, нисколько не смутившись оттого, что его гость неожиданно перешел на ты, и стал разливать спирт.

Я после выпитого прояснел взором и стал разглядывать своих невольных сотрапезников. Василий Федорович заметил это.

— Разрешите, я вас представлю Александру! А то он, похоже, не знает, как обратиться.

— Ничего! Я, например, человек простой! — отозвался упитанный.

Оказалось, что простой человек приехал из Горной Шории, где занимался скупкой и перепродажей леса. Сидящий напротив него кудрявый и высокий работал заведующим гаражом областной психиатрической больницы. Последним был представлен зубной врач с широким лбом и выдающимся подбородком.

Простой человек вел свой успешный бизнес, пока не столкнулся с томским миллионером — Василий Федорович задолжал фирме сумму, превышающую годовой бюджет небольшого города. Двое других тоже за свою сознательную трудовую жизнь скопили немалые деньги. И вложили в его предприятие в надежде на их многократ-

ное преумножение. Но в начале зимы по городу поползли слухи о грозящей девальвации, многие занервничали и кинулись забирать вклады, чтобы успеть как-нибудь застраховаться от грядущего обвала национальной валюты.

В тот вечер все трое, не сговариваясь, пришли в дом Василия Федоровича забрать свои деньги. Еще до моего прихода у каждого из них с хозяином состоялся разговор, сведенный во всех трех случаях к тому, что это несвоевременно, да и невыгодно им как заимодавцам, но уж если кому не терпится, то пускай забирает. Проблема была только в том, что именно здесь и сейчас никаких денег не было. Двоим из них Василий Федорович говорил одни и те же слова, мол, надо делать запросы в Москву и другие столицы, чтобы «достать деньги из дела», а такие серьезные проблемы быстро не решаются, и надо подождать. А простому человеку было сказано, что на его счет уже скоро «упадет» сумма, превышающая бюджет крупного города, но есть незначительные препятствия на их пути. Литровая бутылка коварного синтетического спирта марки «Ройяль» оказалась на столе миллионера неслучайно. Напиток действовал сокрушительно, даже на бывалых. Опьянение наступало внезапно, и очень сильное.

Пили за искусство. В том числе зубоврачебное.

Все расслабились, да и хотели этого, чтобы снять напряжение. Стали вспоминать озорные школьные годы и под веселые разговоры забыли, зачем пришли. Василий Федорович никого не перебивал и пустил вечер на самотек. Как и другим дорогим гостям, мне он не сказал ничего определенного. Но решил не дать умереть с голоду и вручил небольшую сумму, широко улыбаясь, похлопал по плечу.

— Скоро! Скоро, Саша, и ты станешь богатым! Пиши картины и помни о завещании великого Коровина!

— Начинай со светлого?

— Да нет... Впрочем, почти угадал.

— ?

— Думай о живописи! Деньги сами придут! И не заметишь, как!

— Да я и не замечал еще!

— Тогда начинай со светлого!

Прошло несколько лет с того ненастного осеннего вечера, как я впервые переступил порог особнячка на улице Юровского. С Василием Федоровичем мы давно разорвали всякие отношения, при выяснении коих однажды дело дошло и до драки.

К этому времени он стал довольно богатым человеком. Ему уже принадлежал весь двухэтажный дом, где он занял однажды самую маленькую квартирку на первом этаже, а потом все прошло по плану. Сначала своего законного жилья лишились ближайшие соседи за стеной, которые, от мала до велика, пили горькую, и с первого же дня появления Василия Федоровича в их некогда образцово-показательном доме называли его не иначе как Начальником. С ними Василий Федорович мудрил недолго. Посулами и подачками уговорил подписать какие-то бумаги, затем всех их выписал без их ведома. Окончательно спившегося не без помощи Начальника главу семейства высокий и кудрявый гость того предновогоднего застолья лично отвез в покои психиатрической клиники, где больной, еще не успев протрезвиться, был признан невменяемым и недееспособным инвалидом, нуждающимся в постоянном присмотре и попечении. Других членов его семьи переселили в какое-то глухое таежное село, на краю которого Василий Федорович купил по случаю заброшенную халупу на шести сотках земли.

Со вторым этажом пришлось повозиться. В конце концов потомки партийного товарища и красавицы-комсомолки так задолжали хлебосольному и отзывчивому соседу, что уступили свою квартиру за небольшие деньги и переехали на окраину. Другим пришлось продать свои квартиры, когда Василий Федорович приступил к реконструкции, восстановлению и перепланировке всего здания как архитектурного памятника — денег, чтобы «вписаться» в его грандиозный проект, не было.

Избавившись от последних жильцов, Василий Федорович сразу же полностью перестроил дом и навел свой порядок в усадьбе. Были воссозданы крепкие высокие ворота с рельефной резьбой, и тесовый забор, и некоторые еще дореволюционные надворные

постройки — для колорита. На первом этаже особняка он устроил офис, второй занял сам, где и вдыхал из распахнутых окон вольный ветер эпохи великих перемен.

В конце деловой недели посреди внутреннего двора из дикого серого камня складывался первобытный очаг. На нем готовился шашлык. Иногда в ночь с субботы на воскресенье во дворе особняка на улице Юровского костер горел до самого утра. Я как-то взял и заглянул к нему на шашлычок с одним другом-поэтом, забыв про старую обиду.

Несмотря на прогрессирующий цинизм, Василий Федорович не разучился быть обаятельным. Улыбка его сверкала, как оружие. Шашлыком занимался историк, теперь уже штатный. Щебетали литературные девушки, между двух барышень удобно расположился энтомолог, румяный исполнитель блатного шансона был тут как тут — наш томский бомонд почти в полном сборе.

Невдалеке трапезничали более серьезные гости — Василий Федорович задолжал им за посреднические услуги при покупке антикварной мебели, николаевских самоваров и современной берестяной утвари промысловиков таежной кержацкой артели. Двое из них, как следует разжарившись от огня, вина и баранины, откатили свое бревно подальше и спорили в прохладном полумраке по поводу Курильских островов. Еще один рассказывал симпатичной поэтессе занимательные истории. Поэтесса смеялась во весь алый рот.

Антон и еще два человека стояли, как тени, за спиной Василия Федоровича. Другие его люди принесли и подбросили дров в догорающий костер. Пламя вспыхнуло вновь. На поэтессе словно загорелась оранжевая косынка, повязанная вокруг шеи. Яркое зарево охватило стены особняка, на которых тут же замелькали и забегали силуэты. В театре теней началось представление.

— Друзья! — громогласно выдохнул мой приятель-поэт, поднялся с бревна, посмотрел на пламенные лица и начал: — Я только что закончил новую книгу стихов «Во времени “Тире”». Обратите внимание, на чем вы теперь сидите, греясь у костра, и вам сразу станет понятно, почему она так называется. Это не бревна! Это огромные тире! Прочерки наших судеб, разбросанные в океане безвременья! И хорошо, что в такие редкие теплые вечера мы — хотя бы на мгновение! — благодаря нашему дорогому Василию Федоровичу можем собрать и связать их вместе!

Энтомолог и две барышни неожиданно громко запели.

— На маленьком плоту! Сквозь бури, дождь и слезы…

— Друзья! Прежде чем прочесть некоторые свои сочинения, я хочу торжественно объявить, что моя новая книга «Во времени “Тире”» уже отредактирована в электронном наборе и сдана в лучшую областную типографию! И все это стало возможным благодаря доброму волшебнику Василию Федоровичу!

— Вот и славненько! Я осмелюсь предложить, чтобы я предложил сказать хороший тост! — пропищал румяный дядька. — За кого мы сегодня не выпили? — Он лукаво посмотрел на девушек и подмигнул энтомологу. — Я предлагаю выпить за очаровательный пол!

Барышни закатились звонким смехом. Чернобородый энтомолог отложил гитару в сторону и пошел налить им вина.

Лесопромышленник, несмотря на купеческую тяжесть тела и косолапость, пошел вприсядку.

— Эхма! Гуляем с девками! Расскажу своим в Мундыбаше! Эхма! Раз-два! Жил-был у бабушки серенький козлик! Эхма! Эхма! Старый козел!

Вместе со всеми резвился какой-то северный гость с двумя березовыми поленьями в руках. Такими же поленьями колотил другой гость. Третий достал из кармана маленькую корабельную пушечку и начал палить из нее холостыми зарядами. Розовая, как фламинго, поэтесса в знак протеста сразу двум своим кавалерам — с которым пришла и с которым беседовала — составила танцевальную пару историку. Тот держал ее талию, как редчайший свиток времен второго триумвирата…

В окне первого этажа сверкали огненные очки Василия Федоровича. Он стоял неподвижно в черной глубине особнячка на улице Юровского и, словно из последнего логова, внимательно наблюдал за вакханалией в своем дворе.

Томск

Кризис в экономике — кризис в литературе?

Под этой рубрикой, появившейся в «Знамени» в 2005 году, мы обсуждаем наиболее острые проблемы современной литературной, культурной и общественной жизни. Дискуссию обычно открывает полемический текст, заранее рассылаемый остальным участникам. Сегодня это статья молодого критика Алисы Ганиевой, с которой мы предложили поспорить нескольким критикам ее поколения. Речь идет о том, как отражается — и отражается ли — сегодняшний экономический кризис в отечественной литературе и культуре.

Алиса Ганиева

ВЧЕРА НЕ ДОГОНИШЬ, ОТ ЗАВТРА НЕ УЙДЕШЬ

Вполне возможно, что причины текущего финансового кризиса лежат не столько в американском ипотечном кризисе или стремлении банков к наживе, сколько в многолетнем упадке западного постиндустриального общества в целом. Как и пророчили бесчисленные теоретики «заката Европы», машинизация общества, перепроизводство, жажда потребления и вещизм наконец приблизили «буржуазный» мир к трагическому концу.

В российском культурном пространстве этот взгляд нашел бы своих адептов, недаром в «стабильные» нулевые годы родился целый пласт худлита, осуждающего консюмеризм, коллективный эгоизм и прочие ужасы технотронной эры. Что совпало с появлением после дефолта 98-го тех самых аморфных и бездуховных мещан-потребителей, получающих большой доход за пустое сидение перед компьютером. Именно их Галина Юзефович года четыре назад назвала «классом-гегемоном», «офисной интеллигенцией» и «молодым средним классом»[1], на который главным образом будет ориентироваться любой поставщик ценностей, в том числе «миддл-литературы» (термин С. Чупринина[2]).

Устои западной цивилизации, построенной на постоянном искусственном завышении потребления и уровня жизни, теперь всерьез задрожали, а первым пострадал класс-гегемон. То есть герои авторов литературного мейнстрима (Р. Сенчина, Г. Садулаева, Гарроса-Евдокимова, Д. Бавильского, В. Козлова и пр.), а также целой линии офисной трэш-прозы типа романов С. Минаева или «Anti casual. Уволена, блин» Н. Маркович.

1 «Знамя» № 9, 2005.
2 «Знамя» № 11, 2004.

Об авторе | Алиса Аркадьевна Ганиева родилась в 1985 году. В 2002 году переехала из Дагестана в Москву. Как литературный критик печаталась в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Вопросы литературы», «Литературная учеба», «Знамя», в центральных газетах. Сотрудник приложения к «Независимой газете» «НГ-ExLibris».

О том, что западное общество массового потребления, уязвленное культурной исчерпанностью, творческим бессилием, одномерным мышлением и пр., катится к неминуемому коллапсу, на самом Западе говорят уже не одно десятилетие (Шпенглер, Вебер, Хейзинга, Швейцер, Фромм, Тоффлер, Маркузе и многие другие, уж не говоря о художественной литературе, театральном и киноискусстве). На этом фоне антибуржуазный вектор современной российской прозы выглядит заимствованным, но не теряет специфики (точно так же, как не совсем понятна природа российского кризиса — то ли это эхо американского, то ли — нечто автохтонное).

Классическое осуждение никчемно-рабской жизни офис-работников (как в «Персене», «Конце сезона», романе «Лед под ногами» и других произведениях Р. Сенчина) в нашей прозе мало отличается от культурного нигилизма героев Берроуза или Уэльбека. И менеджер из «Матисса» А. Иличевского, и скучные офис-обыватели Р. Сенчина, и служащие Г. Садулаева убегают от цивилизации и пустотности бытия или мечтают об этом. Ну а в леворадикальном анархо-нигилистическом или неоевразийском решении — не только убегают, но и воюют («Санькя» З. Прилепина, «Попс», «Гопники», «Школа», «Плацкарт», «Фанаты» В. Козлова и др.). Причем, как в случае с З. Прилепиным и даже Г. Садулаевым и С. Шаргуновым, альтернативой потребительскому провалу и потере самости становится не только «революция» в широком смысле, но и утерянный советский рай (кстати, патриотические и коммунистические настроения в период кризиса в России, по идее, должны усилиться, поскольку весь крах из-за моря, «а вот если бы мы сохранили что имели»…).

Таким образом, антигламурная литература вне зависимости от своего качества и политической направленности (либеральной или национал-большевицкой) становится своего рода оппозицией. Странник, беспредельщик, спортивный фанат, политический активист, человек свободного творчества делается антагонистом той молодежи, которая, по выражению того же Р. Сенчина, «довольно быстро “образумливается” и пополняет собой офисы, конторы, кабинеты, встраивается в предложенную систему существования»[3]. Попросту говоря, благосостояние парализует волю, и «люди не говорят то, что думают, не потому, что им это запретили, но потому, что искренне хотят покататься на хороших машинах и съездить на хорошие курорты»[4].

Но вот наступил глобальный экономический кризис, который ставит под вопрос не только капиталистическую модель мира, но и ее культурные ценности, даже в Америке заговорили о национализации частных банков, а по злорадным житейским слухам там скоро и вовсе наступит голод, когда истечет срок пособий для безработных и пр. В Москве я слышала разговоры о том, что надо бы национализировать толстые журналы, вернуть их в руки писателей — каких именно писателей, правда, не очень ясно.

Пришел ли конец «Системе»? По мнению В. Козлова, «закончится кризис — снова начнут потреблять и все уроки кризиса напрочь забудут»[5]. В воздухе витают два сценария: либо массовый дауншифтинг приведет к высвобождению среднего класса и как следствие — к повышению его духовного уровня и большей востребованности высокой литературы, либо уволенные массы еще более уйдут в себя, замкнувшись в депрессивной озлобленности, поиске пропитания и незаконных заработках, а больше всего пострадают некоммерческая литература и небольшие интеллектуальные издательства. На размножившихся в Интернете кризисных сайтах часто звучат высказывания типа «Системе — конец» или «Спасибо кризису. Наш рынок сбыта — мечта! И “отскочим” мы быстрее. Финансы потекут по другим руслам. Дошло до всех: Запад — “западло”».

Кризис стал модным, его используют в рекламе чистящих средств для стекол, а товары потребления стали «антикризисными». Непременно должна появиться антикризисная литература, я уже предвкушаю, как В. Пелевин в очередном романе напишет о каких-нибудь буддийских психотренингах, на которых жертвам безработицы

3 «Знамя» № 11, 2008.

4 В. Козлов в интервью журналу «ШО», декабрь 2008.

5 «Профиль» № 14 (83), 2009.

привидится Дух Кризиса, после чего последуют иные временные измерения, галлюцинации и прочие известные приемы. Если всерьез, то, по крайней мере, первый антикризисный роман уже вышел — это «Р.А.Б.» С. Минаева, где тот описывает текущую глобальную экономическую ситуацию, разочарованность офисного персонала, бунт менеджеров, тюрьму и конечное усмирение.

Любопытно не то, что на кризисе потребления и сверхприбыли пытаются сделать прибыль, а то, что «буржуазная» и «антигламурная» литература во многом малоразличимы, и в контрсистемной прозе Р. Сенчина не меньше product placement (скрытой рекламы. — *ред.*), чем у автора «Duxless». В связи с этим характерна полемика между банкиром Авеном и модным нацболом Прилепиным в ЖЖ и в «Огоньке» по поводу протестного романа «Санькя». Спор «богатого» и «бедного» привлек всеобщее внимание и сосредоточился главным образом на том, действительно ли так антибуржуазен Прилепин. Кто-то принялся подсчитывать его собственность («У меня одна машина, а у него две, одна причем джип. У него есть 1 (один) шофер, а я сам кручу баранку»[6]), а Тина Канделаки итожила: «Захар Прилепин заработал на молодых нигилистах, а его бунтарски настроенные читатели получили еще одну книжку на полку, но так и не разбогатели»[7].

Сюжет продолжился дуэлью того же Прилепина и Минаева в передаче «К барьеру!». Разговор получился довольно бестолковым и неконструктивным, но уличения автора «Саньки» в фальши продолжились: «В. Соловьев: Понимаете, в этом проблема, как только ты мне начинаешь говорить о конкретике, и одежда на вас нероссийская, и ботиночки нероссийские, и часы нероссийские, и даже носки нероссийские. З. Прилепин: Носки русские на мне, сам вязал». Но в итоге за «богатого» С. Минаева проголосовало 15 тысяч с хвостиком, за бунтаря и защитника угнетенных — 56 с лишним тысяч человек.

Кстати говоря, после перестройки понятия «богатый писатель» вроде бы не существует. Сначала спонсорством литпремий и журналов занимались крупные частные компании, сейчас (в связи с разделением монополий и усилением госконтроля) их стало значительно меньше, а на смену популярным писателям пришли имитаторы вроде О. Робски, Е. Лениной, С. Минаева. Вот выпустила книгу Наташа Королева. Активность, с которой представители обеспеченной бизнес-прослойки стремятся получить статус писателя, несмотря на, казалось бы, полную дискредитацию и непрестижность этого звания, порой удивляет.

Ну а одним из главных вопросов, назревших в связи с кризисом, является вопрос о том, могут ли сбыться литературные фантасмагории-утопии (восстание рабочих из «Саньки» или менеджеров из «Р.А.Б.'а») и приведет ли обрушение сложившейся буржуазной системы к бунту белых воротничков? Насколько отличаются вышедшие из-под контроля офис-персонажи из романов Г. Садулаева и Гарроса-Евдокимова от своих реальных прототипов и не притянут ли за уши к офисному планктону лэйбл офисного пролетариата? Приходится признать, что аполитичность и мещанство среднего класса, даже потерявшего работу, даже разочарованного в собственной деятельности, мало вяжется с выходом на баррикады. А в литературе дело ограничивается стебной пародией В. Емелина в «Дне литературы»: «Гордый люмпен грозно реет. / Олигархов и евреев / Он пугает громким криком, / Вместе радостным и диким: / «Скоро прыгать вам с карнизов, / Пусть сильнее грянет кризис!». Или сказкой Г. Садулаева «Смерть мерчендайзера», в которой герой и его спутница-промоутер выкидывают в урну пакеты с пельменями и бросают свой гипермаркет. «И он сказал: да. У меня есть диплом электрика и допуск к аппаратам в 360 вольт. А она сказала: я умею лечить зверей. Они пошли в заснеженную степь микрорайона, держась за руки. Оставив мертвого мерчендайзера хоронить мертвого промоутера»[8].

6 *Игорь Свинаренко. Газета.ру от 16. 10. 08.*

7 *«Известия» от 17. 10. 08.*

8 *«День литературы» № 10 (146), 2008.*

Вообще о собственном будущем и судьбах страны стало удобней размышлять в формате сказки, мифа, антиутопии, альтернативной истории, ультрафикшн, даже не столько вразрез с западным рационализмом, сколько из стремления обнулить систему ценностей и обрести новые символы веры. У А. Иличевского или А. Снегирева (в «Нефтяной Венере») обожествляется нефть, известняк, у А. Иванова — геопоэтика Урала, у М. Рыбаковой — река («Острый нож для мягкого сердца»), у М. Елизарова демонизируется душа поэта-классика («Pasternak»), у Г. Садулаева рождается псевдочеченская мифология («Илли»), у М. Хемлин — ветхозаветные аллюзии («Про Иону») и т.д. Вакуум, образованный секуляризацией сознания, разрастанием капиталистических форм производства и вымещением иррационального, в конце концов заполняется тем, что О. Лебедушкина предложила называть «новой готикой»[9], а я бы скорее обозначила как неоромантизм с его неоформленностью и стремлением к непостигаемым смыслам.

Диффузию нереального в реальное тоже можно трактовать как реакцию на предсказуемость западной модели существования. Образ Хозяйки медной горы из «2017» О. Славниковой или забайкальские духи и травы из «Степных богов» А. Геласимова — это нечто сакрально-российское, национальное взамен глобально-безличностных культурных ориентиров буржуазного общества.

К тому же мифическая структура повествования (притчи, сказания, аллегории) более заданна и стабильна, что в эпоху тотальной ненадежности играет роль своеобразного психологического поручня. Любопытно, что именно в нереалистических произведениях четче и выпуклее прорисована композиция, присутствуют внятная экспозиция и концовка. К примеру, во вступлении к роману-легенде М. Рыбаковой «Острый нож для мягкого сердца» заранее набросана фабула: «Это история о реке, о женщине, влюбившейся в реку, их сыне, который стал вором, и о его бесславном конце»[10]. А в конце своего мистического путешествия за бессмертием (в романе «Сгинь, коса!») А. Королев говорит напрямую: «Пора прощаться, читатель!»[11].

Сам по себе мировой финансовый кризис вряд ли будет иметь какое-либо влияние на литературный процесс (коммерческие романы, использующие экономический переполох как красную тряпку, не в счет). Кризисное мироощущение присутствовало в художественно-словесном пространстве и до того, сгустившись в последние годы в обилие дистопий, а вернее — проекций социально-политических недугов российского общества на некоторое (не очень большое) время вперед. По логике происходящего поток дистопий должен прекратиться: президентские выборы прошли, а кризис вытряхнул власть из дремоты. С другой стороны — депрессивная неопределенность существования продолжается: мы не знаем, на сколько хватит нефти (по одним расчетам — лет на пятьдесят, по другим — на тысячелетия), кто и когда будет следующим главой страны (ведь вопрос со сроками еще толком не решен), что будет с армией, в которую идут бывшие уголовники, и т.д. Так что этот кризисный жанр вряд ли вымрет до принципиального для страны 2020 года.

Возможно дальнейшее развитие путевой прозы (как «Путешествие из России. Империя в четырех измерениях» А. Битова, «Щукинск и города» Е. Некрасовой и т.д.), поскольку путешествие предлагает свою — романтическую — антитезу прагматичной привязанности к тотальной машине офисного управления.

Однако все новые литературные тенденции будут связаны не с внешним мировым кризисом, а с внутренним — жанровым, стилевым или мировоззренческим.

9 *«Дружба народов» № 11, 2008.*
10 *«Знамя» № 4, 2008.*
11 *«Знамя» № 5, 2008.*

Лев Оборин

ВРЕМЯ ESCAPE

В своей статье Алиса Ганиева рассуждает о том, как связаны мироощущение нулевых, экономический кризис и литературный процесс. «В воздухе витают два сценария: либо массовый дауншифтинг приведет к высвобождению среднего класса и как следствие — к повышению его духовного уровня и большей востребованности высокой литературы, либо уволенные массы еще более уйдут в себя, замкнувшись в депрессивной озлобленности, поиске пропитания и незаконных заработках, а больше всего пострадает некоммерческая литература и небольшие интеллектуальные издательства». Первый сценарий как-то уж слишком сказочен[12]; второй — как-то слишком скучен. И, хотя Ганиева полагает, что сам по себе кризис вряд ли непосредственно отразится на литературном процессе, она считает его катализатором, который может ускорить и так наметившиеся тенденции. В частности, она говорит о высвобождении жанров, выделяя, например, «путевую прозу» (которая имеет в русской литературе достойную традицию и достойных последователей). Другой сюжет — так сказать, борьба образов.

Рассказав о «дуэли» гламурописателя Минаева с нацболом Прилепиным в покойной телепрограмме «К барьеру!», Ганиева подытоживает: «за «богатого» С. Минаева проголосовало 15 тысяч с хвостиком, за бунтаря и защитника угнетенных — 56 с лишним тысяч человек». Мне кажется, что здесь сработала привычка отождествлять героя с автором, и наоборот, тем более что биография Прилепина дает для этого основания. Другая, куда более почтенная привычка — читательское отождествление себя с героем — сопереживание, фантазия. Не поэтому ли Ганиева задает вопрос: могут ли сбыться утопии из романов Минаева и Прилепина — бунты менеджеров и восстания рабочих?

Статья Алисы Ганиевой выделяет героя антигламурной литературы, который не так уж отличается от романтического героя XIX века, резко противопоставлявшего пошлому свету себя — добровольного (или недобровольного, что оказывается не очень важно) изгоя, эскаписта. Если герой ярко не выделен, то на эскапизм работает что угодно — авторская позиция, время-пространство, тематика. Ганиева называет писателей совершенно разных — Иличевского, Снегирева, Алексея Иванова, Елизарова, Геласимова, Славникову — их тексты объединяет мотив ухода от непривлекательной реальности: в сказовые формы, в деканонизацию, в малоизведанную географию.

Мне, как, похоже, и Ганиевой, эскапизм представляется явлением более широким и глубоким, чем бегство офисных работников — описано ли оно в произведениях Садулаева или показано в фильмах (с красивым замедленным вылетанием клавиш из разбиваемой об стол клавиатуры). Нотка эскапизма есть во множестве современных культурных фактов, в том числе литературных — от русской лирики 1980-х гг. (метареалисты и концептуалисты) до романов Филипа Пулмана и Джоан Роулинг[13]. Эскапизм — это не только и не столько пораженчество, сколько надежда. Вот прилетят инопланетяне и всех спасут или хотя бы рассудят. Или вот работает твой мерзкий дядя директором предприятия и травит тебя почем зря, а тут — бац — приходит лесник из волшебной школы и сообщает, что ты волшебник. Штука в том, что и такой эскапизм

12 «Окультуриваться население спешит, / Несмотря на кризис ипотеки. / В винных магазинах ни души, / Зато очереди в библиотеки» — поет группа «Uma2rmaH».

13 Последнее было подмечено довольно рано. См.: Левкович-Маслюк Л. *Гарри Поттер — это дядя Федор сегодня, или Эскапизм в квадрате // Компьютерра, 2000. № 28 (357).*

Об авторе | Оборин Лев Владимирович, родился в 1987 году, поэт, переводчик, критик. Окончил РГГУ. Публиковался в «Знамени» (№ 12, 2008, №№ 2, 5, 7, 2009), «Новом мире», «Вопросах литературы», «Волге». Шорт-лист премии «Дебют» (2004, 2008).

не дает спасения: вспомним, сколько смертельных опасностей пришлось пережить Гарри Поттеру в волшебном мире. Мы помним: «дети во всем мире вдруг снова взялись за книги»; это говорит о том, что в посыле «ухода от скучного мира» есть подлинность. Как была она и в романтизме. Другое дело, что «антигламур» или фэнтези (не рискну давать жанрового определения «Гарри Поттеру») не тянут по масштабу задач на новый романтизм.

Проза обычно бывает точным индикатором своей эпохи. Яркие примеры из современной русской литературы — романы Пелевина, Быкова, которые, кажется, среди авторских задач числят сдобрить свои тексты как можно большим количеством примет времени. Человеку, поверхностно знакомому с историей литературы, ассоциирующему понятие «роман» с массивными эпопеями и хрониками — «Война и мир», «Тихий Дон» или «Сага о Форсайтах», смешение романа (роман — значит, дела давно минувших дней) и повседневности может показаться странным; тем не менее это было актуально всегда. В XIX веке лучше всех чувствовал время и делал зарубки, пожалуй, Достоевский. У кого это получается лучше всех сейчас — не знаю. Один мой ЖЖ-френд недавно написал: «Я, знаете, представляю себе писателей Сорокина, Пелевина и Быкова таким современным трехголовым Н.В. Гоголем. Понимаю — уязвимая точка зрения, но, во-первых, я <...> субъективен. А во-вторых, раз целого Гоголя у нас нет, пусть хоть такой. У всех троих есть свои очевидные и много раз проговоренные недостатки и достоинства, но я уверен, что, если много лет спустя кому-то захочется понять, что в стране происходило действительно, — лучших источников не найти»[14]. Так вот, по мне, при всем уважении к названным трем авторам, они — не Гоголь (впрочем, я не понимаю, зачем нужны «новые Гоголи и Щедрины», мне всегда не нравится формулировка «это — новый такой-то»; помнится, у того же Сорокина в «Голубом сале» сочиняли Достоевский-2, Толстой-4, Набоков-7 и прочие). И на фоне попыток решить проблему — как совместить большую литературу с нынешним контекстом — мне кажется особенно печальным фактическое отсутствие интереса к современной русской поэзии, которая сейчас — наше истинное богатство. Критикам и читателям еще предстоит осмыслить поразительный взрыв в поэзии 1990—2000-х, лишь редкие отголоски которого достигали большого медийного пространства.

«Все новые литературные тенденции будут связаны не с внешним мировым кризисом, а с внутренним — жанровым, стилевым или мировоззренческим», — пишет Ганиева в конце статьи. Что-то такое уже было; называлось это модернизмом. Неплохая аналогия — но нужно понимать, что она сопряжена с «первым сценарием». Второй сценарий — депрессивная озлобленность и культурный вакуум — принесет нам разве что новые двадцать редакций романа «Цемент». Продуктивными будут новые пути и новая наблюдательность, стремление утолить духовный голод.

Елена Погорелая

...НА СЕВШИХ БАТАРЕЙКАХ?..

Так получилось, что к концу нулевых годов второго тысячелетия внешний мировой финансовый кризис совпал с кризисом внутренним — «жанровым, стилевым, мировоззренческим», — ощущение которого давно уже будоражит пространство современной литературы. Метафора «севших батареек», несколько лет назад предложенная писателем Романом Сенчиным для обозначения ограниченности, истощенности духовных ресурсов человека, продолжающегося жить и двигаться вперед

14 *http://den-shi.livejournal.com/772450.html*

Об авторе | Елена Алексеевна Погорелая, родилась в 1987 году в Пензенской области. В 2009 году окончила филологический факультет МГУ. Критические статьи и рецензии публиковались в журналах «Вопросы литературы», «Знамя», «Октябрь», «Новый мир». Работает в редакции журнала «Вопросы литературы», живет в Москве.

скорее по инерции, нежели благодаря силе и логике внутреннего императива, — сегодня оказалась актуальной для обозначения культурной ситуации в целом. Инерционные механизмы, прежде дававшие чувство защищенности (выбранный путь казался узнаваемым, а стало быть, верным) и облегчающие взаимоотношения автора и читательской публики, теперь играют против писателя, постепенно лишая его индивидуальности, ставя созданное им произведение *в ряд*, *на поток*. Подобным текстам, по замечанию критика В. Пустовой, в сознании проницательного читателя сопутствует легкое ощущение подлога, недоверия, возникающее оттого, «что вам очень легко, подозрительно легко все это читать, что вас это убаюкивает»; что писатель, книга которого на данный момент оказывается в руках, следует «за вашими взглядами на жизнь, подыгрывает вам, называя те лейблы, оценки, те любимые вещи, которые вы тоже любите и от которых не хотите отказаться»[15].

Сказанное относится прежде всего к попыткам современной литературы отразить жизнь современного общества, ориентируясь на те же «лейблы», на ту же систему координат, в согласии с которой это общество существует. Кажущаяся стабильность системы подрывается внутренним дискомфортом, эмоциональной расшатанностью; что-то неверное ощущается в экспансии развлекательной культуры, смещении ценностных полей, повышенной информативности, наконец, в засилье картонных профессий, не так давно породившем феномен «офисной прозы» — явления безусловно нового в современной литературе. Этот жанр, в котором работают порой эмоционально и стилистически противоположные не только друг другу, но и самому этому феномену авторы, пользуется особенным спросом у публики — достаточно упомянуть о культовой популярности книг Е. Гришковца «Асфальт» (2008) и «Рубашка» (2004), написанных еще до кризиса и прославляющих жизнь офисного работника, *нового гегемона*. Человека, смакующего каждый прожитый день и сидящего, как на игле, на дарованных ему благах цивилизации: «Я люблю, чтобы все было прибрано, чисто и поглажено. Люблю, чтобы машина была вымыта и в ней не накапливался разный хлам, чтобы в багажнике лежали только необходимые вещи, а не было всяких коробок, пакетов, журналов, которые собирался три месяца назад кому-то отдать <…> Когда я выбрасываю хлам, мне становится легче жить. Когда я помою машину, она начинает лучше ездить, когда привожу в порядок обувь — улучшается здоровье…» («Рубашка»). Антагонистический, пародийный характер приобретает в этом смысле роман Г. Садулаева «Таблетка» (2008) — неудавшаяся попытка развенчания «офисного рая», своего рода промежуточное звено между прозой «мажорной», подгоняющей себя под стандарты заказчика — того класса общества, о котором пишет и к которому адресуется тот же Е. Гришковец, — и прозой отчаяния, вызова сбившемуся с оси миру. Так возникает своеобразный ценностный ряд, если не устанавливающий иерархию, то разграничивающий сферы влияния «офисной прозы». Условно говоря, низший, сугубо коммерческий уровень — это книги С. Минаева, далее идут претендующие на некую нравственную идею сочинения Е. Гришковца, еще далее — книги Р. Сенчина, за которыми — помимо многократно отмеченного критикой обращения к традиции и современного преломления образа лишнего человека — угадывается целый пласт неформальной культуры: от панковского вопля-протеста, обращенного ко всему устойчивому, «буржуазному» миру, до тяжелой сатиры в духе известного сегодня «Менеджера» С. Шнурова (группа «Ленинград»): «Тебе повезло, ты не такой, как все. / Ты работаешь в о-фисе…». Между прочим, связь этой сатиры с литературным процессом ощущается не только на смысловом, но и почти что на клеточном уровне: ее лирический субъект отчетливо демонстрирует популярные в начале 90-х черты полукриминального неформала, в современной литературе неизбежно соотносимые с обликом и поведением писателя Захара Прилепина.

«Мы обречены на смерть своим аморфным населением, — заявляет Прилепин в недавнем своем интервью. — Мужчинами, не желающими плодиться, а желающими

15 Букеровский роман: искушение массовостью // Вопросы литературы. 2009. № 3. С. 95.

играть в компьютерные игры, и женщинами, которые занимаются только тем, как подороже продать свою женскую сущность»[16]. В таком случае брутальная модель поведения становится уже не кичем и не попыткой увлечь за собой молодежь, состояться в качестве лидера, но некоей формой защиты, гарантией собственного хладнокровия в период разброда и шатаний всех окружающих. Маргинальное «я», которому нечего терять и бояться, противопоставляет себя аморфному обществу, жесткость *поступка* становится ответом — часто трагическим — на всеобщее — часто не менее трагическое — бездействие; эта мысль, доведенная до абсурда, звучит в «повести-комиксе» О. Лукошина «Капитализм» («Урал» № 4, 2009), где восстание масс, чья затравленность и бесправность методично описывается на протяжении трех четвертей произведения, в последней четверти приводит к самой настоящей революции и уничтожению правящего — капиталистического — класса. Характерно, что время появления в печати трагического комикования Лукошина в точности совпадает с публикацией текста о тех же крайних, пограничных ситуациях человеческого бытия — нового романа Р. Сенчина «Елтышевы» («Дружба народов» № 3—4, 2009).

Вещь эта для Сенчина неожиданна и оттого особенно сильна и удачна. Кажется, что с прежним своим героем — если не сознательно, то по крайней мере всеми своими поступками (а точнее — их отсутствием: вспомним Дениса Чащина из романа «Лед под ногами», вялых, точно с самого рождения уставших от жизни, персонажей сборника рассказов «Московские тени»), исповедующим философию недеяния, — Сенчин расстался. Связано ли это с «брожением умов», вызванным в обществе финансовым кризисом, — трудно сказать. С одной стороны, внешний кризис как толчок для того, чтобы внутренне окончательно доломать человека, в художественной системе Сенчина смотрится вполне логично, но этот сюжетный ход оказался, по сути, предугадан в судьбе его героя Дениса Чащина еще год назад. «Лед под ногами» («Знамя» № 12, 2007) стал одновременно сигнальным звоночком и логическим завершением *темы лишнего человека в творчестве Сенчина.* На смену этому образу пришел человек действия, инстинктивного, природного, человек, которого нечеловеческие условия понуждают выказать свою животную сущность. Причем преступление в данных условиях — не преступление, а единственно возможный (по крайней мере в глазах сенчинского героя) выход из них, и Николай Михайлович Елтышев, траванув поначалу газом зарвавшихся алкоголиков в вытрезвителе, впоследствии оказывается способен избавиться от дряхлой тетки, занимающий необходимую ему и жене Валентине жилплощадь (характерно, что близость мужа и жены, несколько месяцев невозможная, происходит наконец «на расчищенной территории» в тот самый вечер, когда мешающая им злосчастная старуха убита), а в итоге становится убийцей собственного непутевого сына — Артема. Последовательность событий говорит сама за себя. Роман Сенчина «Елтышевы» ломает линию деревенской прозы, давшую крен еще в поздней — не слишком удачной — повести В. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана» (2003), тоже, кстати, в довольно своеобразном ключе осмысляющей уроки кризиса 90-х годов. Несмотря на некоторые явственно звучащие переклички (и там, и тут рассказывается история краха, разрушения семьи, и там, и тут носителями справедливости становятся вернувшиеся из тюрьмы: в повести В. Распутина — мать семейства Тамара Ивановна, в романе Р. Сенчина — младший сын Елтышевых Денис), можно сказать, что «Елтышевы» — это «Дочь Ивана, мать Ивана» наоборот, выворачивание основной смысловой линии повести как призыва самостоятельно (читай — самовольно) творить справедливость. (Тут же читается и продолжение маканинского «Андеграунда», истории саморазрушения преступившего грань, пролившего кровь человека.) «Елтышевы» — образец психологической бойни, роман-предупреждение, более всего заслуживающий сейчас экранного воплощения: формат экранизации увеличивает шансы на то, что это предупреждение будет услышано.

«Елтышевы» сильны своей способностью выбиться из формата, из жанра, традиции, расшатать их границы. Сейчас это особенно удивляет, ибо, по словам лите-

16 Московский комсомолец. № 25082 (2009. 19 июня).

ратурного критика и романиста М. Елиферовой, в большинстве случаев разница между продуктами литературного творчества определяется не столько качеством, сколько иерархией уровней потребления, тем, на какую читательскую аудиторию ориентирован текст[17]. Это хорошо заметно на уже приводимом примере уровневого функционирования «офисной прозы», это очевидно и в поэтической интернет-сфере, представленной сегодня разрекламированными блогами В. Полозковой и А. Кудряшевой: работающие в одинаковой технике прозаизированного (и предметом, и способом разговора) стиха и в одном — сетевом — пространстве, ярче всего они отличаются «целевой аудиторией», читателем. Если message стихов Полозковой направлен к аудитории, в основном, состоятельной (ночные бары, дорогие клубы, «чему учит нас Гоа / Варанаси / Каджурао, мой свет» и т.д.), падкой на антураж мексиканского телесериала и мыльную сказку о том, что «богатые тоже плачут», то А. Кудряшева чаще обращается к не слишком-то обеспеченному студенчеству, рокерам, автостопщикам, неумелой богеме, тусующейся на съемных квартирах и в спальных районах больших городов:

«Там, наверху, резвились, воткнули штепсель, проводка погорела ко всем чертям, портвейн дешевле выжаренных бифштексов, гитарные аккорды важней, чем театр. Бежишь, забыв про все синяки и ранки, и куришь, что настреляно, на ходу, питаясь хлебом, сыром и минералкой, чтобы не тратить время на ерунду. И это от восхода и до восхода, для пересохшей глотки вино — вода, и алгебра карманных твоих расходов проста, как ветер, треплющий провода…».

Именно эта часть читательской аудитории кажется сейчас наиболее перспективной, т.к. сложившаяся экономическая ситуация вновь и вновь возвращает человека в нестабильное, безопорное состояние, заставляя его с новой настойчивостью искать перспектив и корней. Именно на нее ориентирован вектор так называемой неомифологической прозы, иными словами — прозы нестоличной: деревенской («Земля Гай» И. Мамаевой, «ГенАцид» В. Бенигсена), путевой («АвтоSTOP, или движение без остановок» И. Богатыревой, «Любовь в седьмом вагоне» О. Славниковой), либо «провинциальной» (уральские романы той же О. Славниковой и А. Иванова), — в противовес урбанистическим ценностям предлагающей новые внутренние ориентиры. Душа, организованная в соответствии с современной ценностной реальностью мегаполиса, с тем, чтобы духовные запросы не превышали реального предложения (Е. Гришковец) — это «столичная» литература, тоже своего рода миф, согласующийся с телевизионным брендом типа сериала «Город соблазнов» (2009). Мир, увиденный в преломлении внутреннего взгляда, ставший, по сути, отражением внутреннего мира героя или автора, — литература неомифологическая. Так Мелкая, героиня романа И. Богатыревой «АвтоSTOP…» (2008), в момент очередного поиска жизни в ее свете, смысле, динамике, «пыталась представить себе, как и чем живут люди, и не могла понять»: «Все те ценности, что там, в городах, известны, за два месяца трассы потеряли для меня смысл. Заглядывая туда, я видела, как все эти ценности легко выстраиваются в цепочку и объясняют одно другим, я пыталась это проследить: может быть, где-то появится то, ради чего *действительно* стоит жить, но теряла концы. Учеба — к работе, работа — к деньгам, деньги — к благополучию, семья — к детям, дети… Где конечная цель? Я же теперь знала, что можно жить без денег, без дома, без запасов, главное — излучать радость и быть хорошими людьми. Но, оборачиваясь к миру, я видела, что в нем все устроено иначе, и мне хотелось встать перед всем миром, закрыть глаза и сказать громко: “Стоп!” — чтобы все остановились, а потом задать один-единственный вопрос: зачем?».

В поисках ответа на этот вопрос и мечется современная проза, то обращаясь к исторической фактографии с попыткой вычислить законы развития человека и че-

17 *Букеровский роман: искушение массовостью… С. 91.*

ловечества (останавливает внимание обилие исторических романов и стилизаций, вышедших в прошлом году и уже пробившихся в длинные списки «Большой книги» и «Русского Букера»: «Победитель» А. Волоса, «Шахта» М. Балбачана и т.д.), то усиливая эсхатологические мотивы, преодолевая таким — «мистическим» — способом ощущение обреченности, ожидание финала. Присутствие смерти мифологизирует первые повести И. Мамаевой — «Земля Гай» и «Ленкина свадьба», становится главным действующим лицом «Елтышевых» Р. Сенчина, определяет появление романа М. Галиной «Малая Глуша» (2008) и ее же поэтической книги «На двух ногах». По сути, эта тенденция говорить о *бытии-к-смерти* в современной литературе свидетельствует если не о преодолении страха перед запретными, болезненными, *последними* вопросами бытия (это, пожалуй, все еще слишком смелое утверждение), то о переходе на прямую речь после десятилетий обиняков, ерничанья и бессильного стеба. Можно посетовать, что она, эта самая прямая речь — со всей своей неизбежной лиричностью и трагическим индивидуализмом, — явила себя слишком поздно; но можно, вспоминая о том, когда в России наступает настоящее, некалендарное, время литературы, начать рассчитывать иерархию ценностей в новой системе координат.

Евгения Вежлян

НОВАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ, ИЛИ НАЗАД К ТОЛСТОМУ

Прежде чем начать рассуждать на заданную Алисой Ганиевой тему о кризисе и литературе, сразу оговорюсь, что считаю саму постановку вопроса — не совсем корректной. Потому что — преждевременной. В самом деле — в отличие от дефолта 98-го года, ставшего для многих наших соотечественников одним из самых травматичных воспоминаний нового исторического периода — в силу наглядности как проявлений, так и — персонально для каждого — последствий, нынешний кризис — для большинства штука совсем абстрактная, никак не затрагивающая повседневную жизнь. Всего лишь очередная телевизионная новость. Или — мифологизированная универсальная причина повседневных временных трудностей, зачастую не имеющих никакого отношения к кризису. Именно к этому — мифологическому — ряду относится восприятие кризиса в моральных категориях — как «расплаты» за «потребительство» и «бездуховность». Не говоря уже о том, что для «расплаты» то, что происходит, — слишком вяло и неочевидно, поскольку свершается в сферах, от повседневности очень далеких, само понятие «потребительства» (оценочная переделка термина «потребление») — такой же миф обыденного сознания, как и «кризис». Тем самым становится очевидно: если «героический» 98-й год был универсальной развязкой многих сюжетов (классицистический deus ex machina, фактически[18]), то кризис нынешний — статичен и проявляется в мелких, вовсе не катастрофичных изменениях несюжетообразующего характера. Он слишком масштабен и потому не ощущается — на уровне частных жизней и опытов. Конечно, имеют место и смысловые сдвиги, но они столь медленны, что литературе потребуется время и время, чтобы усвоить, освоить происходящее и найти для него слова.

То есть прямой связи между «кризисом» и «литературой» пока не существует. Но те социально-экономические процессы, которые привели к кризису, начались не вчера (хотя у нас — сильно позднее все же, чем на Западе) и уже довольно давно

18 Так, например, происходит в романе Сергея Кузнецова «Серенький волчок», где начавшийся дефолт — и сюжетная развязка, и смысловой рубеж 90-х — эпохи, которой и посвящен роман.

Об авторе | Евгения Вежлян родилась в Москве в 1973 году, критик, поэт, кандидат филологических наук.

прошли литературную абсорбцию, превратившись в темы — мотивы — сюжеты и даже — клише. Социально-экономические трансформации последних двадцати лет (отрезок, который сейчас принято называть «историей новой России) — от т.н. «первоначального накопления» до т.н. «стабилизации», означающей, что в общем и целом наше общество отстроилось и структурировалось как нормальное «общество потребления» с присущей ему системой ценностей, стали материалом для литературного освоения, как только начались. Внезапно изменившийся мир потребовал новых ориентаций и новых ценностных шкал, новой идентичности. Именно это требование образовало поле новой актуальности, определило смысловой и событийный центр новой словесности[19].

Динамика этого освоения литературой новой жизненной реальности, взятая в фокусе нашей темы, представляет существенный интерес. Собственно, процесс «становления капиталистических отношений», как принято было писать о нем в советских учебниках, со всеми прилежащими к нему тематическими опциями — главная тема литературы XIX века. Потому писателям 90-х было на что опереться. Романтические оппозиции, типа бескорыстие — меркантильность, духовность — продажность, бог — мамона, правда — ложь были к их услугам, лежали готовые и поначалу даже неплохо срабатывали.

Но эта традиция очевидным образом не схватывала чего-то главного. Ею не «бралась» тонкая специфика времени. Неудивительно, что тема «первоначального накопления» с выработанными топосами типа «люди гибнут за металл», «продажа души» и т.п. вскоре стала достоянием масскульта — желтой литературы и сериалов о «героических девяностых»[20] .

Потому как реальные процессы, происходящие в социуме, на самом деле были вовсе не реальными, а — символическими, и касались они вовсе не товарно-денежных отношений. Новый герой оказался вовсе не так прост: его образ мерцал и странно двоился. Родившись (вернее, возродившись) как «капиталист», этакий Лопахин с огромным мобильником в руках (образ, ставший вдруг очень модным к середине 90-х, когда одна за другой в театрах шли постановки по-новому актуального «Вишневого сада»), по ходу развития он трансформировался… В 94-м году была такая реклама: он, в модном плаще и очевидно дорогих ботинках, выходит из подъезда уверенной походкой хозяина, глядя на большие, очевидным образом добротные часы, и садится в машину — тоже добротную и дорогую. Затем происходит переключение планов. Она: хрупкая, модно одетая (кстати, тогда мода ничего общего не имела с теперешним «гламуром» — она была, скорее, деловой, феминистки правили бал), ходит по супермаркету (тогда супермаркеты только появились, и покупку в них себе мог позволить далеко не каждый). И текст: «Он знает, как заработать деньги, она — знает, как их тратить, а мы поможем их сохранить». Это была реклама банка. Сегодня уже неважно, какого. Важно другое: те новые смыслы, которые она в себе несла. Это и были точки кристаллизации новой современности. Герой этой рекламы не был владельцем денег в смысле «бабла» и «грина», добываемых ценой крови, преда-

19 Заметим вскользь, что именно проявившаяся в середине 90-х разница в ощущении актуальности обусловила разделение современного литературного сообщества на условно «поэтическое» и условно «прозаическое». «Прозу» интересовал социум в точке его радикальных изменений, и ее актуальность определялась этим, а «поэзию» (куда относится и поле прозаического эксперимента) — эстетическое самоопределение в рамах новой парадигмы. То есть для поэзии быть актуальной — означало быть инновативной, выстраивать поле различения. Подобное выстраивание неотделимо от философско-эстетической рефлексии. То есть поэзию интересовали причины и частный опыт, а прозу — общезначимые следствия — одних и тех же трансформаций.

20 Эта тема недавно подверглась неожиданному переосмыслению в новелле Ольги Славниковой «Каменный гость» из книги «Любовь в седьмом вагоне» — ближайшее прошлое, пересказанное языком универсальных культурных архетипов, утрачивает уникальность, перестает быть новым, музеефицируется.

тельства и т.п. «грязных» вещей. Его деньги были другими — невесомыми, невидимыми, «нетварными», что ли… Они не пахли. Они даже не имели происхождения. О том, что они были, мы догадывались по знакам (плащ, ботинки, часы). И это были не знаки «богатства» — категории абсолютной и кастовой, свойства, которое делает своего обладателя неприятно недосягаемым. Нет. Это были знаки благосостояния — категории относительной, дружественной и демократично близкой. С ней хотелось отождествляться. Как хотелось отождествляться с героем этой рекламы — успешным менеджером, овеянным флером мечты, и с его добропорядочной женой, умеющей тратить деньги. Они обладали кое-чем большим, чем деньги. Они обладали знаками счастья, отождествленного с благосостоянием. Эта реклама знаменовала новую точку в развитии повседневности — рождение потребителя как настоящего «героя времени». Но эта золотая мечта изначально была наделена коварной амбивалентностью.

Бодрийяр характеризовал праксис потребления как такой, которому присуще прежде всего особого рода отношение к реальности, характеризуемое как «невключенность». Дело в том, что потребитель с реальностью вовсе не соприкасается. Он потребляет не ее саму, а лишь ее знаки. Основа его социального бытия — потребление знаков счастья и благосостояния. То есть симуляция. Успешный менеджер — потребитель и производитель знаков — как «герой времени» выпадал из привычных смысловых оппозиций и встраивался в новые. Вместо «бедность — богатство», «духовность — меркантилизм» конфликт теперь выстраивался по линии «реальное — мнимое», «вещь — знак», и даже «поверхность — внутренность». Причем конфликт этот был изначально неразрешим. То счастье, которое было гарантировано накоплением знаков, встроенностью в мир гладких поверхностей в качестве одной из таковых — было подменой, или, в терминах того же Бодрийяра, — симулякром счастья. Но и стремление к «реальным вещам», к «включенности», эквивалентное стремлению классического русского романного героя к истине, все равно не имело исхода — оно оборачивалось своей противоположностью — тотальной исключенностью из бытия.

Пелевин, пожалуй, был первым, кому удалось найти романную форму и конфигурацию сюжета, адекватную новому типу героя и конфликта. Его Вавилен — герой «Generation П» — находится в безусловном центре происходящих в стране исторических трансформаций: он рекламщик — создатель потребляемых обществом образов и, следовательно, демиург самой социальной реальности. Продукт и создатель продукта в одном лице… Такая постановка героя позволила Пелевину проникнуть в самое сердце «новой реальности», обнаружив ее симулятивную, подменную природу. Смысловой фокус текста находится у Пелевина по ту сторону рекламной картинки. Но в этом пространстве «по ту сторону» ничего нет — то есть нет ничего реального. Оно целиком и полностью интеллигибельно. Это пространство рефлексии, а точнее — посмодернистской деконструкции, обнаруживающей бездну и пустоту за гладкостью упаковки. «Жизненный мир» у Пелевина оказывался — нацело — только тем, что показывают по телевизору. Встроиться в него (став менеджером в дорогом прикиде) романный герой может только путем отказа от заблуждений классического русского романного героя — позабыв вечность в любом ее варианте — даже в виде достоевской «баньки с пауками»[21].

Таким образом, уже при своем возникновении «литература о потреблении» обнаружила внутри своего предмета разлом, чреватый кризисами и катастрофами. Потребление и накопление знаков чревато их инфляцией — утратой означаемого. А значит — и утратой смысла. Но то же самое происходит и в экономике общества

21 *Последним стихотворением, которое написал пелевинский Вавилен, прежде чем переродиться из выпускника Литинститута и будущего переводчика в «героя времени», был перифраз шевчуковской песни:*

Что такое вечность? Это банька.
Вечность — это банька с пауками.
Если эту баньку позабудет Манька,
Что же будет с Родиной и с нами?

потребления: приобретая на знаки денег знаки благосостояния, потребитель уменьшает реальный «капитал», сводя его на нет. Но самое неприятное заключается в том, что ни реальность, ни смысл до поры до времени не востребуются. Потребитель не знает о них и не хочет знать. Он берет кредиты и множит образы. Если, конечно, не начинает рефлектировать. Но даже если начинает — что толку. По ту сторону потребления — для него ничего нет.

Надо сказать, литература двухтысячных утратила интерес к деконструкции. Что привело к смещению смыслового фокуса повествования. Теперь и автор, и герой находятся «по эту сторону» мира знаков. Герою «Головоломки» Гарроса и Евдокимова, по видимости наследующих Пелевину, не нужно «отказываться от наследства» русской классики и от интеллигентских комплексов. Он сформировался несколько позже, чем пелевинский Вавилен. И потому сформировался не в русского интеллигента, а в интеллектуала западного образца, готового продавать свою эрудицию, безответственно болтая обо всем в качестве колумниста. Он ценит деньги, он разбирается в знаках благосостояния. И когда закрывают газету, не раздумывая идет служить в рекламный (!) отдел банка. То есть, в сущности, — опять на передовой край современности. То, что он совершает потом, — кровавое убийство директора банка и еще нескольких персонажей — это, конечно, бунт. Но отнюдь не революция. Общество потребления — жестко иерархично. Неравенство — его движущий механизм и его основа. Знаки — это всегда знаки успеха, и они дрейфуют сверху вниз, от низших к высшим. Герой «Головоломки» обездолен не потому, что беден, а потому, что другие успешнее (именно успешнее, а не богаче). То есть он находится в рамках той же системы координат, говорит на том же языке. Его поступками руководит «рессентимент» ницшеанства. Он не хочет изменить мир — он хочет присвоить существующий.

Посему — это еще не кризис. Более того — это расцвет. В 2000-е годы общество потребления окончательно завоевывает пространство культуры (в широком смысле этого слова), сформировав законченный стиль и язык для выражения своих идеалов. Это так называемый гламур. Этот стиль затрагивает и литературу. «Гламурный роман» — это не литература о потреблении, а «литература потребления», которая к тому же и пишется для того, чтобы быть потребленной. Она — такая же часть «системы», как и глянцевые журналы. Мир, выведенный в романах Робски, Маши Трауб и прочих писательниц, прочно базируется на ценностях общества потребления. Это рекламный ролик, герои которого вдруг обнаружили способность умирать и плакать. Что делает представителей «высшей касты» (обитателей Рублевки) «просто людьми» в глазах «просто людей». То есть — делает их объектами отождествления. В этом, как кажется, был заключен главный социальный эффект гламурной литературы. То, что отождествление происходило по линии «просто человеческого», — важно. В отличие от «литературы о потреблении», у «литературы потребления» были четкие этические ориентиры. Семейные ценности, любовь, дружба, верность, боль от потери — все это читатель находил в гламурных романах в изначальном и неизвращенном виде. Но ровно в той мере и степени, в какой находил их зритель рекламных роликов. Идеология общества потребления отождествляет благосостояние с добродетелью, а вещи становятся знаками чувств. Причем простота, непосредственность и изначальность этих чувств подчеркиваются. Гламурный мир подкупает своей искренностью. Точнее, ее симулякром. Традиционная система ценностей присвоена и использована гламуром. Это очень хорошо понял Евгений Гришковец, лукаво балансирующий на грани «литературы о потреблении» и «литературы потребления». Открыв в начале 2000-х способ, преодолев постмодернистское недоверие к естественности и постмодернистскую усложненность, говорить просто о простых, узнаваемых вещах, он невольно (или намеренно?) ответил на вызов эпохи, с ее культом новой легкости и вниманием к обыденным мелочам (недаром 2000-е начинаются с фильма «Амели»). Его художественный язык оказался омонимичен языку глянца, но никогда не был тождествен с ним. Простодушный герой Гришковца — успешный менеджер, но без демонических наворотов. Он испытывает приступ счастья, купив новый мобильник или надев свежую белую рубашку. Он дегустирует мир, как дорогой коньяк или новый оде-

колон, и испытывает удовлетворение от дегустации. Герой, но не автор. В текстах Гришковца есть попытка противопоставить скользящему взгляду «дегустатора» и любопытствующего зрителя (именно любопытство, по Бодрийяру, определяет отношение потребителя к миру) нечто «истинное», подвергнуть героя испытанию настоящим. В «Рубашке» это любовь, в «Асфальте» — смерть близкого человека. Но испытания не получается. «Истинное» не может прорвать блестящую оболочку. Гришковец как автор сливается со своим объектом. Его книги хотят быть литературой о том, как быть человеком, а являются литературой о том, как изображать человека — настоящего, подлинного, искреннего.

В этих попытках литература о потреблении (а значит — социально актуальная литература) исчерпывает данный ей кредит на подлинность. И начинается кризис. Нарыв прорывает книга Минаева «Духless». Она прямо с обложки заявляет о ненастоящести потребителя и его мира. Само по себе подобное заявление еще не было знаком кризиса. Минаев же не просто декларирует — «все ненастоящее». Он разоблачает, как в старые добрые времена. А «разоблачение» требует достаточно серьезного основания: нужна точка выхода из системы (которую так и не удалось найти Гришковцу, и которую даже не стремился искать Пелевин). Этой точкой у Минаева становится точка возврата. Если герой назван «ненастоящим человеком», то, значит, есть и настоящий. Если реальность, в которой он живет, — поддельна, то есть и подлинная. Книга Минаева буквально пронизана аллюзиями на русскую классику (в основном на «Героя нашего времени», что неудивительно). Это означает, что герой заодно с автором, как в старые добрые времена, ищет истину и видит безобразие под личиной светской лжи. Прошлое оказывается тем пространством живого смысла, в которое можно вырваться из настоящего. Кроме эпигонства, не находится никакого другого способа для вопрошания о смысле перед лицом дурной бесконечности пустых знаков, наконец-то открывшей свою истинную сущность даже недалекому обывателю, каким безусловно является минаевский герой. Впрочем, это явление «ретроспективного разоблачения» характерно не только для отечественной литературы. Минаева недаром называют «русским Бегбедером». Романы французского писателя также ориентированы на консервативную систему ценностей и на французскую классику, как романы Минаева — на Лермонтова и Толстого (интерпретация которых у него, конечно же, клиширована и восходит к школьной программе). И в этом смысле симптомы кризиса были литературой обнаружены намного раньше, чем они проявили себя в мировой экономике.

Сам же кризис, как было сказано выше, непосредственному отображению не подлежит. Просто все то, о чем здесь было сказано, уже отошло в область недавней литературной истории. Дегламуризация культурного контекста прошла незаметно. Но — быстро. И последствия ее уже ощутимы. Сюжет потребления нами, как видится, пережит и переварен. Зоной актуальности теперь становится не просто неактуальное, а — антиактуальное. Достаточно посмотреть на премиальные шорт-листы. Историческое повествование Геласимова, фантастика Елизарова…

Современное больше не современно. Если же говорить о будущем, то, видимо, эстетическая актуальность вскоре станет «актуальнее» социокультурной, тематической. Наступает эпоха поэзии и артхаусной прозы.

Ольга Бугославская

Гибель империи на большом экране

О том, насколько острой и болезненной является для нас тема распада Российской империи и СССР, говорит количество художественных, научных, публицистических, документальных произведений, вышедших в последнее время, в самом названии которых заключена данная проблема: «Гибель империи. Уроки для современной России» Егора Гайдара, сериал «Империя под ударом», фильмы «Гибель империи» Владимира Хотиненко, «Исчезнувшая империя» Карена Шахназарова. А также проекты «Российская империя» и «Намедни» Леонида Парфенова, «“На закате”. Рожденным в СССР посвящается» В. Терехова, «Советская империя» Елизаветы Листовой, фильм «Груз 200» Алексея Балабанова, блокбастеры «Статский советник» Филиппа Янковского и «Адмиралъ» Андрея Кравчука. Это если говорить только о тех вещах, которые были более или менее на слуху.

История России XX века позволяет одновременно сделать два противоречивых вывода: с одной стороны, государство, которое разрушалось дважды в течение одного столетия, наверняка обладает особой неустойчивостью, а с другой, наоборот, демонстрирует удивительную волю к жизни и способность возрождаться после ударов, которые, по всем расчетам, должны были бы оказаться смертельными («Уникальный случай — восстановление в иных, коммунистических… формах Российской империи в 1917—1921 гг.». Егор Гайдар. «Гибель империи. Уроки для современной России»). Это формирует соответствующие ожидания. Егор Гайдар в той же монографии ссылается на социологические исследования, согласно которым «значительная часть российского общества воспринимает Российскую Федерацию как временное, промежуточное образование, которое со временем либо расширится, либо распадется». Что отвечает принципу «все или ничего», на который нам свойственно опираться. Имеющиеся прецеденты позволяют одинаково легко верить как в одну, так и в другую возможность.

В ситуации, когда перспектива дезинтеграции страны вновь представляется вероятной, небезынтересно понять, что наше общество сегодня считает причинами катастроф, происходивших в прошлом. Как мы должны представлять себе то, что случилось с Российской империей, например?

Об этом в определенной мере можно судить по популярным произведениям, которые, как известно, с одной стороны, формируют представления публики и в то же время — соответствуют ее ожиданиям и настроениям. При всех возможных нюансах в них всегда можно вычислить хороших и плохих, правых и виноватых, увидеть ориентиры и акценты.

Наибольшее воздействие на формирование общественного мнения в наши дни оказывают, как известно, фильмы, которые выходили в широкий прокат или демонстрировались по ЦТ. Если говорить о событиях, так или иначе связанных с революцией и Гражданской войной, то им было посвящено несколько масштабных проек-

От автора | Ольга Бугославская родилась в 1974 году, окончила филологический факультет МГУ, кандидат филологических наук. Живет в Москве. Публиковалась в журналах «Вестник МГУ» и «Знамя». С 1996 года работает в коммерческом банке.

тов Первого канала, многие из которых уже упоминались: сериал «Империя под ударом» 2000 года, «Гибель империи» Владимира Хотиненко и «Статский советник» Филиппа Янковского 2005-го, экранизация «Доктора Живаго», предпринятая Александром Прошкиным в 2006-м, и «Адмиралъ» Андрея Кравчука 2008 года. Кроме того, этой темы косвенно касается лента Сергея Овчарова «Сад», снятая по мотивам Чехова тоже в 2008-м.

Сериал «Империя под ударом» освещает события первого десятилетия XX века, акцентируя проблему терроризма. Почти каждая его серия рассказывает о террористическом акте против кого-то из высокопоставленных царских сановников. Противостояние прямое: с одной стороны государство, власть, с другой — эсеры-террористы. Лагерь «власть» монолитен, в нем нет группировок, и соответственно никаких догадок о том, что террористы могли быть инструментом в чьих-то руках, фильм не строит.

Среди террористов встречаются прожженные циники, фанатики, романтики и просто не нашедшие себе применения заблудшие души. Образ Доры Бриллиант соответствует расхожим представлениям о помощнице боевиков — мстительной инфернальной брюнетке, чья судьба осложнена некой личной драмой. При встрече террористы иной раз обмениваются репликами вроде «Карфаген должен быть разрушен» или «Здесь все прогнило», что звучит и вовсе глупо. Это люди либо психически нездоровые, либо плохо понимающие, что они делают. Их сравнивают с болезнетворными бактериями, которые разлагают и убивают здоровый организм. Расчет, по-видимому, сделан на то, что аудитория слышала что-то краем уха про «Бесов» Достоевского. Вопрос, который повисает: откуда они взялись? Получается, что посходили с ума на абсолютно ровном месте.

В прологе, где описана общая ситуация рубежа веков, сказано: «20 лет мира и успехов России. Седьмой год правления Николая Александровича. …Наступающий 20-й век ожидают с уверенностью и оптимизмом. …Кажется, еще чуть-чуть, и не останется бедных, угнетенных, будут побеждены несправедливость, болезни, старость, смерть… Империи как никогда нужен мир, как внешний, так и внутренний. …еще 20 лет покоя — и Россию не догнать». Далее для некоторого равновесия сообщается: «Однако правительство не торопится с реформами. Сохраняется неравенство сословий, дискриминация народов, идея парламента объявлена великой ложью нашего времени». Негативная информация здесь тонет. По сравнению с «еще 20 лет — и Россию не догнать» все сказанное после «однако» представляется чем-то очень малозначительным. Тем более что зрителю 2000 года опыт предыдущего десятилетия подсказывал, что идея парламента, например, и в самом деле ложь, а равенства сословий вообще не бывает и говорить о нем бесполезно.

Сконструированная модель примерно такова: благополучная страна по всем признакам идет к пику своего процветания. Однако внутренние враги, чья ненависть к государству не имеет вразумительных оснований, своей подрывной деятельностью наносят ей тяжелый урон. Как нужно думать, в дальнейшем такого рода деятельность и приведет к фатальным результатам. Вопрос о том, как получилось, что в столице процветающей империи «в каждом дому революционер сидит и бомбу делает», фильм не рассматривает.

«Статский советник» отличается большей смелостью и допускает мысль о том, что террористы могли использоваться в политических интригах. Представители государственной власти изображены в духе Салтыкова-Щедрина. (Дефицит кадров — основная, едва ли не единственная серьезная проблема государства.) Исключение составляют два персонажа — Фандорин (Олег Меньшиков) и князь Пожарский (Никита Михалков). У обоих масса достоинств, но один — идеалист, другой — циник и прагматик. Пожарский в своих целях манипулирует действиями боевой группы террористов. Фандорин его разоблачает, что, правда, не имеет большого практического значения, поскольку Пожарский вслед за этим погибает, не рассчитав один из шагов своей рискованной игры. Главное, что успевает сделать персонаж Михалкова, — это произнести пророческий монолог о судьбах Родины. Акцент стоит на второй его части, где Пожарский предвещает приход большевиков. Однако и первая

часть довольно существенна, поскольку в ней доступно сформулирована первопричина революции, не именно Октябрьской, а вообще любой:

«— Вы знаете, кто мы?

— Я надеюсь, охранители Добра от Зла.

— Вот! Золотые слова! Именно — добра. Краденого-с. Наши с вами предки за долгие годы обобрали своих менее расторопных и оборотистых соплеменников и веками накапливали эту добычу. А мы это добро охраняем с вами от грязных, вшивых, голодных, которые только спят и видят, как бы это добро растащить к чертовой матери».

Это высказывание из разряда «То, что вы хотели знать, но боялись спросить» подтверждает самые неприятные подозрения зрителей относительно главной роли государства и оправдывает саму идею революции, которая с этих позиций представляется абсолютно справедливой, что бы там ни говорилось дальше.

По версии фильма, государство, призванное в первую очередь не допустить передела собственности, снаружи осаждают террористы, а изнутри разъедают щедринские типажи, которые ничего не понимают, а «только раскачивают, раскачивают, раскачивают» на свою же голову. Как известно зрителю, справиться с этим государству, несмотря на торжественный проход Фандорина по Красной площади, не удастся, и через некоторое время прогнозы Пожарского оправдаются в полном объеме.

Сериал «Гибель империи» Владимира Хотиненко вводит в зону общественного внимания Первую мировую войну, которая, по справедливому замечанию автора сценария фильма Леонида Юзефовича, заслонена от нас более поздними событиями — революцией, Гражданской и Отечественной войнами.

По логике фильма, Первая мировая война — как минимум главная, а по большому счету — единственная причина революции и последующих катаклизмов. В центре две пары идеальных героев: боевой офицер со своей спутницей и рефлексирующий интеллигент с женой. Мужчины благородные, храбрые, честные, умные, образованные... Женщины красивые, преданные, любящие, милосердные... Как говорят в таких случаях, они оказываются в круговороте трагических событий отечественной истории. С профессиональной точки зрения фильм сделан на очень высоком уровне, в отличие от довольно кустарной «Империи под ударом». Здесь же и лучшие актеры, и сюжет увлекательный, и эмоции на высоте, и спецэффекты удались, и стиль модерн отлично смотрится с экрана... Один существенный момент, который с 2005 года стал еще более существенным, остается за рамками повествования.

Как показано в картине, во время смуты по мере углубления кризиса на авансцену выходят все более и более откровенные негодяи. Самые последние из них — большевики. Красные и им сочувствующие предстают либо в качестве расчетливых, подлых и продажных авантюристов, либо — звероподобного сброда, движимого ничем не мотивированной ненавистью. Ни о какой идейности или чем-то подобном применительно хотя бы к кому-нибудь из большевиков речь не идет.

В одну из серий включен зловещий эпизод: в уютной гостиной с мягким абажуром происходит прощальная встреча идеальных персонажей — их последний счастливый вечер перед чередой драматических событий. Музыка, трогательные слова, снег за окном. А на улице стоит солдат со шрамами на лице. Он злобно всматривается в окна этой гостиной и с ненавистью шипит: «Твари». Понятно, что это представитель нарождающегося смертоносного начала, которое скоро уничтожит идиллию в гостиной. Начало это пугающее и отталкивающее. Однако этому плохо одетому, «искалеченному жизнью человеку», как сказал о нем сам Владимир Хотиненко, по идее, не грех было бы посвятить отдельную сюжетную линию, чтобы увидеть, какой была его жизнь, что с ним случилось на войне, как в это время жила его семья и прочее, и ответить таким образом на вопрос, почему он, собственно, должен был любить изящных господ, которым, при всей их душевной тонкости и человеческой привлекательности, не было до него никакого дела.

Порожденная советской пропагандой идея о том, что революция происходит тогда, когда жизнь народа становится особенно тяжелой, а у власти оказываются самые жестокие и бессовестные правители, что она восстанавливает справедливость в отношении слабых и угнетенных и приводит к власти восставший народ, была

отброшена давно. Вместе, собственно говоря, с самим «восставшим народом». Человеки с ружьем, ходоки, безлошадные крестьяне и рабочие-путиловцы в подробностях никого больше не интересуют. О «тяготах народной жизни» иногда что-то говорится вскользь, но предметом специального изображения они теперь не становятся. Народ, который в советской системе представлений страдал под гнетом самодержавия, потом самоорганизовался, выдвинул своих лидеров и самодержавие сверг, сегодня представляется силой либо стихийной, либо кем-то умело управляемой. Осознанной воли персонаж по имени «народ» в общем и целом лишен. Соответственно его «тяготы и лишения», возможное недовольство чем-либо в историческом процессе большой роли не играют.

Еще один отвратительный персонаж в адрес благородных героев бросает слово «офицерье». И опять же «хорошие — плохие». Тот, кто произносит «офицерье», — разрушитель и ненавистник, сами офицеры — защитники и опора всего лучшего. И, вероятно, все это глубоко верно. Только вот откуда же взялось это слово? Не подскажет ли нам что-нибудь рассказ «После бала», например?

Речь не идет о том, чтобы все пытаться объяснить простыми причинами, оправдать то, что оправдать нельзя, или отрицать возможность проявления в человеке темной агрессии и первобытной жестокости. Но все же в положение нищего и полного ненависти солдата нужно как-то постараться войти, а не просто сказать ему, что ты — сброд, отребье, тебя надо бояться и не выпускать из узды. Тем более что сегодня найдется немало людей, у которых есть основания ассоциировать себя с этим персонажем.

В «Гибели империи» не последнюю роль в разложении государства играют немецкие деньги, которые шли на поддержку большевиков. Октябрьская революция оказывается, по сути, оранжевой. (А сегодня любая революция трактуется как оранжевая, то есть полностью искусственная, устроенная на деньги врагов.) Внутренних проблем, которые могли бы послужить основой для революции, в стране, согласно «Гибели империи», не было. Или они остались за кадром.

Согласно фильму произошло приблизительно следующее: благополучная страна столкнулась с внешними проблемами, вступила в губительную для себя войну и в конечном счете погибла.

Один из новейших продуктов киноиндустрии, касающийся событий революции и Гражданской войны, — фильм «Адмиралъ», посвященный Александру Колчаку. Это одно из произведений, которое призвано участвовать в создании нового пантеона национальных героев. Здесь мотивировки разворачивающихся событий отсутствуют практически полностью. Вероятно, подразумевается, что публике все и так должно быть известно. За скобки вынесено почти все, кроме фигуры главного персонажа и выборочных, что тоже разрывает целостность повествования, фактов его жизни. На экране мужественный флотоводец, победитель, герой. Он одерживает военные победы, его заслуги по достоинству оценивает монарх, перед ним открываются блестящие перспективы... Но происходит революция, которая переворачивает все с ног на голову и превращает героя из триумфатора в побежденного. Мы видим, что происходит, но опять же не видим, почему. Почему вдруг взбунтовались матросы? Почему оказалось, что они ненавидят офицеров? Почему белые все проигрывают? Почему против них поднимают восстание? Все это особенно странно, если учесть, что белые никогда не делают ничего предосудительного, никого не грабят, не говоря ни о чем худшем. Здесь революция и смута рисуются прежде всего как стихийное бедствие, которое выносит со дна на поверхность грязь и мусор, активизирует деструктивные силы и не поддается контролю и рациональному объяснению.

В общих чертах «Адмиралъ» предлагает такой вариант: течение российской жизни делится на дореволюционную — правильную и послереволюционную — неправильную. Правильный ход жизни подразумевает, что положительные персонажи одерживают победы в сражениях, удостаиваются благосклонного внимания со стороны государя, занимают ответственные посты и так далее. Со слов «монархия пала» все поднимается вверх дном, и весь свет восстанавливается против хороших людей. В результате чего это случилось, зрителю не сообщается.

Официальный советский кинематограф на свой лад объяснял зрителю, почему в России происходили восстания и революции. Если взять, например, «Броненосец «Потемкин», то его действие развивается от причины к следствию. Современный мейнстрим с разной степенью исторической достоверности и убедительности описывает события, но почти не пытается их обосновать. Никаких, условно говоря, червей в мясе здесь нет.

Советский вариант ответа на этот вопрос — потому что одни люди жили хуже других, это было несправедливо, и те, кто жил хуже, путем революции восстановили свои права — не вызывал доверия уже в советское время. В момент, когда страну возглавлял, например, Черненко, а с экранов телевизоров постоянно звучало «…товарищи Зайков, Слюньков…» — рассказ о том, каким кровожадным и одновременно слабым правителем был Николай Второй, не убеждал даже первоклассника. На закате СССР уже никто не думал, что революция принесла с собой благо и перемену к лучшему. Наоборот, складывалось впечатление, что наши предки взбунтовались от слишком хорошей жизни. В Российской империи было все, чего особенно не хватало советским людям — интеллигентного вида царь, сравнительная свобода, открытые границы, изобилие и вытекающие из всего этого блага. В «Исчезнувшей империи» Карена Шахназарова отчасти передано это отношение к дореволюционной России в период позднего СССР: жадное внимание к рассказам очевидцев о той, другой жизни, ажиотаж вокруг букинистических книг того времени и так далее.

Когда уважение к своей стране у советских людей пошло на убыль, чтобы вскоре совсем иссякнуть, когда бытовали такие анекдоты как: «Что такое счастье? Быть гражданином СССР. А что такое несчастье? Иметь такое счастье», — опору для остатков национальной гордости обрели в образе Российской империи — прекрасной погибшей Атлантиды.

Егор Гайдар в монографии, посвященной крушению Советского Союза, пишет: «В российском общественном мнении сегодня доминирует следующая картина мира: 1) двадцать лет назад существовала стабильная, развивающаяся, мощная страна — Советский Союз; 2) странные люди (возможно, агенты иностранных разведок) затеяли в нем политические и экономические реформы; 3) результаты этих реформ оказались катастрофическими…». Ленты «Империя под ударом», «Гибель империи», «Адмиралъ» предлагают думать нечто похожее и о Российской империи: 1) существовала быстро развивающаяся и многообещающая страна, не имевшая значительных внутренних проблем и противоречий; 2) неизвестно откуда взявшиеся враги (террористы — «бесы») и / или воевавшие с нами немцы взбаламутили страну, захватили власть / передали ее в руки большевиков и тем самым привели народ к череде ужаснейших катастроф.

Такая точка зрения возобладала еще на рубеже 80—90-х годов. На самом популярном уровне она выразилась в известном хите Игоря Талькова «Россия»: «Твои златые купола **кому-то** черный глаз слепили, Ты раздражала **силы зла** и, видно, так их доняла, что ослепить тебя решили...». Кому слепили? Что за силы зла?

Показательно, что в то же время образ Ленина приобрел совершенно новый акцент. Уроженец российской глубинки, выходец из многодетной семьи, то есть абсолютно «свой», Ленин превратился в максимально «чужого» — шпиона, воровским способом пробравшегося к нам из-за границы и натворившего здесь неописуемых бед в угоду воевавшей с нами Германии. Первой реакцией общества на вновь открывшиеся обстоятельства, на то, что называлось исторической правдой, было отмежевание, дистанцирование: это не мы, это кто-то, «силы зла».

Сегодняшнему зрителю, который видит по телевизору, что белые никогда не совершают ничего дурного во время показываемых событий, логично предположить, что они должны были сделать что-то не так когда-то раньше. Кроме эпических лент о последних годах империи, по Первому каналу была показана экранизация «Вишневого сада», созданная Сергеем Овчаровым. Она прошла в ночное время в рамках «Закрытого показа» Александра Гордона и, конечно, не имела столь широкой аудитории, как вышеперечисленные сериалы и фильмы. Однако демонстрация по Первому каналу все-таки гарантирует, что какое-то внимание картина получила.

Фильм выдержан в стилистике немого кино, нарочито декоративен, в нем много клоунады и вообще цирка. Все это усиливает главное впечатление. В фильме подчеркнуто время действия — 1904 год — канун исторических потрясений. Комедия Чехова, а вслед за ней и экранизация рисуют систему межличностных отношений, которые легко проецируются на отношения общественные. Мы видим людей, на которых надвигается некая угроза. Угрозу эту они вроде бы видят и осознают, но ведут себя так, как будто не видят и не осознают. Прячутся от нее, думают о другом, строят какие-то нелепые замыслы. Кто-то пытается радоваться ее приближению. Народ представлен группой бессловесных полуманекенов, на которых постоянно кричат и замахиваются палками. Все, что персонажи делают, неадекватно обстоятельствам и не имеет перспективы. Между собой их мало что связывает. Каждый ждет от другого каких-то теплых чувств и слов, но эти ожидания никогда не оправдываются. Как заметил сам режиссер, здесь нет взаимной любви. Любовь бродит между ними по кругу, не делая никого счастливым. Персонажи смешны, комичны, несчастны и беспомощны до полной нежизнеспособности. И вот эта картина, где люди, сидя на пороховой бочке, говорят и делают разные нелепости, отчасти объясняет, как получилось, что впоследствии все вдруг обернулось против них.

Из всех кинопроизведений последних лет, посвященных краху Российской империи, максимальная высота обзора достигнута в фильме Александра Прошкина по мотивам романа «Доктор Живаго». Сам «Доктор Живаго» представляет собой, как написал Дмитрий Быков, «символистский роман, написанный после символизма»: «Фабула романа проста, очевиден и его символический план. Лара — Россия… Антипов — влюбленный в Лару радикал, революционер… Комаровский — образ власти и богатства, торжествующей пошлости… Юрий Живаго — олицетворение русского христианства, главными чертами которого Пастернак считал жертвенность и щедрость». Однако в массовую культуру роман если и встраивается, то прежде всего как традиционно-реалистический, в котором все понимается в буквальном и выпрямленном смысле.

Фильм Александра Прошкина вслед за романом поднимает оценку революции и Гражданской войны над социально-политическим измерением, вводя христианские категории греха, страдания, искупления, милосердия и жертвы. Происходящее лежит в области отношений с Богом. Нераскаянный грех требует искупления, страдания. Не платят по счетам лишь оставленные Богом люди, не имеющие надежды на спасение. То, что принято называть «историческим поворотом» или «исторической драмой», в «Докторе Живаго» — это безо всякого пафоса ад, конец света — младенец, брошенный волкам, зарубленные топором дети и их мать, пытки, раны, политые кипятком, помешательство. А война, увиденная из операционной полевого госпиталя, производит впечатление еще более сильное, чем съемки передовой. В отличие от «Гибели империи» «Доктор Живаго» удержался от нарочитой зрелищности, лишней киношности. Поэтому ад здесь заставляет верить в свое существование. Выжить в аду и вытащить из него способны только Вера, Любовь и Жертва. В фильме нет тех «вдруг», какими перенасыщен, например, «Адмиралъ». Ощущение пороховой бочки возникает с самого начала и постоянно усиливается. Но при этом, когда ожидаемая катастрофа происходит, когда рушатся тонкие стены укрытия от «простой и страшной жизни», людей настигает парализующий душу ужас перед тем, что им открывается. Увиденная с таких позиций «историческая драма» создает внеисторические образы евангельской мощи.

Популярные кинохиты, в основном «Империя под ударом», «Гибель империи» и «Адмиралъ», расставляют актуальные на сегодняшний день оценки, которые вроде бы являются зеркальным отражением оценок советских. (Хотя советский кинематограф очень давно ушел от прямых противопоставлений и контрастности, о чем свидетельствуют «Служили два товарища», «Адъютант его превосходительства», «Белое солнце пустыни», «Бег», «Дни Турбиных» и так далее.)

Монархия — это плюс.

Охранное отделение и жандармы — почти всегда тоже плюс, отрицательное к ним отношение — это предрассудок и заблуждение, свойственное глупым студентам и курсисткам.

Советская власть в контексте революционных событий — огромный минус.

Белые — однозначно хорошие.

Красные и большевики — воплощение зла.

Эсеры — плохие, когда выступают против монархического государства, и почти хорошие, когда их действия направлены против большевиков.

Временное правительство — полные ничтожества или трагические глупцы.

Народ — скопление монголоидных лиц со зверским выражением.

Держится это главным образом на сильных эмоциях. Представители монархии изображаются как существа ангелоподобные с благородным смиренным обликом (князь Сергей Александрович в «Империи под ударом», Николай Второй в «Адмирале»). Монархии служат рыцари без страха и упрека, наделенные всеми лучшими качествами. Те, кто служат революции, — враги монархии — в основном чудовища. Изображение очень яркое, застывающее в памяти. В общем потоке фильмов о революции сложность «Доктора Живаго» нивелируется. Это не зависит от самого фильма (экранизация «Доктора Живаго» — один из лучших телевизионных фильмов последнего времени), а целиком зависит от контекста. Если уже сказали и усвоили, что красные — плохие, а белые — хорошие, то зрительское восприятие подравнивает под это и «Доктора Живаго». В частности, Антипов-Стрельников становится в первую очередь в один ряд с убийцами и палачами от революции. То, что он стал также и жертвой революции, важно для отдельно взятого фильма, но менее заметно на общей панораме.

Однако не с эмоциональной, а с логической точки зрения выстраивается несколько другая картина, которая менее категорична в отношении ответа на вопрос «Кто виноват?».

Если проявить некоторую въедливость и выстроить комплексную цепочку причин и следствий, опираясь одновременно на все имеющиеся источники, то получится, что от советской версии случившегося мы ушли не настолько далеко, как нам кажется.

Две основные причины революции — внутренний экстремизм и война («Империя под ударом», «Гибель империи», отчасти «Статский советник»). Очевидно, что столь пугающую форму протеста как терроризм должно было что-то породить. Что? Неизвестно. То же касается войны. По счастью, не каждая война и не каждое крупное военное поражение приводит к распаду мощного государства. Кроме войны должны были быть и другие обстоятельства, которые сыграли свою губительную роль. Какие? Тоже неизвестно.

Сообщается ли что-нибудь об исходной ситуации? «Статский советник» говорит без обиняков: одна часть общества обворовала другую и теперь защищает от нее захваченное имущество. Передел собственности (только, конечно, никак не в пользу грязных и голодных из «Статского советника») как действительную причину смены власти в России называет Комаровский в «Докторе Живаго».

Далее. Все перечисленные фильмы повествуют о революции от лица побежденных и полны сочувствия прежде всего к ним — благородным, высокодуховным и ни в чем не повинным людям. Общая реакция этих людей на революцию, творящиеся зверства, обрушившиеся на их головы бедствия — это растерянность. И растерянность эта происходит от прекраснодушного представления о жизни вокруг, о стране и ее народе. Из пролога к «Империи под ударом»: «Царь (Николай Второй) делает ставку не на дворянство … а на простой народ. Такой, каким царь этот народ хотел бы видеть». То есть не на тот народ, который существовал в действительности, а на нечто воображаемое, чего не было в природе. В «Гибели империи» офицер царской армии Нестеровский делает открытие: «…в недрах народных таится еще много вулканической языческой мистики, а где-то и темный, звериный лик». То же самое подтверждают слова Громеко из «Доктора Живаго»: «Спасибо революции за то, что она показала нам истинный характер вещей и истинный, непридуманный характер народа. Без нее мы бы даже и не заметили страны, в которой жили долгие годы» и «Кажется, я ошибся в своем народе. Его отупение, в котором виноваты подневольный труд и водка, мы приняли за смирение, а гордыню и склонность к бесполезным фантазиям — за особого рода духовность».

В итоге получаем: элита общества Российской империи имела весьма сомнительное происхождение. Проще говоря, она состояла из наследников тех, кто обобрал когда-то своих незадачливых соплеменников, иными словами — народ. Можно домыслить, что ситуация эта, вероятнее всего, не является специфически российской. Защищала себя элита от народа с помощью государственной машины. Отдаление одной части общества от другой породило массу иллюзий и фантазий, внутри которых элита или ее часть, собственно, и жила. Одной из фантазий был придуманный народ — «милые мужички сочинения графа Льва Толстого», говоря словами Булгакова. К началу века все, начиная с царя, «делали ставку на народ», каким он должен был быть, но никогда не был. Параллельно с этим элита, по одной версии, героически сражалась на фронтах, защищала интересы страны и народа, самоотверженно трудилась на различных поприщах («Империя под ударом», «Гибель империи», «Адмиралъ»), по другой — вела все более и более бессмысленную жизнь, не имея сил на то, чтобы отдать себе отчет в происходящем, посмотреть вокруг, разглядеть цели и удержаться от соблазнов («Сад»). А «милые мужички» — те, кого изначально обобрали, подневольные, грязные и голодные и при этом пьющие, с течением времени не изживали, а только накапливали темную стихийную энергию, которая, найдя наконец выход, смела все на своем пути, не щадя ни правых, ни виноватых («Доктор Живаго»). Таким образом, если рассмотреть все источники в совокупности, то все-таки можно доискаться до какого-то варианта ответа на вопрос: «Почему?» И этот ответ не сулит ничего хорошего сегодняшнему дню, когда «элита» и «народ» возможно еще дальше друг от друга, чем накануне революции.

Однако для современной киноиндустрии крушение Российской империи — это не в последнюю очередь впечатляющее шоу. Многие из лент, запечатлевших сам момент катастрофы, по схеме напоминают «Титаник». Картина первая: вид огромного, непотопляемого судна, картина вторая: айсберг; картина третья: кораблекрушение. Схема может быть использована как целиком, так и частично, в качестве «Титаника» — выступать страна в целом или один человек, но в любом случае возникает величественное, эстетически выверенное, исполненное трагизма зрелище. Развал Советского Союза в этом качестве на экране пока не предстал. Поскольку не нашла воплощения популярная идея о том, что СССР пришел к краху внезапно, находясь в расцвете своего величия.

Тем, что произошло с Советским Союзом в последние десятилетия его существования, занимается авторское кино от «Исчезнувшей империи» до «Груза 200». Этому посвящено множество научно-популярных и документальных программ и фильмов. На СССР держится львиная доля развлекательных телепроектов. Но вот чтобы кто-то из наиболее известных сегодня режиссеров поставил сериал или блокбастер о 1988—1991-х годах, где были бы заняты ведущие исполнители, в заставке красиво раскачивался маятник и звучала трагически-торжественная музыка, — до этого пока не дошло. Сериалы занимаются все-таки главным образом тем, отношение к чему для данного этапа уже как-то более или менее определилось. А к лучшему или к худшему распался Советский Союз, мы, по-видимому, пока не знаем. Как еще и не разобрались с вопросом, что, собственно, представлял собой сам Советский Союз.

Возможно, на историю России и СССР будут смотреть как на цельный процесс. Тогда между событиями 1914—1917 и 1986—1991 годов будет найдено много общего. И в недрах советских спецслужб еще будут трудиться свои Фандорин и Нестеровский. Советский период можно представить как выпадение из истории России, отклонение от ее нормального течения. Тогда 17-й год будет по-прежнему означать переход от правильной жизни к неправильной, а 91-й знаменовать «начало мучительного выздоровления». А может статься, что левая идея, которая проявляет себя все более настойчиво даже там, где ее раньше никто не встречал, еще заставит кинематографистов от мейнстрима посочувствовать «восставшему трудовому народу» в 17-м и «обманутому народу» в 91-м. Тем более что дорожка, которую прокладывает современное кино, вероятно, вопреки задуманному, уже забирает куда-то в сторону Карла Маркса. Еще буквально один поворот — и там.

Михаил Эпштейн

Лирика сорванного сознания: народное любомудрие у Д.А. Пригова

Карамазовы не подлецы, а философы, потому что все настоящие русские люди философы...
Ф.М. Достоевский[1]

ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФИЛОСОФИЗМ. МЕЩАНСКАЯ МЕДИТАЦИЯ

Считается, что философия — деятельность высокоразвитого сознания и самосознания, поднявшегося до системных понятий о мироздании в целом. Может ли философия быть народной? Может ли философствовать простой, необразованный, неграмотный человек? Тяга к метафизическим обобщениям о «природе вещей» проявляется не только на высших интеллектуальных уровнях, но и в первичнорефлексивных побуждениях бессознательного, когда думается «обо всем и ни о чем». Ребенок-почемучка, непрерывно задающий вопросы о смысле всего, более философичен, чем взрослый специалист в какой-то узкой области знания. Такая философия — может быть, точнее было бы назвать ее «философизмом» или «любомудрием» — доспециальна и надспециальна. Эта доспециальная, низовая, наивная, фольклорная философия практически не подвергалась изучению. А между тем, как писал Н. Бердяев, «русскому народу свойственно философствовать. Русский безграмотный мужик любит ставить вопросы философского характера — о смысле жизни, о Боге, о вечной жизни, о зле и неправде, о том, как осуществить Царство Божье»[2].

Мне представляется, что тот «безграмотный», неясный, многодумный философизм, который, как отмечали Достоевский и Бердяев, вообще характерен для русского народа, находит в приговском концептуализме почти фольклорное выражение и составляет едва ли не главную черту его лирического героя. Правда, это уже не столько деревенский, сколько городской фольклор: сознание, прошедшее через обработку газетной, книжно-лоточной, телевизионной продукцией, с ее смесью штампов всех массовых идеологий. Приговские лирические концепты выражают те примитивные, хаотические движения души, «полубормотания», которые уже сформированы медиа-средой. Они не могут адекватно выразиться в интеллектуально членораздельной форме — и вместе с тем не могут выразиться ни в чем, кроме той же идеологемы, в высшей степени, до абсурда абстрактной. Дремучая, корявая речь, носительница или скорее «утопленница» народного бессознательного, выплывает в зону интеллигентского сознания, насыщенного всякими «мыслимостями» философско-идеологически-теологического свойства.

Как ни странно это прозвучит, но приговская поэзия — это в значительной своей части философская лирика, выходящая на уровень некоей метафизической или теологической проблемы и, однако, не перестающая быть сколком мещанского со-

знания, — своего рода «мещанский трактат», или «мещанская медитация», как бывает «мещанский романс». Вот несколько стихотворных «микротрактатов» Дмитрия Александровича Пригова периода «застоя» — как бы застывшего в зените солнца коммунистической эпохи.

* * *

А много ли мне в жизни надо? —
Уже и слова не скажу
Как лейбницевская монада
Лечу и что-то там жужжу
Какой-нибудь другой монаде
Она ж в ответ мне: Бога ради
Не жужжи

* * *

Моего тела тварь невидная
Тихонько плачет в уголке
Вот я беру ее невинную
Держу в карающей руке
И с доброй говорю улыбкой:
Живи, мой маленький сурок
Вот я тебе всевышний Бог
На время этой жизни краткой
Смирись!

* * *

Ах, кабы не было бы снега
Ветер бы не завывал
И всяк виновный, как Сенека
Добровольно б умирал
В теплой ванне, чистый — гордый —
Господи, вот был бы город
Райский![3]

Этот живой, почти животный философизм на уровне бурчания, мычания, бормотания позволяет многое понять в феномене российского коммунизма, который рос из сора дремучего, почти бессознательного народного любомудрия. Из таких глубинно целевых и причинных конструкций, как «жизнь... она, конечно...», «а много ли человеку надо?», «да ведь и я ведь»... Из той точки, где мыслительство еще не отделилось от урчания в животе и от почесывания в затылке[4].

Если даже взять только зачины приговских стихов, обнаружится, что многие из них утробно медитативны — это своего рода философические лубки. «Вся жизнь исполнена опасностей...», «Посредине мирозданья...» «Наша жизнь кончается...», «Народ с одной понятен стороны...», «Господь листает книгу жизни...», «Нам всем грозит свобода...». По случаю женитьбы своего приятеля Пригов советует ему законно оформить узы брака, приводя глубоко метафизический аргумент:

Такой порядок оформленья
Любви материи живой,
В нем дышит принцип мировой:
Что не оформлено — то тленье

Вероятно, коммунизм мог возникнуть только в гуще философствующего народа, вроде русского или китайского, а не народа, живущего конкретной выгодой частного момента в свете практического разума. Коммунизм — это не только общественная собственность, но и привычка обобщать, исходить из общего и восходить к общему, оставляя для конкретного лишь место наглядного примера, слабого промежуточного звена.

Вот я курицу зажарю
Жаловаться грех
Да ведь я ведь и не жалюсь
Что я — лучше всех?
Даже совестно, нет силы
Ведь поди ж ты, на
Целу курицу сгубила на меня страна

Западный буржуа или пролетарий поедает курицу, вряд ли задумываясь о целой стране, которая эту курицу тратит на его личное насыщение. Нет такого абстрактного регистра в сознании западного человека, и даже большому профессиональному философу, Б. Расселу или Л. Витгенштейну, «слабО» взойти до таких степеней обобщения: они больше беспокоятся по всяким языковым казусам, атомарным фактам, логическим парадоксам. Философемы типа «любви материи живой» или «жужжащей монады» им органически чужды, потому что предполагают не столько аналитическую работу сознания, сколько философствующее бессознательное.

Представляется, что поэтика «*дремучего глубокомыслия*» у Пригова отчасти происходит из «Голубиной книги», древнерусского духовного стиха, слагаемого и переносимого каликами перехожими. Сам Дмитрий Александрович легко вживается в образ такого калики, *глубокомалограмотного*, взволнованного простыми философемами, распевающего духовный стих на новый лад. Сравним:

На счетчике своем я цифру обнаружил
Откуда непонятная взялась?
Какая мне ее прислала власть?
Откуда выплыла наружу?
Каких полей? Какая птица?..

Д.А. Пригов

От чего зачался наш белый свет?
От чего зачалося солнце праведно?
От чего зачался светел месяц?
От чего зачалася заря утрення?
От чего зачалася и вечерняя?..

Голубиная книга[5]

В обоих текстах — интонационный захлеб вопрошания о «последних вещах». Конечно, у Пригова «первая вещь», которая смущает лирического героя (лишняя цифра на счетчике), вполне прозаична, но это не мешает встроить ее — пародически — в большой стиль народного мудрствования.

СОРВАННОЕ СОЗНАНИЕ. МИР БЕЗ РЕЗЬБЫ. ВСЕЧТО И ВСЕКТО

Есть у Пригова целая поэма про «Махроть всея Руси». Что такое «махроть», остается неясным, это нечто или некто, а вернее, *всечто* или *всекто*. (Если есть соотношение отрицательных, неопределенных и определительных местоимений в таких рядах, как: *нигде — негде — везде*; *никогда — некогда — всегда*; *никакой — некий — всякий*, то по той же морфо-логике в языке можно достроить и такой ряд: *ничто — нечто — всечто*, *никто — некто — всекто*). Она «махроть-трава, с виду синяя, снутри красная», она «красивая», «она святая крыса», она встает перед Рейганом, она появляется всюду, где приложится голова лиргероя, она проходит «кошачьей походкой», она «глазиком блеснула и губки язычком лизнула», она «великий зверь», она «плывет над нашим полушарьем», она таится в винной чарке, она лезет, «б...», из «тиши и благодати».

Нежно-поющая, густо-шипящая
Рвущая мясо в лохмоть
вот она вещая жизнь настоящая
Именем бога — Махроть
Всея Руси.

Махроть здесь примерно то же, что недотыкомка в «Мелком бесе» Ф. Сологуба или «норма» в романе В. Сорокина «Норма», — нечто вездесущее и неуловимое, алгебраический образ, некий Х, к которому подстраиваются все словесные уравнения. Но если у Сологуба недотыкомка наделена некоей психической достоверностью (маниакальная подозрительность и безумие Передонова), то норма у Сорокина и махроть у Пригова чисто концептуальны. Это концепт некоей абстрактной сущности, которая присутствует во всем совершенно прямо, не скрываясь, без всяких посредников. Это «всечто» примерно того же порядка, что материя в советском материализме. Что есть материя? Все есть материя. И хлеб — это материя, и поле, и человек, и мозг, и мысль, и государство, — куда ни ткнешь, попадаешь всюду в одну только материю. Это знак *сорванного* сознания, которое кратчайшим путем, минуя все опосредования и различие уровней, «проскакивает» *от конкретнейшей вещи к абстрактнейшему принципу*, торжествуя свою всепроникающую способность. Задавая смутные вопросы о последнем, всеобъемлющем смысле всего, оно получает кратчайшие ответы: «все — материя», или «все есть Бог», или «все есть норма». Это может быть атеистическое или религиозное сознание, но оно всегда *срывает резьбу* на процессе мышления, оно не допускает частичных, промежуточных, неисчерпывающих, «нефилософских» ответов. Оно философично, точнее, любомудренно именно потому, что имеет прямой запрос на «самое главное» — и легко его находит. Оно томится философским вопрошанием, оно пребывает в тоске, но эта тоска мгновенно переходит в свою противоположность, эйфорию найденного решения. Оно задает смутные, «детские» вопросы о мире: «а почему комар пьет человеческую кровь?», «а зачем человек живет?», «а почему Земля круглая?» и т.д. — и дает на них кратчайшие ответы: потому что так устроил Бог, или природа, потому что таков закон материи и т.д. Поиск вездесущего, всепронизывающего Х-а — это рефлекс не только советской идеологии, но и постсоветской конспирологии, которая законно является наследницей первой. Разница в том, что если предмет идеологии — *всечто*, некая первоматерия, субстанция или закон истории, то предмет конспирологии — *всекто*, некий всемогущий субъект истории, тайно ею управляющий (но при этом человеческий субъект, в отличие от сверхъестественного субъекта религии).

У Пригова органически соединяются: 1) *разорванное сознание интеллигента-одиночки*, лишнего человека, который постоянно сталкивается с феноменами чуждости самому себе, неделикатности окружающего мира, над которым он возвышается мыслью и вместе с тем находится внутри его подавляющего безразличия, и 2) *сорванное*

сознание человека из народа, бодрого, упоенного, как бы опиумно счастливого, знающего разгадку всех загадок. Разорванное сознание является по существу несчастным, оно не может соединить свои начала и концы. Оно поднимается над собой, созерцает и критикует себя, не может найти успокоения в себе. Это та крайность скептического, растерянного сознания, которую Гегель описал в «Феноменологии духа» как несчастное, «раздвоенное внутри себя сознание»[6]. Сорванное сознание, напротив, является счастливым, даже эйфорически приподнятым. Оно одолевает внутри себя всякую тревогу, оно моментально приходит к финальным решениям.

Если есть милиционер как элемент в общественно-профессиональной иерархии советского общества, то у Пригова он становится Милицанером, т.е. одновременно снижается до просторечия (*милицанер*) и поднимается до большой буквы (*Милицанер*), возводится в некий абсолют, фигуру всемирного начальника, стража мирового порядка, демиурга. Если «махроть» — приговское «всечто», то Милицанер — «всекто», т.е. универсальная фигура, всюду являющая себя, за все отвечающая, держащая все под своим наблюдением и контролем. Такая двойная трансформация: опрощение и возвеличение — и есть фигура народного любомудрия у Пригова. Образ или слово одновременно онароднивается (снижается, опросторечивается) и омудривается (философизируется, универсализируется), чем и достигается его принадлежность «философии народа, народом и для народа».

Пригов часто прибегает к возвышенной наукообразной терминологии, поскольку она *полу*грамотна и наглядно нейтрализует оппозицию «интеллигенция — народ»:

Милицанер константен меж землей и небом.

Если же милицанер вдруг оказался убийцей, то в отношении него тоже следует философски четкий вывод:

Не государства он законы подрывает
Но тайные законы мирозданья
Метафизического он достоин наказанья.

Заметим, что и графика и пунктуация приговского стиха соответствуют этому двойному жесту опрощения-омудрения. С одной стороны, Пригов либо вообще пропускает знаки препинания, либо ставит их избирательно, «как Бог на душу положит». Например, он выделяет сравнительные обороты и обращения запятой только с одной стороны, имитируя тем самым народную небрежность, недоученность, «гимназиев не проходили». С другой стороны, все стихи начинаются с прописной буквы, как в «большой», классической поэзии, «как у Пушкина». Опять-таки двойной жест: снижения — возвышения, неграмотности и пафосности.

О, только ты, Милицанер
Как столп и символ Государства
И волею исполнен страстной
Возьмешь их, как в святом бою
Под руку сильную свою

В другом известном «дидактическом» стихотворении Пригова женщина в переполненном вагоне метро лягает лирического героя ногой, а тот, ответив ей тем же, немедленно просит прощения:

Женщина в метро меня лягнула
Ну, пихаться — там куда ни шло
Здесь же она явно перегнула
Палку, и все дело перешло

В ранг ненужно личных отношений
Я, естественно, в ответ лягнул
Но и тут же попросил прощенья —
Просто я как личность выше был

Это еще один пример ликующего, сорванного сознания, которое на мелкобытовую ситуацию отвечает провозглашением священного гуманного принципа «высокой личности».

Пригов, конечно, не просто воспроизводит, но остраняет и утрирует стиль мещанского «любомудрия», оставаясь при этом в рамках «мерцающей эстетики». Дистанция между автором и лирическим героем то удлиняется, то сокращается, концептуальные (невидимые) кавычки вокруг его текстов то показываются, то исчезают — это словно бы односторонние кавычки, так что своя речь, переходя в чужую, не всегда сигнализирует, где она из нее выходит. При этом Пригов прекрасно осознает, какой тип мышления он подвергает концептуализации. Вот его краткое «Предуведомление» к сборнику «Атомы нашей жизни»:

«Как и все подобные же предыдущие опусы: Звери нашей жизни, Люди нашей жизни, События нашей жизни, и нынешний поведывает, собственно, о том же самом. О той же самой субстанции, что все время принимая различные обличия соответственно нашей разорванной способности разорванно [sic!] воспринимать целокупность этого мира, является нам как бы различными модусами одной и той же сущности» (цит. изд., 593).

Вот это нахождение повсюду «одной и той же сущности» и превращает нашу «разорванную способность» в сорванное сознание, поскольку форсирует недостающее единство. Так сквозь разорванное сознание мающегося (и кающегося) интеллигента начинает мощно пробиваться каратаевский голос бессознательного:

«...Самое трудное (продолжал во сне думать или слышать Пьер) состоит в том, чтобы уметь соединять в душе своей значение всего. Все соединить? — сказал себе Пьер. — Нет, не соединить. — Нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти мысли — вот что нужно! Да, *сопрягать надо, сопрягать надо*!» — с внутренним восторгом повторил себе Пьер, чувствуя, что этими именно, и только этими словами выражается то, что он хочет выразить, и разрешается весь мучащий его вопрос».

Л.Н. Толстой. Война и мир. Том третий. Часть третья, IX.

Сопрягать, сопрягать — вот чем, собственно, и занят глубокомысленный приговский герой. С ним происходит *интоксофикация*, интоксикация софией, отравление мудростью. Каждая ерунда обрастает неким умозрением, вызывает мильон вопросов метафизического порядка. «Цифра на счетчике» — каких полей какая птица? Оформление брака — это форма материи живой, а что лишено формы, то тлеет! Это *платоновщина*, где древнегреческого Платона трудно отличить от толстовского Платона Каратаева, а их обоих — от запойно умствующих героев Андрея Платонова. Каждая частность немедленно, без всяких опосредований, возводится к общему, или, наоборот, из некоего общего умозрения прямо выводятся практические частности. Что при этом отсутствует, так это посредствующие звенья, трезвое осмысление иерархии сущностей, их соподчиненности, постепенной, а не мгновенной выводимости. Это сознание, которое *срывается с резьбы, проскакивает резьбу*, и есть сорванное сознание. Если разорванное сознание вмещает две идеи, никак их не соотнося, то сорванное сознание, напротив, соединяет идеи совершенно разного уровня, мгновенно перескакивая от общего к частному. В этом есть известная детскость: такая задумчивость, которая буквально «схватывает» сразу все во всем, не имея опыта различения. Как будто взрослый человек впервые начинает думать — и вдруг озадачивается: а

почему эта страна губит на меня целую курицу, разве я того достоин, чем я заслужил?

БАНАЛЬНОСТЬ АБСТРАКЦИИ. МНОГОДУМНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

Вообще приговские стихи, вопреки их поверхностно бытовой фактуре, невероятно абстрактны, они сразу, одним рывком, выскакивают на уровень обобщений.

Вот на коров набросилась болезнь
Пред Богом, видно провинились...

Мгновенный переход: коровы заболели — значит, провинились перед Богом.

В 1985 году я ездил в экспедицию МГУ по изучению старообрядцев и беседовал с ними об их эсхатологических воззрениях. Одно из самых удивительных для меня открытий — насколько вечное и временное, сверхъестественное и бытовое сжимаются в народном сознании. Знаки эсхатологических чаяний могут мыслиться в широких рамках столетия — и в пределах одного текущего месяца, даже дня. Как приметы последнего времени, называются самолеты, трактора, электричество, радио, т.е. новшества по крайней мере полувековой давности. Вместе с тем знаком, что наступили последние времена, может служить дождь, прошедший нынешним летом или даже вчерашним днем и заливший рассаду огурцов. Цитирую дословно высказывания своих собеседников: «Сейчас последняя тысяча (лет) пошла. Вот нынешним летом ячмень прибило, дожди заливают — такого раньше не было» (В.З.). «Дождь прошёл особый, с магнитом, — от него огурцы пожелтели и пропали» (Ф. Сер.) Так жаловались мои собеседники на превратности погоды, разъясняя, почему последнее время уже наступило. «Отец будет убивать сына. Так и есть — месяц назад под Житомиром отец сына ножом зарезал» (П.С.)[7].

Поэзия Д.А. Пригова вполне адекватно передает этот тип сознания «без резьбы»: сочетание «последней тысячи лет» и «нынешнего лета», грядущего конца мира и пожелтевших огурцов на огороде — наложение несоизмеримых масштабов. О том же весь цикл «Банальные рассуждения на банальные темы». Какие это темы? О «разумности идеалов», о «твердых основаниях жизни», о «всепобеждающей силе идей», о «свободе» — прямо-таки Тютчев или Заболоцкий, философская лирика. Так оно и есть, только если Тютчев — это аристократическое любомудрие, а Заболоцкий — научно-инженерное, то Пригов — именно простонародное любомудрие, и меры банальности и философичности здесь совпадают, ибо нет ничего банальнее философских общих мест.

Только вымоешь посуду
Глядь — уж новая лежит
Уж какая тут свобода
Тут до старости б дожить

Бывают такие состояния задумчивости, особенно у ребенка, ковыряющего при этом в носу, — тронешь его, он даже вздрогнет. «Ты что?» — «Да нет, я просто думал». Вот эта оцепененность долгой мыслью, когда ни себя не сознаешь, ни чего-либо вокруг, свойственна и философическому народу, который в состоянии такой мыслительной прострации может полмира снести и даже глазом не моргнуть. Пригов лирически воспроизводит это состояние могучей и безотчетной думы, но одновременно и тихо трогает лунатика за плечо: да что это с тобой? да о чем же ты думаешь? Думающий вздрагивает — и вдруг обнаруживает совершенную пустоту: ни одной мысли. Потому что мыслило и даже философствовало его бессозна-

тельное. Это не философия бессознательного, а бессознательность самой философии, которая совершается в понятиях, но при этом столь же стихийна и дремуча, как мифология. Сам коммунизм в трактовке Пригова — это лунатическая преданность некоей прекрасной полубессознательной идее, приведение всей жизни в соответствие с восклицательными и вопросительными «тезисами души»: «Господи, вот был бы город Райский!» или «Что я — лучше всех?». Приговский концептуализм обнаруживает эту *многодумность* в самой субстанции российского *бессознательного*. Оно потому и не может себя осознать, что погружено в мысль, непрерывно думает.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 *Слова Дмитрия Карамазова. Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы, кн. 11, гл. 4. ПСС, т. 15, Л.: «Наука», 1976. С. 28.*

2 *Николай Бердяев. Русская идея. Париж: YMCA Press, 1970. С. 32.*

3 *Все цитаты из Д.А. Пригова приводятся по его кн. Книга книг: Избранное. М.: Зебра Е, ЭКСМО, 2002.*

4 *Ранним и глубочайшим выразителем этого многодумного бессознательного был Андрей Платонов, чьи герои — Александр Дванов, Копенкин, Вощев — «истомлены мыслью и бессмысленностью».*

5 *Голубиная книга. Русские народные духовные стихи XI—XIX веков. М., Московский рабочий, 1991. С. 45. Или сравните приговское стихотворение «Выходит слесарь в зимний двор / Глядит: а двор уже весенний...» с духовным «Стихом о смерти» («Голубиная книга», с. 239).*

6 *Гегель. Феноменология духа. Философия истории. М: ЭКСМО, 2007. С. 126.*

7 *Записи разговоров со старообрядцами опубликованы в моей статье (без имени автора): Старообрядческий дневник. Символ, 21. Париж, 1989, июль. С. 99—156.*

рецензии

Русская поэзия обрела «религиозную почву»

Тимур Кибиров. *Греко- и римско-кафолические песенки и потешки. — М.: Время (Поэтическая библиотека), 2009.*

24 мая 1891 года Константин Леонтьев написал письмо Василию Розанову. Там есть некое поразительное место:

«Лет шесть тому назад Соловьев, почти тотчас же вслед за произнесением где-то трех речей в пользу Достоевского (где между прочим он возражал и мне, на мою критику пушкинской речи Достоевского, и утверждал, что Христианство Достоевского было настоящее, святоотеческое), написал мне письмо, в котором есть следующее, весьма злое место о том же самом Федоре Михайловиче: «Достоевский горячо верил в существование религии и нередко рассматривал ее в подзорную трубу, как отдаленный предмет, но стать на действительно религиозную почву никогда не умел».

По-моему, это злая и печальная правда».

Как литератор и священнослужитель я ответственно заявляю: эта «злая и печальная правда» относится отнюдь не только к Достоевскому, но практически ко всей вообще русской литературе — и к беллетристике, и к поэзии.

В некоторых случаях это «рассматривание в подзорную трубу» приводило к печальным результатам. Тут достаточно назвать имена того же Василия Розанова, Дмитрия Мережковского… (Я уже не говорю о Льве Толстом…)

Впрочем, кое-кто из русских литераторов не только глядел на религию, но даже и прислушивался к ней. Как помним, утонченный Александр Блок наслаждался пением «девушки из церковного хора», этот прославленный поэт «из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче»…

Ну, а теперь о другом. Я хочу сделать некое признание, рассказать о важном событии, которое когда-то произошло в моей читательской судьбе.

Году эдак в девяностом принесли мне номер рижской газеты «Атмода», там была опубликована поэма Тимура Кибирова «Послание Л.С. Рубинштейну». Я был поражен необычайным талантом, мастерством, веселостью и одновременно серьезностью неизвестного мне молодого поэта. Многие строки из того «послания» я до сих пор наизусть помню. Например, как два «инородца» (автор и его адресат) плачут «над Россиею своей»:

и малиновою сливой,
розой черною в Аи,
и Фелицей горделивой,
толстой Катькою в крови,

и Каштанкою смешною,
Протазановой вдовой,
черной шалью роковою,
и процентщицей седой,

и набоковской ванессой,
мандельштамовской осой,
и висящей поэтессой
над Елабугой бухой!

Вот тогда, в девяностом, Кибиров стал моим любимым поэтом. Протекли годы, и они подтвердили правильность моего выбора. Вслед за Сталиным, который возвеличил Маяковского, я могу утверждать:

«Тимур Кибиров был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей постсоветской эпохи».

Я помню, как Анна Ахматова говорила о Владиславе Ходасевиче:

— У него каждая следующая книга лучше предыдущей.

То же самое я могу сказать и о моем любимом поэте.

В финале одной из ранних своих поэм — в «Послании художнику Семену Файбисовичу» Кибиров сделал важное признание:

В общем-то нам ничего и не надо.
В общем-то нам ничего и не надо!
В общем-то нам ничего и не надо —
только бы, Господи, запечатлеть
свет этот мертвенный над автострадой,
куст бузины за оградой детсада,
трех алкашей над речною прохладой,
белый бюстгальтер, губную помаду
и победить таким образом Смерть!

Можно утверждать: в те времена он относился к поэзии как к чему-то такому, что может вполне заменить религию.

Нельзя сказать, что Кибиров вовсе не касался тем метафизических, в его сборниках и поэмах это так или иначе присутствует. Но в прежние годы он занимал все ту же, традиционную для русской литературы точку зрения — «рассматривал религию в подзорную трубу».

Но настал 2006 год, и из печати вышла его книга «Кара-барас». Стихотворение, давшее название сборнику, имеет подзаголовок — «опыт интерпретации классического текста», каковым тут является «Мойдодыр» Корнея Чуковского. Несмотря на свойственную Кибирову пленительную иронию, данный опус свидетельствует о том, что автор отбросил «оптический прибор» и приблизился к религии вплотную.

20 мая нынешнего, 2009 года я присутствовал на презентации книги Кибирова («Греко- и римско-кафолические песенки и потешки»), это было в клубе «Проект ОГИ». И теперь я могу опять-таки ответственно заявить: ничего подобного новому сборнику в русской поэзии не было.

Вот первое стихотворение:

Их-то Господь — вон какой!
Он-то и впрямь настоящий герой!
Без страха и трепета в смертный бой
Ведет за собой правоверных строй!
И меч полумесяцем над головой,
И конь его мчит стрелой!

А наш-то, наш-то — гляди, сынок —
А наш-то на ослике — цок да цок —
Навстречу смерти своей.

А у тех-то Господь — он вон какой!
Он-то и впрямь дарует покой,
Дарует-вкушает вечный покой
Среди свистопляски мирской!

На страсти-мордасти махнув рукой,
В позе лотоса он осенен тишиной,
Осиян пустотой святой.

А наш-то, наш-то — увы, сынок —
А наш-то на ослике — цок да цок —
Навстречу смерти своей.

А у этих Господь — ого-го какой!
Он-то и впрямь владыка земной!
Сей мир, сей век, сей мозг головной
Давно под его пятой.

Виссон, багряница, венец златой!
Вкруг трона его веселой гурьбой
— Эван эвоэ! — пляшет род людской.
Быть может, и мы с тобой.

Но наш-то, наш-то — не плачь, сынок —
Но наш-то на ослике — цок да цок —
Навстречу смерти своей.

На встречу со страшной смертью своей,
На встречу со смертью твоей и моей!
Не плачь, она от Него не уйдет,
Никуда не спрятаться ей!

Это — блистательная апология Христианства, такие строки стоят многих схоластических рассуждений.

И еще одно стихотворение мне хочется привести целиком. Здесь речь идет о самом важном в Христианской религии — о «вочеловечении Бога», о том, что Святые отцы называли «домостроительством нашего спасения».

«Я не спорю, Боже, Ты свят, свят, свят, —
Говорил Творцу человек, —
Только Ты-то бессмертен и всемогущ,
Прохлаждаешься вечно средь райских кущ,
Ну, а мне, слабаку, в мой коротенький век,
Мне прямая дорога в ад!
Посмотрел бы я, Боженька, на Тебя,
Будь я как Ты, а Ты будь как я!
Я бы тоже, конечно же, стал бы свят,
Ты бы тоже отправился в ад!»

Отвечал, подумав, Творец ему:
«Ты во многом, сыночек, прав.
Что ж, давай я стану такой, как ты,
И пример покажу такой красоты,
И бессмертье, и мощь добровольно отдав
И сойдя в могильную тьму,
Что, конечно, пример ты возьмешь с меня!
Я ведь стал как ты, станешь ты как я,
Только Слову поверь моему!
Станешь ты, Адам, как когда-то свят,
Взвоет в страхе бессильный ад!»

Но глядя на смертные муки Его,
Отвечал Творцу человек:
«Не хочу Человеком я быть таким!
Я хочу быть лучше Богом живым,

Покорившим сей мир, продлившим сей век
Всемогущим владыкой всего!
Насмотрелся я, Боженька, на Тебя!
Я не буду как Ты, Ты не станешь как я!» —
И пошел человек от Креста назад,
А Спаситель сошел во ад.

Следует вот еще что отметить. Кибиров в своей книге разоблачает два самых известных в русской литературе псевдорелигиозных произведения, одновременно отвечает и барину Тютчеву, и декаденту Блоку.

Всю тебя, земля родная,
В белом венчике из роз
Исходил, благословляя,
К сожаленью, не Христос.

Нет, Христос, конечно, тоже
Обходил и этот ад,
Но сумняшеся ничтоже,
Мы сказали: «Не формат!
Чересчур уж Он распят!

Чересчур уж в нищем виде,
Сын толпы и демагог!»
И вознесся медный идол.
Вот он, вот он, русский бог!

Он идет державным шагом,
Машет он кровавым флагом!
Запирайте етажи!
Он в шинелишке солдатской,
С физьономией дурацкой…
Не отец ли это лжи?

В семидесятых годах прошлого века в парижском журнале «Вестник Русского Студенческого Христианского Движения» была опубликована небольшая работа отца Павла Флоренского, посвященная поэме «Двенадцать». Там убедительнейшим образом доказывается, что персонаж, появляющийся в «белом венчике из роз», не Спаситель, а Антихрист. Кибиров статью Флоренского не читал и даже не подозревал о ее существовании, но ум и интуиция подсказали поэту тот же вывод, что сделал в свое время один из самых образованных богословов.

Ну, а теперь некоторые частности.

В сборнике есть лишь одно стихотворение, которое мне категорически не нравится, это — «Теодицея», там главный герой Иван Карамазов.

В замечательных рождественских стихах «Вертеп» (Не хуже, чем у Пастернака и Бродского!) есть нечто, что меня смущает. Это повторяемая из строфы в строфу строчка:

«А ребеночек титьку сосал».

Самое слово «титька», когда речь идет о Приснодеве, неуместно.

И последнее замечание. Стихи «Рождественская песнь квартиранта» по сути своей эпикурейские и в контексте этого сборника выглядят странновато.

Но вообще книга выше всяких похвал, и теперь можно с уверенностью утверждать: русская поэзия обрела «религиозную почву». С чем я и поздравляю, во-первых, автора «Песенок и потешек», а во-вторых — всех, кто любит и ценит стихи.

Михаил Ардов (протоиерей)

Тоска по пропавшей патриархальности

Борис Минаев. Психолог, или Ошибка доктора Левина. — М.: Время (Самое время), 2008.

Если судить по различным откликам, Борису Минаеву удалось своим романом затронуть множество проблем современного общества. Причем, что самое интересное, эти отклики достаточно жестко разделяются по гендерному принципу — мужчины рассматривают главного героя с большим сочувствием, женщины — крайне критически. В общем же и целом — признают важность романа с точки зрения познания духовных проблем наших современников. Пожалуй, это достаточно редкий для современной литературы случай, когда в критических откликах на книгу действительно чувствуется искренняя читательская заинтересованность. Роман задел за живое, попал в какое-то больное место, и критики разными способами пытаются рационализировать свои ощущения и понять — в чем же тут дело. Причина, наверное, все-таки не в содержании, а в полноте подачи материала и в законченности образа главного героя — доктора Льва Левина.

По своему содержанию роман относительно прост. Есть мужчина средних лет — без семьи и определенных занятий, до сих пор находящийся в поиске своего места в жизни, есть несколько женщин со своими проблемами, решить которые и пытается помочь им доктор Левин. И в общем-то, несмотря на разные побочные эффекты, сделать это ему вполне удается. Особенно хороши в романе вставные новеллы, когда герой вспоминает свое детство, пребывание в больнице и свою первую — так и не состоявшуюся — любовь. В настоящем же доктор Лев Левин испытывает целый букет самых разнообразных чувств к нескольким женщинам. Во-первых, это «идеальная», несколько романтически окрашенная любовь к собственной бывшей жене. Впрочем, хоть они и разведены, доктор Левин вовсе не считает Лизу бывшей женой — жена, по его мнению, у человека может быть только одна. Кстати, почему они разошлись, в романе так и остается непонятным — когда семья переезжает в США, доктор Левин остается в России — то ли оттого, что его не слишком-то звали с собой, то ли оттого, что таким образом хочет самоутвердиться и продемонстрировать свою мужскую волю — ведь решение о переезде принято не им. Отпадение от семьи переживается героем как своеобразное изгнание из рая, и он в тайне от своих нынешних женщин и чуть ли не в тайне от самого себя все время собирает деньги на билет в Америку.

Во-вторых, это отношения с Мариной — матерью одного из маленьких пациентов доктора Левина, которая играет роль земной любви героя, противопоставленной его «небесной» любви к бывшей жене. Очень любопытно, что в этих отношениях инициатива целиком и полностью принадлежит женщине. Именно Марина решает, что у нее с Левиным будет роман, именно она добивается этого романа, именно она определяет границы и форму этих отношений. Доктор же совершенно спокойно принимает все — и заботу, и внимание, и проявления «неженской» инициативы, с определенной долей недоумения отмечая только в некоторых случаях, что Марина ведет себя «по-мужски». В-третьих, это Даша — мать еще одного маленького пациента, с отцом которого Левин также поддерживает дружеские отношения. Даша изначально находится в слабой — т.е., по определению, женской — позиции, ей постоянно требуются внимание и поддержка, поэтому Левину приходится в этом случае проявлять какие-то вполне мужские качества. Однако проявляет он их все-таки не в полной мере, отчего складывается впечатление, будто доктор играет со своей пациенткой в кошки-мышки — то подойдет поближе, то отбежит обратно, то покажет, что она ему интересна, то повернется спиной и сделает вид, что ничего «такого» в их отношениях нет. Интересно, что Марина — женщина № 2 знает об отношениях Левина с Дашей — женщиной № 3 и все время подталкивает его к какому-то решительному шагу, как бы побуждает Левина проявить активность и выполнить наконец основную мужскую функцию, но — безуспешно.

Некоторые из рецензентов включают в список женщин доктора Левина еще одну его пациентку — Катю, но у меня есть некоторые сомнения в правомерности такого включения. Катя является для доктора не столько пациенткой или объектом мужского внимания, сколько противником, с которым Лев Левин ведет своего рода психологическую

войну. Впрочем, эта линия в романе толком не прописана — история Кати все время заслоняется отношениями Левина с тремя вышеперечисленными женщинами — Лизой, Мариной и Дашей. Интересно, кстати, что комментировавшие роман практикующие психологи (Сергей Ключников, Елена Улитова и др.) в один голос говорили о непрофессионализме главного героя. Впрочем, это очевидно и для простого читателя — ведь доктор Левин использует свою практику как повод для установления разного рода личных отношений — дружеских, приятельских, любовных, которые призваны заполнить пустоту, образовавшуюся в его жизни после разрушения семьи. Причем, что тоже весьма любопытно, в этих личных отношениях главный герой никогда до конца не отказывается от позиции психолога, что позволяет ему сохранять необходимую дистанцию — ведь в случае возникновения конфликта или просто усложнения ситуации всегда можно сказать: «Я не доктор!» — и гордо удалиться.

Еще одним крайне любопытным моментом является этическая оценка героя как положительного/отрицательного персонажа. Женщины в основном оценивают героя не как отрицательного, а как в чем-то ущербного (см., к примеру, материалы круглого стола: http://magazines.russ.ru/km/anons/club/230408/photo.html). Авторское отношение к доктору Левину не столь явно — Борис Минаев, кажется, даже готов признать своего героя «отрицательным», но, тем не менее, если посмотреть, как выстроен сюжет, из чего исходит и к чему приходит доктор Левин, становится понятно, что с авторской точки зрения персонаж этот, скорее всего, все-таки «положительный». В конце романа герой так или иначе получает все, чего хотел, — фактически восстанавливается его семья, к нему пытается вернуться ушедшая было от него Марина, да и в профессиональном плане доктор Левин по результатам своей деятельности оказывается вполне состоятельным — выздоравливает Катя, налаживаются отношения между Дашей и отцом ее ребенка, растет профессиональный авторитет доктора, появляются новые пациенты и т.д. Да и просто по тому, как подробно и любовно описан Лев Левин со всеми его переживаниями, фобиями, тайными страстями и явными недостатками, становится ясно, что автор не просто относится к своему герою благосклонно, но искренне его любит и всячески ему сочувствует. Возможно также, что проблема положительного/отрицательного в данном случае автора не так уж сильно и волнует — в русской литературе вполне достаточно образов, оцениваемых негативно с этической точки зрения, но, тем не менее, вполне привлекательных и для автора, и для читателей. Таким образом, думаю, не будет преувеличением сказать, что в образе доктора Левина писатель Борис Минаев воплотил свои представления о некоем самом общем идеале нашего современника, если хотите — герое нашего времени.

Борис Минаев в своем романе, однако, не замыкается в рамках современности, а пытается ввести свое произведение в контекст русской классической литературы. Достигается это путем аналогий, возникающих прямо в тексте романа. Главный герой сравнивается и с бесконечно пережевывающими свои чувства и переживания «лишними людьми» Ивана Тургенева, и с персонажем Ивана Гончарова, милым и чувствительным лентяем — Ильей Ильичем Обломовым, и со страстными постоянно ищущими героями Ивана Бунина. Во время упоминавшегося выше обсуждения вполне логично возник образ князя Льва Мышкина. Мне же вся история с Катей показалась неуловимой репликой к роману Френсиса Скотта Фицджеральда «Ночь нежна». Также весьма любопытна интерпретация сюжетной коллизии «Евгения Онегина», сделанная одним из второстепенных персонажей романа — журналистом и женоненавистником Сергеем Стокманом. По его мнению, вся русская история пошла наперекосяк из-за «неженского» поступка Татьяны Лариной, взявшей на себя инициативу и первой объяснившейся в любви Евгению Онегину.

Однако обращение к классическим текстам, с одной стороны, придающее роману какой-то дополнительный объем, с другой стороны, немедленно высвечивает и присутствующие в нем недостатки. Во-первых, это статичность — персонажи Бориса Минаева, описанные очень подробно и даже в некоторых случаях, пожалуй, излишне тщательно, в дальнейшем никак не развиваются. Каким Лев Левин является читателю на первой странице — таким же он остается и на всем протяжении романа. В его внешней жизни происходит множество событий, которые не отражаются на его внутреннем мире — характер главного героя никак не меняется. Во-вторых, основным конструктивным элемен-

том сюжета являются поступки героев, а не их психологические переживания. Причем очень часто эти поступки оказываются для доктора Левина — психолога по профессии — совершенно неожиданными и никак психологически не мотивированными. Вдруг происходит «нечто», и это нечто не имеет вовсе никакого отношения к психологическому устройству персонажей. Русская же классическая проза, напротив, в основном строит сюжет именно на внутренних переживаниях героев, имеющих своим закономерным следствием их разнообразные поступки. Герой обязательно проходит через ряд испытаний, выводящих (или — не выводящих) его на совершенно другой экзистенциальный уровень. Лев Левин, напротив, остается там же, где и был, внутри него ничего не меняется, то есть, как ни странно, роману о докторе-психологе, в сущности, не хватает именно психологизма. Ну и, в-третьих, в романе практически отсутствуют столь характерные для русской классики «вечные вопросы».

Как уже упоминалось выше, жизненным идеалом и целью всех устремлений доктора Левина является совместная жизнь с «идеальной женщиной» — его женой Лизой. Разрушение семьи и отъезд жены с детьми в США воспринимается им как катастрофа, сравнимая с изгнанием из библейского рая. Видимо, именно эту утерянную «идеальную семью» и пытается постоянно реконструировать главный герой путем выстраивания личных отношений со своими пациентами. И в то же время, как бы опасаясь повторения несчастья, не позволяет подойти слишком близко никому из предполагаемых заместительниц. Различные обстоятельства и перипетии распавшегося брака описаны крайне идиллически, кажется даже, что большего счастья и удовольствия человек не может себе и представить. Возьмем теперь для сравнения другого персонажа, подсказанного, кстати, самим Борисом Минаевым. Лев Толстой в «Анне Карениной» также возвел семейную жизнь в ранг идеала. Константин Левин также женат и очень счастлив, однако, в отличие от минаевского Левина, это счастье не приносит ему полного удовлетворения. Вспомним хрестоматийный эпизод из романа, когда Левин, уходя в лес, боится брать с собой ружье, потому что испытывает страшное искушение застрелиться. В чем тут дело? Вероятно, в том, что простого «счастья» человеку мало, что невозможно сделать смыслом своей жизни всего лишь удовлетворение физиологических и душевных потребностей. Человеку нужно что-то еще… На вопрос, в чем же заключается это «что-то еще», каждый из русских классиков отвечал по-своему, но вся эта проблематика целиком и полностью осталась за пределами книги Бориса Минаева.

Тем не менее роман этот, на мой взгляд, фиксирует изменения, происходящие на наших глазах в российском обществе. И связаны эти изменения не с чем иным, как с размыванием традиционных гендерных ролей и общепринятых норм поведения. Если мы внимательно рассмотрим сюжетную структуру романа, то увидим, что все поступки в нем совершают женщины. Лиза принимает решение и уезжает с детьми в США. Марина принимает решение и заводит роман с Левиным. Даша принимает решение и начинает борьбу за ребенка. Катя принимает решение и совершает попытку самоубийства. А мужчины — не делают ничего, а просто плывут по течению, спокойно подчиняясь ходу обстоятельств, в основном определяемых и выстраиваемых именно женщинами. Все мужские поступки, в сущности, являются следствиями женских решений. Даже «побег» Стокмана и Левина в монастырь инициирован Мариной и является каким-то определенным ходом в задуманной ею игре. Да и неким подобием «вечных вопросов», кстати, задается в романе именно женщина (см., к примеру, рассуждения Даши о собственной пустоте), хотя этот мотив так и остается до конца не прописанным.

Единственным проявлением активности, по определению присущей мужскому началу, является в романе поступок Сергея Стокмана, из идейных соображений отнявшего ребенка у своей бывшей подруги. Стоит, однако, обратить внимание на то, как при этом постарался обезопасить себя этот персонаж — у них большая разница в возрасте и в социальном положении, кроме того, Даша переехала в Москву из провинции, у нее здесь нет ни семьи, ни друзей, и ей просто не у кого искать поддержки. Самое любопытное, однако, не это — глупо, конечно же, начиная войну и имея возможность выбора, подобрать себе противника, способного адекватно ответить на нападение. Самое любопытное, что Сергей Стокман реализует себя как мужчину не через противостояние агрессивной внешней среде, а через отрицание женского начала — и не просто женского начала,

а самой его сути — материнства. И вот здесь находится точка полной смены ориентиров, очень четко зафиксированная в романе Бориса Минаева.

Если раньше, в патриархальном обществе, «женское» существовало в качестве дополнения к «мужскому», а «мужское» определялось жесткими социально обусловленными нормами поведения, то теперь, похоже, «мужское» начинает самоопределяться исключительно по отношению к «женскому», то есть в том числе и через его отрицание. И если Константин Левин еще вполне вписывался в семантические рамки понятия «мужчина» (защитник, добытчик, глава семьи, берущий на себя ответственность за своих чад и домочадцев), то Лев Левин — занятый только самим собой, бесконечно пережевывающий собственные эмоции, ориентированный исключительно на тихую и спокойную жизнь в недрах собственного семейства, — конечно же, больше не может считаться «мужчиной» в социальном смысле этого слова.

В результате получается, что опустевшее место социально активного персонажа поневоле приходится занимать женщинам, и нельзя сказать — это тоже совершенно четко прочитывается в романе, — что к такому уж большому их удовольствию. В сущности, при сохранении старых наименований мы наблюдаем в книге Бориса Минаева полную перемену социальных ролей — т.е. «настоящими мужчинами» в книге оказываются как раз-таки женщины. Не думаю, впрочем, что автор сознательно стремился к такому несколько обескураживающему выводу, просто Борису Минаеву удалось очень точно воспроизвести ситуацию, существующую в современном российском обществе. Именно поэтому так по-разному оценивают главного героя читатели — мужчинам он представляется привлекательным, женщинам — неполноценным. Но и та, и другая оценки с разных сторон выражают тоску по навсегда утерянной патриархальности.

Анна Голубкова

«Отпусти меня, и тогда я останусь с тобой...»

Александр Уланов. *Перемещения +. — М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2008.*

Когда самый статичный образ начинает разбег («кем улитка пружина пруда заведена»), невольно становишься в позу бегуна на старте. «...отставая на бабочку следуй за ней». В названиях книг Александра Уланова уже живут динамичные образы («Направление ветра», «Волны и лестницы»). И в новой книге движение продолжается.

«Перемещения +» — пожалуй, нет более точного названия, отражающего особенности поэтической личности Александра Уланова. Поэт и его лирический герой релятивны в пространстве и во времени: в одном месте находятся (или не находятся) «кипяченый китай» и «зооморфный подвал тугоплавкой москвы» («Москва в пути / что везде означает сплошной Китай»), в одном времени живут «ты» и шумерский царь («что ты делал в день когда погиб Гильгамеш»).

Аннотация к книге сообщает о том, что автор «живет в Самаре, Харбине, Подмосковье и др.», и это правда в той же мере, в какой аннотация не является художественной частью книги. Уланов неуловим, и текст его не поддается неутомимому копанию на одном месте, а растекается по вольным дорожкам горизонтальной строки и вертикальной рифмы (когда ее допускают в стих). Словно по тем расширяющимся полоскам света, что изображены на обложке книги.

Считывать важные смыслы в «Перемещениях +» возможно, не рассматривая текст как предназначенную лично для тебя «шифровку», но оставив в покое «удобное» восприятие синтаксических связей в тексте, освободив себя от косности привычного и начиная становиться самим собой. Если перевешивает раздражение (к примеру, из-за намеренного изменения грамматики и синтаксиса в книге), то его причины стоит искать только в себе.

Поэт дает крепкие нити смыслов — только тяни вперед и наслаждайся, предвкушая, какую добычу на конце лески подготовило для тебя твое собственное воображение. Ловец смыслов, читатель Уланова — со-творец, со-рыбак, со-перник.

Книга Уланова заиграет в воображении тех, кто понимает или захочет понять, как рождается поэзия. Поэт ставит рядом слова: «жертва богу яблоко взгляд и дым», а между ними оставляет богатый улов смыслов. Нередко лакуна между словами уже частично заполнена, искра третьего смысла рождена и запечатлена на бумаге: «Полочки палочки кухонный барабан…».

Уланов не скрывает свою методику письма, а, наоборот, рождая из читателя соавтора, обнажает ее. И делает это различными способами.

Создавая (оставляя) синтаксическую неоднозначность: «Над кофейной гущей ветер приносит змей / их? его? или ветер несут?». Предоставляя читателю право самому мысленно расставить знаки препинания, порой по принципу «казнить нельзя помиловать»: «…изгибаются рыбы в ладонях лежат слова / …находя друг друга в открытых ладонях держа». Прибавляя смыслы путем прибавления букв, создавая зримые варианты: «останови (в) слова распространив края». Играя подобиями идиом: «разбирая пастель». Разрешая продолжить строку (причем давая легкое задание): «Глаза и улыбка, больше ничего на лице, да и не надо. Чтобы остановилось сердце у того, кто». Читатель продолжит: «у того, кто любит». Стыкуя однокоренные слова: «…не боясь бояться и ожидая ждать». Перебирая ударения: «… — сто́ит ли знать, что в этом полдне превосходит восторг? Стои́т ли знать полевых цветов?»

Александр Уланов многообразен и поэтому еще более притягателен для читателя-соавтора. Его поэзия питается из различных ипостасей его личности, допуская вкрапления в русскоязычную ткань стиха английских слов и выражений (Уланов-переводчик), инициируя диалог с читателем как рождение интриги, интереса, провокации (Уланов — плодовитый и интересный критик), создавая логически живущую структуру (Уланов — кандидат технических наук).

Поэт называет свою книгу «четвертой книгой стихов», но «Перемещения +» — это книга стихов и лирической прозы (прозаических миниатюр). В прозе Уланова, в отличие от его стиха, всегда расставлены знаки препинания, что указывает на программность в сознании автора «Перемещений +» двух типов художественной речи, причем программность формальную, основанную на константных их отличиях — ритме и графике, а также на доминантах стиха. Так, для Уланова важно преобладание в его поэзии строфы, а также эксперимент с фоникой, к примеру, с согласной рифмой в нечетных строках стихотворения «медленно падает волос выпущенный ладонью…»: «ладонью» — «ожиданье», «открытый» — «обороты», «трубы» — «рыба». Но в смысловом поле книги и стих, и проза — одно большое произведение, метатекст.

Исчезающие (надолго) и вновь возникающие знаки препинания, заглавные буквы, изредка оживающие в начале всех поэтических строк, или только в начале строф, или в абсолютном начале текста… Почему такое мерцание? Уланов в достатке владеет способностью создавать реалистические произведения, как художник-авангардист — виртуозные зарисовки с натуры. Для читателя в книге подготовлены не только графические и синтаксические аргументы, но и каскад поэтических сентенций, написанных без головокружительных смысловых сальто: «кто желает праздник найти старается праздником быть», «каждый с кем говоришь на тебе оставляет след», «для рисунка пыль на стекле для письма песок или снег», «легче труп оживить чем забытый труд», а порой и созданных словно бы с предельным снисхождением к читателю-новичку: «пусть листы превращаются в бережных птиц».

Рядом с лирическим героем — «те кто молчат с тобой бабочка ящерица пустота». Рядом не люди. Люди — в бинокле его мировоззрения. Он, сторонний наблюдатель, самодостаточный в своей поэтической скорлупе, не ищет человеческой поддержки, потому что склонен давать и любоваться, а не брать и ждать восхищения. Впрочем, это то, что видно на поверхности. Но и это — явный признак силы и гармонии. Лирический герой не один. Но чтобы ярче почувствовать вспышки любви к себе, защиту и покой, поэт очеловечивает неантропоморфные образы («усталость ив», «угловатый холод», «несерьезный кленовый сироп») и — особенно настойчиво — овеществляет эфемерные явления природы («кожу снимает потерянная метель», «наклонился ровный пустой свет», «ветер изношен до дыр», «замыкая воздух между пальцев»). Так поддержка мира становится ощутимее, крепче.

Эта кровная дружба с животными, растениями, явлениями природы взаимна («выслушай мышь между длинных ногтей»).

Уланов находит анималистические, флористические и другие природные аналогии в своих чувствах, во внешности дорогой сердцу женщины, видимой словно издалека («ящерицей тепла угадывая наклон», «приближаясь в реке каштановой плыть легко»).

Александр Уланов — мастер мини-образа. «Ручные ягоды», «ты в башне из яблок», «кожа яблока неодетого», «между чугунных вишен и кислых скал», «магнитное поле для стальных опилок воды и речи», «теплее пальцев язык»… У поэта есть излюбленные, настойчиво всплывающие мотивы — «чай», «раковинка», «бабочка», «змея»… По мини-образам, как по сегментам моста, и движется динамичная книга Уланова.

Крайне редко стихотворения Александра Уланова стоят особняком от соседних. К примеру, автономно стихотворение «Хриплый холод на коросте сна…», в котором воссоздан уникальный образ болезненной бессонницы, рожденный мотивами «клея и кислоты», съедающих «цвет», «человека», проглоченного «дрожью потолка», «ртутных пушинок на окне», «опухшей двери», «вареной кровати», «плавленого сырка мозга». Но в отличие от подобного замкнутого художественного мира, практически все произведения Уланова своими частями живут в других текстах книги — нет, не только интертекстуально, а именно физически, их полное рождение происходит только при знакомстве со всей книгой. Словно бы прутья моста расположены не по порядку: «помощь помеха одно и то же осколки мосты».

В «Перемещениях +» — стихи живут по своим законам, не важно — внутри ли цикла, растворенного в книге (цикл «Сплошной Китай»), или капсулкой бессонницы.

«Даже если проснешься с цветком в руке», а может, и с веточкой лавра, ловец смыслов, осознай, что это метафора, просто она — конкретна.

Елена Зейферт

И быть вменяемым

***Людмила Коль**. Роман с заграницей. Повесть. Рассказы. — СПб.: Алетейя, 2009. — (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы).*

Людмила Коль постоянно живет в Финляндии, о Финляндии чаще всего и пишет, но издаваться стремится в России. Так что, узнав писательницу по вышедшим в Петербурге книгам «Когда она придет» (2006) и «Свидание с героем» (2007), читатель «Романа с заграницей» имеет теперь возможность уже более или менее определенно судить об особенностях этой прозы вообще. Например, о том, что она носит очевидно гендерный характер, демонстрируя не только специфику женского подхода к жизни, но и его ясно осознаваемые преимущества.

Используя компьютерную метафору, женское мировосприятие можно назвать многофайловым. Мужчина всегда в каком-то одном файле. Для того чтобы перейти в другой файл, ему сначала нужно выйти в директорию. Так, мужчине можно сделать выговор, а потом пойти с ним вместе пить пиво — это же разные жизненные файлы. Женщина же во всех файлах сразу. Ее мировосприятие подобно глазу стрекозы: перекрывает обзор больше чем на 360 градусов. Хорошо известно, что женщины лучше мужчин оценивают ситуации и людей, чувствуют перспективы и опасности, в чем и коренится прославленная женская интуиция. Короче говоря, женский взгляд стереометричней и даже стереоскопичней мужского, а в силу этого и более укоренен в реалиях этой жизни, в отличие от мировосприятия мужского, склонного к «трансцендированию в иное».

Вот и получается, что в современных условиях женские проекты зачастую оказываются более реальными и успешными, чем мужские, — благодаря своей конкретной жизненной «технологичности», умению безжалостно отбросить всякий утопизм, раз за разом оказывающийся несостоятельным.

Собственно, об этом и пишет Людмила Коль, особенной внятности достигая в повествовании о том, насколько естественнее и пластичнее, чем мужчины, наши соотече-

ственницы «вживаются», «врастают» в новую для себя внероссийскую реальность, становясь «гражданками мира», но оставаясь при этом все теми же милыми, стойкими перед лицом житейских трудностей, ни при каких обстоятельствах не унывающими «женщинами из России».

«Роман с заграницей» — хроника этого «врастания» россиянки в зарубежную действительность. И читается книга, вызывая ощущение сознательно выстраиваемой гармонии с другими людьми, самим собой, миром в целом. А главное — порождая уверенность в том, что такая гармония в принципе возможна. Нужно только не унывать, видеть жизнь в ее многокрасочности и разнооттеночности. И быть вменяемыми в обоих русских смыслах этого слова: так, чтобы и мотивация была ясной, и ответственность за ее реализацию осознанной. Сказанное относится не только к собственно авторской позиции, но и к поступкам, образу жизни (а иногда и смерти) действующих лиц.

Поучительна книга и тем, что теоретики назвали бы «кросс-культуральностью». Людмила Коль различает, какие их реакции и поступки объясняются характером, свойствами личности, а какие — иной ментальностью и «чужой» социокультурной платформой. Жизнь в ситуации постоянного диалога, а иногда и конфликта бытовых привычек, психологических установок и культурных традиций — опыт нелегкий. Но открывающий новые возможности понимания мира, да и самого себя, дающий новую жизненную компетентность.

И еще одно. Людмила Коль не просто давно живет за границей, но и активно работает на упрочение контактов между русскоязычной общиной и финским обществом: выпускает журнал «Literarus», проводит научные и литературные конференции в Хельсинки, хлопочет, чтобы наиболее интересные финские книги зазвучали на русском языке, а голоса из России стали слышны и в Суоми. При этом очень не любит, когда ее считают писательницей русского зарубежья. И действительно, уместно ли это деление на «своих» и «чужих» в ее случае? Когда точно можно сказать, что Людмила Коль уже много сделала для того, чтобы «прописаться» в русской литературе.

Г. Тульчинский

Дуальный Гоголь явился…

А. Давыдов. *Душа Гоголя. — М.: Новый хронограф, 2008.*

Любители Гоголя, особенно имеющие опыт филологического чтения, которых привлечет книга А. Давыдова «Душа Гоголя», будут немало удивлены нетрадиционным подходом к анализу творчества писателя. Хотя оглавление заманивает широтой взгляда и нагромождением всего, чего можно: «Между архаикой и модерном», «Притяжение земли», «Архетип соседской общины», «Архетип земли», «Христианско-языческий карнавал», «Пир варваров», «Город как мировое зло»… Но это, пожалуй, и все. Дальше — сухость рассуждений, перескакивания от длиннющих формулировок, набитых терминами, к конспективным назывным предложениям, вызывающим вопросы: постойте-постойте, а это вы откуда взяли, а это из чего следует? Торопливость и небрежность есть, а вот ни карнавала, ни пира, ни божества, ни вдохновенья нет… И приходит в голову немудрящая мысль, что юбилей писателя — лишь повод не просто познакомить читающую публику со своими взглядами и выводами, а прямо-таки агрессивно навязать их.

А. Давыдов называет себя то историком, то филологом, то социологом, то, естественно, культурологом («а то и просто дядюшкой» — Давыдов, по всему видно, не любит всех этих милых сердцу цитат, и вообще он по-первопротестантски серьезен, что в контексте его писаний важно). И тем не менее он не просто отметает литературоведческий подход для понимания творческого пути писателя, но утверждает, что «разговор о Гоголе в рамках «измов» мало что дает для понимания новизны гоголевской мысли, … «измы» сегодня не способны выполнить новых задач. Они уводят читателя от анализа воспроизводственной логики русской культуры и поэтому от реального Гоголя, от ясных оценок гоголевской мысли как культурной архаики и социокультурного модерна». То есть читай:

чтобы по-новому понять Гоголя, в свете новых задач, так сказать, надо отказаться от того, что было раньше, от всех этих -измов. Нет, положительно у нас не только всегда получается пулемет, но и большевизм. Чуть что, сразу «отречемся от старого мира».

Давыдов, по его собственным словам, рассматривает русскую литературу как социокультурное исследование человеческой реальности, а творчество писателей — как способ русского человека выйти за исторически сложившиеся культурные рамки и поиск адекватной меры выхода.

Центральной же темой русской литературы Давыдову видится изменение типа русской культуры, а главной проблемой — личность и социальная патология в России. Его собственная задача, в частности, в критике культурной архаики — неспособности к изменению себя, к медиации, т.е. поискам срединных решений, отсутствию крайностей, и, следовательно, нравственным решениям.

Неспособность эта коренится в глубине веков, в том, что привычно сводится к загадочной русской душе, ее непознаваемости, иррациональности и т.п. Предлагая новый взгляд на Гоголя, Давыдов, ни больше ни меньше, обозначает главные пути анализа и преодоления этих родовых травм русского народа.

В преодолении «социальной патологии», критике архаики русской культуры и поиске демократической, либеральной альтернативы (ну что за прелесть эти формулировки! Прямо готовые лозунги: «От архаики русской культуры — к поискам либеральной альтернативы!» — *Т.М.*). Давыдову видится гражданская миссия и жертвенность и Гоголя, и всякого настоящего русского писателя. Надо полагать, что свой труд исследователь тоже числит по этому разряду. Гражданская миссия самого же Давыдова и впрямь не шуточная, потому что единственным свойством русской культуры и литературы особенно объявляется именно архаика, то, что тянет назад и не дает развиваться. А мы-то думали… Поминки, справленные по русской литературе лет пятнадцать назад, теперь находят свое идейное оправдание.

Отгораживаясь от «ненужного сегодня и недолговечного вообще», «тяжеловесного философически-филологического груза изучения Гоголя», А. Давыдов объявил новую магистральную линию: Гоголь как носитель идеи преодоления внутреннего раскола между пониманием необходимости измениться и неспособностью измениться адекватно. «В этой трагедии душа Гоголя и душа России».

Исследователь искренне увлечен философией А. Ахиезера (ему и посвящен труд). Одна из любимых идей философа была о нанесенной в глубоком прошлом, в детстве, нашему народу родовой травме. Нанесли эту травму чуждая варяжская государственность и так и не понятое по сути христианство, привнесенное греческими монахами. Ни то, ни другое так и не стало до конца своим. Вместо новозаветного христианства у нас развилось бытовое православие, замешанное на язычестве, суевериях и проч. Отсюда — раскол как главное свойство русского характера и русского мира, тяготение к крайностям, неприятие «чужого» и т.д. Дуальные оппозиции Ахиезера, описывающие эти проявления раскола (инверсия — медиация, архаика и модерн, культура — общество), восходят к одной, главной: Бог (всеобщее) — человек (единичное).

С точкой зрения Ахиезера можно соглашаться или нет. Разобраться в первоосновах, вычленить некоторый алгоритм русской истории, по крайне мере предложить для этого некоторые параметры, обосновать свою точку зрения — значит, задать направление для преодоления того, что действительно водит нас по заколдованному кругу. Но система Ахиезера — это одно, а Давыдов с ахиезеровской линейкой — совсем другое.

Давыдов использует гоголевское творчество как повод, чтобы убедиться в том, что схема Ахиезера работает. Работать-то она работает, но «любой роман возьмите», и там все эти противопоставления частного и всеобщего, нового и старого, медиации и инверсионности (вот ведь привязались словечки) будут актуальны. Но какими средствами автор это доказывает! Видите ли, герои «Вечеров…» не способны к рефлексии и развитию. «Человек — сложнее, чем он получился в «Вечерах». Это о чем наш автор? О том, что личности, вроде Оксаны или Вакулы не способны к решению актуальных задач XIX века? А к «Тарасу Бульбе» с абсолютной серьезностью прикладываются мерки современной морали и выносится строгий приговор, что он, Давыдов, не включил бы в золотой фонд мировой литературы эту повесть. «Зверские стереотипы, которые господствуют в повес-

ти о казаках, живших в голой степи и ненавидевших другие народы, тайно господствуют и в нас, живущих в городах. Нам они понятны, мы их принимаем и оправдываем и готовы преподать нашим детям в школах».

В школе-то худо-бедно, но работают люди, которые по привычке, прежде чем сводить смысл «Бульбы» к «зверским стереотипам» и исключать повесть из золотого фонда, все же прочтут что-нибудь из этих *-измов*, отвергнутых Давыдовым (ну, Ю. Манна-то уж обязательно!), и по-другому истолкуют смысл «Миргорода». В своем раже продемонстрировать инверсионность собственного мышления и свободу от стереотипа и традиции Давыдов не чурается резких характеристик. «Вскоре умерло одно ничтожество — Пульхерия Ивановна, через некоторое время другое ничтожество — Афанасий Иванович. А два идиота Иван Иванович и Иван Никифорович тупо судятся уже десять лет из-за ничего… Это медленное умирание, вырождение культуры, конец которого в могиле».

По мне же, «конец культуры» — это как раз вот такое «рапповское» отношение к литературе, пренебрежение ее законами и навязывание ей своих. Автор приводит множество цитат из гоголевских произведений, писем, записей, но все они железной рукой загнаны в строй давыдовской логики. Его попросту не интересует то, что составляет художественную ткань мира Гоголя, в пристальном изучении каковой как раз и заключены многие ответы на противоречия, кажущиеся Давыдову непреодолимыми. Его же задача — «предложить читателю… **интерпретацию** логики мышления писателя, которая несет существенный элемент новизны».

Объявив художественную реальность вне своего рассмотрения, автор заявляет, что он сосредотачивается на логике внутреннего развития писателя, ему важно нащупать, понять переход от Гоголя-художника к Гоголю-проповеднику и доказать, что именно этот переход и погубил писателя. И не только писателя, но и всю русскую литературу (и шире — культуру), т.к. этот переход от творчества к проповеди, который, как мы думали, и составляет особенность нашей литературы, практически забетонировал систему ценностей, которая из основы стала тормозом развития личности в России, а только личность (кто бы спорил!) способна преодолеть раскол, «родовую травму русской культуры». «Социокультурный раскол — это углубившееся противоречие между исторически сложившейся культурой и формирующимся гражданским обществом, между коллективным бессознательным народа и индивидуализмом личности, между общинно-самодержавной инерцией истории и необходимостью демократических реформ. … Эти формы можно обобщить как социокультурный раскол между господством соборно-авторитарной традиции (культура) и безуспешными попытками демократической инновации (общество) завоевать господствующие позиции. Его же можно также обобщить и как раскол между нацеленностью общества на диалог и его неспособностью к диалогу». Ну, диалектика, второй курс, кажется. «Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? от этого убыток казне». А стулья между тем переломаны все.

Гоголь или кто другой — это, в сущности, все равно для Давыдова. Главное — вот это — отражение противоречия между «культурой» и «обществом». И то сказать, все возвращение да возвращение к традиционной системе ценностей. Да каких ценностей! Вот нашему автору видится выход в формировании нового типа героя, способного преодолеть «исторически сложившиеся» формы культуры. И такие личности, и писатели, их породившие, у нас есть! Тут и Пушкин, и Гончаров, и Пелевин, и Сорокин, и Т. Толстая, и Виктор Ерофеев, и…, и…

А уж личности-то — любо-дорого посмотреть. Давыдов широкой рукой набрасывает список медиационных личностей, «способных к критике смыслов полюсов оппозиции как абсолютов, к формированию новых смыслов в сфере между смыслами полюсов, в условной середине» (да уж, всякая личность, продравшаяся сквозь такое изложение, должна быть причислена к медиационным в силу заслуг!). «Медиационная личность — наиболее слабый момент в российском литературном процессе. (Ну, натурально, по пояс в землю ушли со своей традицией! — *Т.М.*) Наибольшее количество медиационных персонажей у Пушкина. Их количество снижается по мере движения литературы от времени, когда творил Пушкин, к XXI веку. Это Черкешенка, Татьяна, Дон Гуан, Донна Анна, Вальсингам, Моцарт, Самозванец, Тазит, Демон, Пророк, Поэт Пушкина; Демон, Пророк, Поэт Лермонтова, Смех Гоголя; Штольц Гончарова; Соломин Тургенева; Анна Каренина

Л. Толстого; Воланд и его свита, Мастер, Маргарита, профессор Преображенский Булгакова; Григорий Мелехов Шолохова, доктор Живаго Пастернака и другие». Да… «Этот список — сущи бредни…», по словам того же Пушкина.

Либеральная альтернатива, которую всем скопом эти личности несут, противостоит господству полюсов в культуре. Они формируют «гражданское общество», «демократизируют его институты».

«Я так и знал!» — как воскликнул бы профессор Преображенский, не смотря на то, что в списке.

Не в Гоголе тут дело, а в том, что либерализма, по Давыдову, у нас маловато. Ну, не приживается у нас либерализм, а все потому, что личностей, свободных, независимо мыслящих, у нас нет. Фома Опискин все человека искал, а Давыдов — личность. Причина все та же, что «была и будет весь мой век» — православие, которое держит и не пущает.

«В христианской культуре вот уже две тысячи лет разворачиваются два противоположных процесса — реформаторский, новозаветно-гуманистический, личностный, преодолевающий раскол между божественным и человеческим в третьих, богочеловеческих смыслах и консервативный, ветхозаветный, патриархальный, сохраняющий его». Здесь можно хвататься за голову после каждого слова — или попытаться принять логику автора и понять, что вся его система исходит именно из этого посыла. Европейская традиция, шедшая именно по медиационному пути, формировала «срединную культуру как культуру личности. Возникло основание идеологии преодоления опасности раскола между единичным (человеком) и всеобщим (Богом) через смысл личности». Там возникли мощные медиационные гуманистические течения: Ренессанс, Реформация, Просвещение. У нас, естественно, ничего не возникло, так как наше православие — ветхозаветная религия, по Давыдову, утверждающая волю Бога-Отца. («Иисус в русском православии — это всего лишь имя верховного пастороначальника церкви, еще одно имя Бога-Отца».) Если мы не восприняли «евангельское нисхождение высшей нравственности с небес на землю», так сказать, не восприняли Главную Личность, то о какой гуманизации сознания можно говорить в недрах нашей культуры? У нас сплошной архаизм и кровь: «Я тебя породил, я тебя и убью!». Вот и весь отцовский сказ!

Вывести разницу культур — нашей и европейской — из разницы конфессий — не фокус. Важно другое. Давыдов пишет, что Бога воспринимает как исторически сложившееся представление о всеобщем. Преодолевает «полюсность», так сказать, хотя для его учителя Ахиезера большую часть жизни «Бог» даже в такой интерпретации был неприемлем в научном дискурсе. «Дуальная оппозиция «Бог — человек» может быть применена к анализу любых феноменов культуры, но особенно правомерна в процессе изучения творчества Гоголя. Бог для Гоголя — это символ той таинственной сущности, … той абсолютной истины, которую искал всю жизнь, … единственный полюс, какую бы дуальную оппозицию смыслов он ни выстраивал…» И т.д. Медиационность самого автора, видимо, позволяет ему толковать о Гоголе, о смысле русской культуры, ее архаичности и проч., находясь на столь демонстративном отдалении от ее главной системообразующей ценности. Нет, совсем не требуется уверений в совершенном почтении к православию, его роли и проч., пусть хотя бы прохладное, общекультурное ощущение значимости. Может, это бы удержало автора от пассажей в духе лектора общества «Знание»: «Иисус, противореча себе…»

Вообще, читая Давыдова, невозможно отделаться от мысли, что его подход в сущности большевистский, во всяком случае, партийный. Он волевым усилием отбрасывает ненужные ему смыслы, те, которые не работают на его систему взглядов, объявляет их отжившими, реакционными, он исходит не от текста, но от им истолкованного мировоззрения писателя, он подменяет анализ произведения наложением на него своих идей. «К анализу творчества писателя я сначала подхожу дедуктивно, то есть иду от всеобщего, затем работаю с материалом и затем пытаюсь выстроить некий синтез смыслов того и другого».

И как неизбежное следствие появляется расчеловеченный Гоголь, а путь, который искал писатель для себя, читателей, России и всех людей вообще, под пером Давыдова превратился из пути спасения в идейный путь. Жесткость и подчеркнутая сухость формулировок, нагромождение терминов, бесконечные родительные падежи, наезжающие

один на другой, пренебрежение законами искусства при рассмотрении произведений искусства — все это сыграло злую шутку с автором. Думая, что он в этой книге демонстрирует инверсионность мышления, т.е. способность сломать стереотипы, быть свободным от заданных рамок, закрепляющих в изжившей системе ценностей, он, подчиняясь выбранной логике, игнорирует живую ткань гоголевских произведений, упрощая ее и тем самым искажая.

Заключительная часть книги «Душа Гоголя» названа мрачно: «Трагедия Гоголя. Трагедия России». Причина и того и другого, как и было сказано, в расколе основания русской культуры, а об этом, как говорит Давыдов, не было принято говорить ни во времена Гоголя, ни сейчас. А Гоголь посмел и не только не был понят, но был осмеян современниками, прежде боготворившими его. Гоголевская «попытка самопознания на самом высоком, самом глубоком и самом неисследованном уровне понимания сути русской культуры» не удалась именно потому, что он, «не отпадая от русской традиционной культурной основы, пытался ее критически переосмыслить». Таким образом, единственный путь самопознания — это сознательный отрыв от русской культурной традиции и припадание к медиационной западной модели. «Гоголь явился клеточкой русской культуры, в которой отразилась трагическая тысячелетняя попытка России преодолеть раскол в культуре одновременно противоположными средствами: логикой поиска богочеловеческой середины и логикой православно-самодержавной инверсии».

Христианство вообще и особенно тысячелетнее православие многократно, с той или иной степенью агрессивности объявлялось источником наших бед или основанием тех особенностей России, от «которых постораниваются другие народы и государства». В этом смысле Давыдов находится вполне тоже в русле традиции. Столько усилий, чтобы еще раз вздохнуть, что у нас не было мощных гуманистических движений — Реформации и Просвещения? что мы остались в стороне от формирования «серединной религии», чем давно заняты все приличные европейские умы?..

А странно, что в списке медиационных персонажей не оказалось одного, самого что ни есть медиационного — Петруши Верховенского.

Татьяна Морозова

Книга за книгой

Лев Додин. *Путешествие без конца. Диалоги с миром. — СПб.: Балтийские сезоны, 2009.*

В данном случае речь не о режиссере Льве Додине и не о возглавляемом им Малом драматическом театре. Основатель МХАТа Вл.И. Немирович-Данченко в свое время обозначил одно важное для режиссера качество: «талант власти» — и слава богу, что есть еще такие таланты, без уклона в анархию или диктатуру. Но на сей раз, повторяю, интересен не тайный механизм профессии, а особое свойство ее прозрачности, способность к самоописанию. Своего рода режиссерская литература. Поэтому, говоря о новой книге, нельзя не вспомнить предыдущую: Лев Додин. Репетиции пьесы без названия. — Санкт-Петербург: Балтийские сезоны, 2004.

Читая записи репетиций чеховской «Пьесы без названия», можно сравнивать конечный результат спектакля с первоначальным замыслом, проверять верность своих зрительских впечатлений — не в этом дело. Удивительно как раз то, что жесткого замысла будто и не было, что сама жизнь, в которую погружались участники репетиции, была «без названия». Существовал лишь исток, возможность развития — из любой точки — и перспектива, которая могла стать общей. А могла не стать. Все это и составляет интригу чтения, как в подлинном романе *новой формации*, о котором писал Ю. Тынянов применительно к «жизнетворчеству» Блока: романная форма, возникающая естественным образом, сквозь основной «текст», в его лакунах. Рискуя навлечь упреки в романтизме, Додин тем не менее открыто говорит о «режиссерском ощущении себя хотя бы на секунду Богом, который может какую-то вещь создать»; о том, что это ощущение — правильное.

Размышляет о театре как о другой, пересозданной жизни, более совершенной, чем жизнь реальная. Многие с этим согласятся: в театр идешь вовсе не за «жизнью», а за поэзией. Мы действительно узнаем только то, что мало знаем.

В лаборатории театра происходит «вырабатывание гормонов творчества». Дерзко это звучит или нет, иначе не скажешь. Прежде чем играть на сцене, участникам спектакля и вправду сначала нужно что-то сотворить в себе самих.

К романтическому сознанию российского культурного пограничья это никакого отношения не имеет.

Программа Додина — не революция в сфере духа, которая, как известно, может закончиться самым кровавым переустройством реальности, а работа самопознания. Кровь, бегущая в жилах театрального организма МДТ, не «клюквенная», артистическая — она медленная и трудная, годами шлифующая свои законы.

Разгоняемая постоянным психофизическим тренингом.

«Сплошная психофизика» — название одной из главок с материалами режиссерского семинара конца 80-х, когда всерьез задумывались о том, что можно противопоставить политтехнологиям, применяемым к области «межличностных» отношений.

Додин противопоставил настройку зрительской аудитории и по душевно-психологическим линиям традиционной театральной школы, и по социально-бытийственному полю, распаханному русской литературой. В Малом драматическом до сих пор отстраняются от пьес с лобовым конфликтом, не делают и не ставят «инсценировок». **Репетируют прозу.** Вот дело, дающее театру особые полномочия; нечто сродни чуду глоссолалии — способности людей сойтись в некоем намоленном месте и вдруг обрести дар понимания незнакомых языков.

Литература давно стала для режиссера его высокой спекуляцией — мировоззрением, миросозерцанием, — которая есть «идея-страсть», как у героев Достоевского. Только кастрированному политикой зрителю тут могут померещиться спекуляции на актуальных темах. У Додина «абсурды мира ощущаются кожей».

У автора широкомасштабных, многочасовых, «долгоиграющих», как это принято теперь говорить, театральных проектов всегда была опора на определенную реальность — от литературы ли это шло или от личного мужества противостоять массовым психозам. Потому и перешагнули в будущее, устояв в репертуаре, и «Братья и сестры» и «Бесы». Можно было бы усмотреть в этом установку на консервирование книжной культуры — в нынешней, «бестекстовой». Но театр движим собственной энергией, внутренними импульсами и загадками существования; на это, думается, и расчет в нашей культуре промежутка, во времена «смены парадигм», нежизнеспособных форм и стертых образов.

Опору, как ни странно, дает сама жизнь, если к ней относиться не как к точке приложения личных интересов, а как к произведению. Пожалуй, именно это вычитывается из двух книг (ожидается третья), где соратниками режиссера записаны и собраны материалы его репетиций, выступлений, бесед. В каком-то смысле труд, как и в театре, — коллективный. Но не будем рассуждать о «симфонии душ», о «соборности» (тут лучше идти на додинские спектакли и решать, какие струны они задевают). Будем просто читателями — чтобы увидеть, из чего и как возникает эта самая «форма», живое художественное тело. В том и смысл нашей читательской активности в условиях, когда так легко отказываются и от коллективных усилий, и от возвышенных целей, и от самоанализа.

Заметим, в опубликованных выступлениях деклараций нет. Додинский «категорический императив» неуклонен, но не категоричен. Протестантство этой личности столь же естественно, как антитоталитаризм, заставляющий режиссера утверждать, что один театр всегда лучше одного батальона. Внутри театральной машины МДТ, как мне кажется, действительно живет свой спасительный «бог» — тот самый, что «деус экс махина» у древних. Но и тот, что не позволяет переводить насилие в принцип жизни. В том числе и в насилие творческой личности над художественной формой.

В спектаклях Малого драматического — мощные запоминающиеся образы: щель «гильотины» в «Бесах», стекло «Чевенгура», дощатый загон «Лира», живые воды, где плавает мертвое тело в «Пьесе без названия», стога, золотой небесной жатвой опускающиеся на землю в «Дяде Ване». Это суть сценографическое отражение «мира идей». Но не оно составляет форму спектакля, а присутствие в нем скрытой человеческой культуры, рождаемой в результате путешествия внутрь себя. «Путешествие без конца».

Мертвое не способно материализоваться — распадается. Воплощается только живое. И хорошо, что нас, читателей, так упорно убеждают: как то или иное событие спектакля переживется — так оно и обернется к нам в реальности. Если заново не пережить присутствие «бесов», гулаговский ужас, расползающиеся призраки национал-социализма, — все снова может вернуться, став самой настоящей дурной бесконечностью.

Хорошо, что идут спектакли, которые можно «перечитать». «Спектакль-книга», «роль книга», — твердит режиссер. Какое это редкое качество для современного искусства, когда перечитывать не хочется.

Жизнь и «опыт» — так можно озаглавить сквозной сюжет письменно зафиксированного додинского высказывания. Сюжет, опробованный всей западноевропейской литературой двадцатого века и давший культурный навык, имеющий статус духовного. Один из последних философов нашего времени назвал это умением «впасть в реальность», «ввести в существование». — «Это проблема, я бы сказал, размещения человеческой души в некотором пространстве и времени», — так поясняет свою мысль М. Мамардашвили.

На репетициях у Додина — последовательное введение в существование связей между партнерами, собой и другим: которого «я вроде бы не вижу и не слышу, но он существует внутри меня». Режиссер даже воспользуется выражением «мистический трепет». Но, полагаю, имеются в виду вещи куда более реальные. И трепет этот не мистический или метафизический, а вполне земной.

Реальна мысль о характере человека — в «бесхарактерной стихии». Чеховского Платонова в «Пьесе без названия» репетирует — из собственной душевной вибрации — актер Сергей Курышев. Пробуют играть, как у Чехова, то есть так, как раньше никто не думал и не говорил «про умного, благородного разрушителя жизни». Интеллигент — в «террариуме единомышленников»… И вдруг — жесткой догадкой проходит режиссерский курсив: Платонов — *всеобщая болезнь, он — то, что у всех болит*: «обделенность жизнью, происхождением, историей… Платонов ненавидит себя, но других еще больше. Ненависть к себе дает ему право ненавидеть всех остальных. У Платонова народный характер».

Таков путь самопознания — неутешительный. Такова морфология образа. Постоянно складывающаяся.

Режиссер любит длинные истории, которые имеют свое начало и продолженье. Всегда есть какое-то исходное событие, с которого все начинается. Обычный вопрос к актеру: когда возник драматургический конфликт, ведь не с момента же появления героя на сцене? — Давно. И не на страницах литературы, а там, где слова складываются в *писание*. Потому сюжет и может быть рассказан так подробно, с ответвлениями, книга за книгой.

Светлана Васильева

Прямая в развилках

Т.И. Заславская. *Избранные произведения. Том 3. Моя жизнь: воспоминания и размышления. — М.: Экономика, 2007.*

Слово «развилки» встречается на первых же страницах воспоминаний известного экономиста академика Т.И. Заславской о своем жизненном пути. В самом деле, резкими и на первый взгляд неожиданными поворотами судьба ее не обделила.

И это — помимо тех, что в минувшем веке выпали на долю миллионов людей и были связаны с революцией и войной. Первая капитальнейшим образом изменила статус и жизнь интеллигентской семьи, где Татьяна Ивановна росла, глава же о начале второй, гибели матери, эвакуационных мытарствах не зря названа «Катастрофа», и в изобилии цитируемые в ней письма и дневники того времени живо воскрешают реальную картину пережитого.

Но вот уже сугубо «личный» поворот — переход с физического факультета МГУ на экономический. Что, как, почему?! И до нас доносится взволнованный голос из юношеского дневника победного сорок пятого года:

«Я люблю Сталина, у меня в комнате висит его портрет, а тут (на Украине, куда девушка приезжала вместе с отцом. — *А.Т.*) говорят о нем скверно. Сердце болит, когда слушаешь. Тетя говорит, что крестьяне не рады возвращению Советов, что их безжалостно грабят, что УКРАИНСКИЕ колхозники голодают без хлеба. Но с чьих слов она говорит?.. Но как же узнать? Ведь мне легко любить и уважать его (Сталина), но это ничего не доказывает. Единственный пробный камень для него — это народ… И в самом деле, мы сидим в Москве, читаем хорошие книжки интересу для, но у нас нет ни одного факта в руках, у нас нет живого материала. И потом, в Москве мы получаем очень неплохие пайки, которых киевляне, саратовцы и туляки не видят. «Значит, — решаем мы, — дело идет на поправку… Ах, как стыдно!.. Нет, я не буду больше так гадко и конфетно болтать о «возрождении» страны… И дело вовсе не в том, что она не возрождается, что я лгала, а в том ужас, что Я НЕ ЗНАЮ».

В этих горячих совестливых словах — не зерно ли всей будущей жизни, не ощущаются ли уже и стержень личности, и тот «курс», которого пишущая будет в дальнейшем упорно придерживаться, и основа того драгоценного «имущества», которое Заславская сорок лет спустя определит так: «Единственное, чем я располагаю, помимо некоторого уровня знаний в довольно широком круге областей, — это научная совесть и гражданское мужество»?

«Нас учили, — с горечью вспоминает она, — двигаться не от анализа фактов — к выводам, а от заранее известных непреложных выводов — к отбору подтверждающих их фактов». И первый же доклад, где она с критериями научности, почерпнутыми на физфаке, не умолчала о «фактах, говорящих о большой еще крепости капитализма», навлек на автора обвинения в «ревизионизме».

К тому же и главный интерес «неофитки» был совершенно «нездоровым». «…Посещая родственников в папиной деревне Зевнево и принимая участие в уборочных работах в колхозах, я видела, что нищета и бесправность крестьян намного глубже, чем городских рабочих. Возникал вопрос, почему социалистический принцип распределения по труду не распространяется на сельскую часть общества?».

Именно проблемам оплаты труда в колхозах будут посвящены курсовая, а затем дипломная работы и в дальнейшем кандидатская и докторская диссертации Заславской.

Надежда Заславской на то, что ее путь ученого и путь руководства страной «параллельны» и — хотя бы в дальней перспективе — сойдутся, что «верхи» поймут: село «является не источником развития города, а такой же органической частью общества», не оправдалась.

Нечего и говорить, что с такими взглядами, как у нее, в тогдашних условиях приходилось действовать, по выражению из одного позднейшего интервью исследовательницы, с наполовину заткнутым ртом: «власть нас не слышала, а если слышала — не понимала».

Счастье, что из консервативнейшего Института экономики удалось уйти в новорожденное Сибирское отделение АН, обладавшее большей свободой. Однако и сделанный там доклад «О совершенствовании социалистических производственных отношений и задачах экономической социологии», вскоре за свой воинственный пафос окрещенный «Новосибирским манифестом», вызвал обвинения в «антипартийности» и… был изъят сотрудниками КГБ — даже у самого автора, вкупе с подготовительными материалами.

В перестройку Заславская, казалось, «дождалась своего часа»: возможности откровенного высказывания своих взглядов, очередной «виток» (развилка?) — создание ВЦИОМА, Всесоюзного центра изучения общественного мнения, и руководство им, активное участие в политической жизни. Однако последнее было, увы, сопряжено с горьким разочарованием и даже прямой травлей и клеветой. Многое оттолкнуло и в «эпохе реформ», в результате которых, по мнению Т.И. и ряда других ученых, если политические права граждан «несколько расширились, то социально-экономические — существенно сузились».

Все это побудило ученого с мировым именем отказаться от политической деятельности («больше ей меня не видать») и целиком сосредоточиться на научной, предметом которой стало изучение постреформенных сдвигов и перемен в социальной структуре нашего общества.

«Начинали мы, можно сказать, как профаны, — уверяет Татьяна Ивановна рассказывая о рождении ВЦИОМа, — правда, готовые учиться…»

И учится она всю жизнь — у родных, чья, как благодарно пишет Т.И., «деятельность по нашему воспитанию была ненавязчивой, незаметной, но целенаправленной» («нельзя что-то требовать для себя в ущерб другим» и т.п.), у старших коллег, например, у В.Г. Венжера и др., у ровесников и даже у младших: «думаю, они мне много дадут», — предвкушала она совсем недавно «контакты» с новым поколением ученых. И прочитав это, я подумал, что ей, вероятно, пришлись бы по душе строчки поэта Дмитрия Сухарева: «Кто-то нас перебивает — поприветствуем его!».

Андрей Турков

Портрет на фоне эпохи

В.Э. Вацуро. *О Лермонтове. Работы разных лет. Составители: Т. Селезнева, А. Немзер. — М.: Новое издательство (Новые материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 4), 2008.*

Вадим Эразмович Вацуро (1935—2000) — автор статей и книг по истории словесности и литературного быта 1800—1830-х гг. — известен в ученой среде как замечательно тонкий, проницательный и скрупулезный исследователь. В более широких читательских кругах его знают меньше. Не потому, что работы Вацуро отличают некая закрытость, сугубо научная «эзотеричность»; такая позиция была ему чужда. Причина в ином: Вадиму Вацуро были глубоко несимпатичны как эффектные, броские и экстравагантные истолкования и нарочитая сенсационность, так и соблазнительная простота в интерпретациях классики, искушающее стремление прочитать произведения далекой эпохи в контексте нашей злободневности. Отчетливо осознанной позицией исследователя были «самоумаление», филологическая скромность. Поэтому неудачно в сборнике «О Лермонтове» название прекрасной вступительной статьи Андрея Немзера «Пламенная страсть: В.Э. Вацуро — исследователь Лермонтова»: заглавная метафора-цитата слишком яркая и эффектная, чувство, привлекшее ученого к творчеству Лермонтова, — более «тихое» и «обыкновенное».

Себя он видел прежде всего комментатором произведений давно ушедшего времени: «В расхожей чеховской формуле “важен не Шекспир, а примечания к нему” ирония, право, напрасна: без “примечаний” неискушенный читатель вряд ли что-нибудь поймет и в самом Шекспире, — или, что еще хуже, поймет совершенно превратно, о чем не будет даже догадываться. Это относится и к произведениям русской классики, созданным в относительно близкое к нам время: сто — двести лет назад. Чтобы понимать их правильно, то есть в соответствии с замыслом их автора, нужна историческая ориентация, знание “правил игры”» (Вместо предисловия // Вацуро В. Э. Записки комментатора. СПб.: Академический проект, 1994. С. 3).

Этот подход предполагает, что исследователь видит произведения признанных авторов на полустертом и потемневшем фоне их времени — фоне, который был для них почвой и воздухом; но одновременно их творцы стремились выделиться из этого фона «лица необщим выраженьем». «Культура коллективна по самому своему существу, — напоминал Вацуро, — и каждая культурная эпоха — непрерывный процесс взаимодействия творческих усилий ее больших и малых деятелей, процесс миграции идей, поэтических тем и образов, заимствований и переосмыслений, усвоения и отторжения. Это многоголосие — форма и норма ее существования. Творчество гения вырастает на таком полифоническом субстрате; оно усваивает себе, интегрирует, преобразует “чужие” идеи и образы, иногда отмеченные индивидуальной печатью, а иногда “ничьи”, ставшие уже частью общего культурного достояния» (Там же. С. 5).

Такой подход отнюдь не приводил исследователя к бескрылому «эмпиризму» и «позитивизму», к простому и малоплодотворному коллекционированию перекличек; и автор «Пушкинской эпохи» и «Записок комментатора» никогда не растворял творчество писателей «первого ряда» в контексте, образованном сочинениями их менее одаренных современников. Наоборот: при таком сопоставлении своеобразие и новизна проступали особенно отчетливо. Исследователь, опасавшийся больших концептуальных схем, неизменно исходил из конкретики, и именно это приводило в итоге к подлинным научным

открытиям. Так, в книге «Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа» (СПб.: Наука, 1994) он, сополагая рядом стихотворения русских элегиков 1800—1810-х годов и русских и западноевропейских авторов XVIII столетия, с неоспоримой ясностью показал, что русская элегия первых десятилетий XIX столетия (в том числе и сочинения «классического», «образцового» романтика Жуковского) — в действительности явление преромантическое, глубоко укорененное в более ранней литературной эпохе.

Лермонтову повезло с исследователями (авторы ценнейших ученых трудов о нем — Б.М. Эйхенбаум, Л.Я. Гинзбург, Д.Е. Максимов, — список можно продолжить). На этом фоне непросто выглядеть достойно, зато легко затеряться. Ученые сочинения Вадима Вацуро такое сравнение выдерживают. Уже незадолго до безвременной смерти, предпочтя лермонтоведению другие литературные «сюжеты», Вацуро писал своей знакомой Т.Г. Мегрелишвили: «Лермонтовым заниматься нельзя <…>. Лермонтов — поэт “закрытый” и с особой спецификой. <…> Специфика — в том, что в силу многих причин он стоит как бы в изоляции: у него нет критических статей, литературных писем <…> самая среда его восстанавливается по крупицам, и почти единственным материальным предметом изучения оказывается его творчество, а методом изучения — внутритекстовое чтение и размышления о прочитанном» (О Лермонтове. С. 689). Сорок лет собственной жизни (начиная с курсовой работы о стиле «Песни про <…> купца Калашникова» и с дипломной, посвященной сопоставлению поэтики Лермонтова и А.А. Бестужева-Марлинского) ученый посвятил опровержению этого тезиса. (Сборник «О Лермонтове» представляет эти штудии практически с исчерпывающей полнотой.) Творчество Лермонтова было рассмотрено им в самых разных контекстах. Например, на фоне «неистовой» прозы Марлинского, отталкиваясь от которой то посредством почти пародии (образ Грушницкого в «Герое нашего времени»), то с помощью адаптации и трансформации (образы Вулича и Печорина), «Лермонтов переступил ту грань, за которой обработка литературного материала перестает быть определяющей при отнесении его к тому или иному литературному направлению» («Лермонтов и Марлинский» [1964] // О Лермонтове. С. 50). Или в сопоставлении с полузабытыми (а читателю-непрофессионалу попросту неизвестными) поэтами «школы Раича», круг которых стал для юного стихотворца «передающей средой» в восприятии поэзии Батюшкова («Литературная школа Лермонтова» [1985]). Проецируя лермонтовские стихотворения («Не верь себе», «Журналист, читатель и писатель») на типичные для лирики того времени сочинения, казалось бы, никому не интересных Надежды Тепловой или Платона Волкова, Вацуро показывает, как в середине 1830-х годов в произведениях Лермонтова появляются «“чужое сознание”, альтернативная точка зрения, а стало быть, и вторая аксиологическая шкала», в устоявшемся элегическом «романтизме» невозможные («Чужое “я” в лермонтовском творчестве» [1993] // О Лермонтове. С. 314—315).

При этом творчество Лермонтова представлено как «единый художественный мир», но не застывший, а «со своими законами эволюции» («Художественная проблематика Лермонтова» [1983] // О Лермонтове. С. 554), с движением сюжетов и жанров. И, наконец, литература и жизнь писателя предстают в неразрывной связи, но при этом своеобразие поэтического мира не приносится в жертву биографии и психологии. Так, скептицизм Печорина и его неспособность к истинной дружбе соотносятся с особенностями поведения автора, отмеченными мемуаристами; и поступки литературного героя, и замкнутость и порой злая ироничность Лермонтова объяснены временем и литературными образцами. Применение таких привычных литературных категорий, как «романтизм» и «реализм», обыкновенно ведет к неизбежным упрощениям и схематизации при описании реального движения словесности. У Вадима Вацуро они не абсолютизируются и превращаются в тонкие инструменты анализа и в некие легко опознаваемые знаки. Их условность, однако же, прекрасно осознают и ученый, и его внимательный читатель.

В суждениях Вацуро нет места произвольности и необязательности. Неслучайным оказалось даже вскользь брошенное в частном письме Т.Г. Мегрелишвили и не воплотившееся в ученых трудах замечание о необходимости соотнести прозу Лермонтова с повестями Н.Ф. Павлова (О Лермонтове. С. 690). Однажды в учебном разборе, не претендующем на научную глубину, я решился сопоставить Грушницкого с Брониным, главным героем павловского «Ятагана». И судьба лермонтовского персонажа предстала

полупародийной вариацией трагедии этого разжалованного офицера (Ранчин А.М. Семинарий «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова // Литература. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 1999. № 25).

Не все мысли Вадима Вацуро убеждают безоговорочно. Но главное — чтение книги Вадима Вацуро завораживает вниманием к текстам, к тем «мелочам» и нюансам, из которых складывается вся полнота смысла. Статьи, отмеченные ненавязчивостью сопоставлений, побуждают читателя к «со-раздумьям», и того, кто способен прикоснуться и к творчеству Лермонтова, и к методу ученого, ждет настоящая радость.

И последнее. Книга отлично подготовлена и снабжена не только библиографией и указателем имен (к сожалению, сейчас не всегда встречающимся в научных изданиях), но и указателем произведений Лермонтова. Издание образцовое не только в этом отношении, но и по дизайну. Сборник интересно читать и держать в руках приятно.

Андрей Ранчин

незнакомый журнал

В сетевом отражении

Стороны света *(Нью-Йорк). — №№ 7, 8.*

«Стороны света», как и любое пространство литературного журнала, начинается с названия: в данном случае, с аллитеративных двенадцати букв, медленно движущихся от низких сонорных — ввысь, то есть — к свету, к поднебесью. Сетевая модель журнала предполагает мгновенное чтение в любой точке земного шара. Достаточно вспомнить незатейливые строки Юрия Левитанского:

Вот в распахнутой раме рассвета
открываются стороны света
Сколько их?
Их никто не считал.

Если открыть №№ 7, 8 журнала, то перед нами распахнутся сразу несколько жанров. Канонические поэзия, проза, переводы. Менее традиционное «плавание». Выходящие за рамки «толстого» журнала живопись и светопись. Впрочем, буквальное восприятие этих жанров не делает «Сторонам света» доброй услуги, ибо, скажем, поэзии в прозе Надежды Вилько не менее, чем прозы в верлибре Рафаэля Левчина. Удивительный (первый!) рассказ Нины Горлановой «Девочка росла» сопровождается ее же картиной «Цветы и вино». Свои два гигантских стихотворения Олег Асиновский именует полотнами. Строгих жанровых правил в журнале, к счастью, нет; зато есть импровизация.

Несмотря на воздушность и некоторую хаотичность, в обоих номерах проступает четкая гармония самого составления. Переход от одного материала к другому происходит плавно: после прочтения парижского дневника Манука Жажояна — его анализ французских стихов Иннокентия Анненского. Или переводы из Михаэлы Москалюк на тему чешского «потемкинского» концлагеря Терезиенштадта перевоплощаются в разностороннюю публикацию Елены и Сергея Макаровых об этом же лагере. Фотографии, пейзажи, Мельпомена. И, словно человеческие жизни, повсюду разбросаны поэтические строки в переводе Инны Лиснянской:

И голы и босы, в дырах — рубашки, глотки — в оскоме,
в подошвах — свинец, в путах колючих — сердца, —
мы вечно чужие, чужие в собственном доме.

Редакционный выбор отдела поэзии в первую очередь интересен тем, что его нельзя подвести под конкретные рамки или стихотворную идеологию. Составители журнала не пытаются сосредоточиться на конкретном «изме», стиле, течении. В каждом номере — по нескольку имен: от жанра эпоса (Вадим Месяц) и поэтической прозы (Аля Кудряшева) до любовной лирики (Анастасия Строкина) и философского верлибра (Рафаэль Левчин).

Четыре, семь, десять стихотворений, и за ними, словно вдогонку поэтическому катарсису, — переводы и аналитические статьи на тему. И даже некий сравнительный экзерсис: Алексей Цветков предлагает английский оригинал, создает для него подстрочник, обрамляет предисловием-напутствием. Неожиданно мы узнаем об английском поэте Чайдеке Тичборне, авторе единственного стихотворения, написавшем его накануне казни в одну из ночей елизаветинской эпохи. Цветков призывает переводчиков к действию и подчеркивает для них основные элементы оригинала: односложные слова и англо-саксонские корни. «Грамотный русский переводчик, конечно, должен все это учесть и воссоздать в переводе... Но средств для этого у него нет, и взять их неоткуда», — напоминает при этом Цветков. Тем не менее, тем не менее...

Над секстетами Тичборна склонились переводчики, среди которых как минимум двое — Гандельсман и Кружков — обладают абсолютным слухом. В результате перед нами появились пять разных переводческих текстов, и в каждом безусловно есть свои достоинства. Гандельсман все восемнадцать строк снабдил мужскими рифмами, приблизившись к односложной музыке оригинала. Он также создал ауру ветхости в тексте, добавив архаизм («днесь») и призвав квазибиблейскую словесность: «Я путь торил, и знал куда торил: / по гробу своему, — едва рожден». Перевод Кружкова также сохраняет музыку, хотя и посредством женских окончаний в некоторых местах, но главное — его слог возвращает нас к шекспировской эпохе. Начало стихотворения «Моя весна — зима моих невзгод» напоминает первые строки из «Ричарда III»: «Итак, преобразило солнце Йорка / В благое лето зиму наших смут» (перевод М. Донского). Рефренные строки «Сколь горек мне доставшийся удел: Вот — жизнь моя, и вот — ее предел» граничат с Сонетом 64: «А это — смерть!.. Печален мой удел. / Каким я хрупким счастьем овладел!» (перевод С. Маршака). Шекспиру было двадцать два года, когда господин Тичборн взошел на эшафот.

Кстати об эшафоте. В рубрике «Критика, эссе» мандельштамовская «Ода» Сталину, о которой написано, верно, больше, чем о любом другом стихотворении О.М., попадает под аналитическую лупу С. Саакадзе и И. Фролова. Вероятно, в подобном труде есть что-то от удела Сизифа: в «Оде» можно приблизиться к смыслу, но не постичь тайны. То же самое можно сказать о «Стихах о неизвестном солдате» и нескольких других — из последних лет жизни О.М., когда его внутреннее безумие граничило с кафкианством, но по интенсивности уступало безумию общества. Поздний О.М. — это прежде всего фонетика, костный хруст строфы. Но и символизм, отчасти пришедший на смену его раннему акмеизму. Саакадзе и Фролов затронули все эти аспекты, но особенно сосредоточили внимание на символистской подмене. Мандельштам — Прометей. Сталин — Иисус, точнее — Иисус Отступник. Возможно. Хотя и напрашивается вопрос: действительно ли присутствует Сталин в этой посвященной ему оде? Если продолжить вывод В. Гандельсмана (из статьи 1999 года): Сталин, Эсхил, Гомер — лишь части словаря в этом стихотворении. Сталин — не герой, а часть речи.

«В чем различие между одой Эндрю Марвелла Кромвелю и рапсодиями Бехера Сталину и Ульбрихту?» Это уже из другого эссе: «Писатель и коммунизм» Джорджа Стайнера, где знаменитый филолог рецензирует книгу Юргена Рюле «Литература и революция». Не столько рецензирует, сколько размышляет на заданную тему: о взаимоотношениях литературы и коммунистической доктрины. По Стайнеру, западные умы оказались под не менее сильным влиянием коммунизма (по собственной воле), чем их подневольные коллеги Блок, Есенин и Маяковский. Внутри, снаружи, абстрактно ли — коммунизм не мешал, а скорее способствовал литературному процессу, ибо, в отличие от фашизма, пробуждал чувства добрые, упираясь в возвышенную мифологию будущего. Задумывались ли мы, каким бы стал Фейхтвангер, если бы не его встреча со Сталиным и «Москва 1937»? А был бы Брехт Брехтом? Если послушать Стайнера, то для Камю и Стейнбека марксизм сыграл «освободительную роль», что пошло западным прозаикам только на пользу. Все это несет в себе свежий взгляд для русского читателя, который больше сосредоточен на судьбах отече-

ственной литературы. Книга Рюле эти судьбы тоже затрагивает, хотя и более обзорно, чем мы привыкли видеть на страницах Л.К. Чуковской и Н.Я. Мандельштам.

Так что, в распахнутой раме «Сторон света» — www.stosvet.net — есть что почитать. Тональностей здесь как минимум двадцать четыре, а количество сторон, вероятно, не исчисляется. При хорошем подключении к Интернету можно раскрыть сразу несколько окошек в рамках браузера и одновременно погрузиться в разносторонние жанры, интертексты, имена. Отчего на какое-то мгновение на душе станет тревожно и хаотично. Но это будет добрая тревога и не менее благожелательный хаос.

Александр Вейцман

ни дня без книги

Виктор Пелевин. П5: Прощальные песни политических пигмеев Пиндостана. — М.: Эксмо, 2008. (Новый Пелевин).

Пять повестей в уникальном пелевинском жанре, представляющем собой органический синтез зубодробительной политической сатиры с буддийским бесстрастием. В самой интересной действует типический для постсоветской России наивный герой, он же маленький человек — проститутка Лена. Она попадает в исключительные обстоятельства — на высокооплачиваемую работу в бордель, открытый ФСБ для бизнесменов, где девушки получают успокоительные инъекции, заставляющие их убивать клиентов.

Екатерина Донец. *Осень в раю. — М.: Астрель, Олимп, 2009. (Антология современной литературы).*

Екатерину Донец интересуют необычные люди в обыденной жизни. Цикл «Страна Бомжария» — рассказы о бомжах. Герои, живущие не столь экстравагантно, одарены избыточной нервной энергией, воплощающейся то в крылья за спиной, то в способность увидеть свою «единственно возможную половинку» в помятом пятидесятилетнем мужике в поезде метро в час пик — и осознанно с ней разминуться. Повесть «Фидель», опубликованная в «Знамени» (2007, № 5), — история разрушенной любви с массой задействованных в сюжете второстепенных персонажей: частных детективов, давних любовников, актеров… Эту нелепую историю делает странно правдивой фантастическая ненужность всего происходящего в ней — точно схвачено новое качество современности.

Марина и Сергей Дяченко. *Цифровой. — М.: Эксмо (Стрела времени), 2009.*

Новый роман украинских писателей, в котором из живых людей делают компьютерные игры, помечен жанровым подзаголовком *техно-фэнтези*. Подросток Арсений с головой ушел в виртуальную жизнь. Он зарабатывает виртуальные деньги продажей виртуальных собак реальным компьютерным пользователям, которым одиноко, это половина его жизни; другая половина — онлайновая игра, которой он живет, забросив школу и забыв обо всем. Днем он спит, ночью играет, по утрам для родителей делает вид, что идет в школу, дает им уйти на работу и возвращается к компу… Однажды из школы звонят его родителям. На следующий день они провожают его до школы, а когда он оттуда возвращается, компьютера в его комнате нет. Но в сознании своем он гораздо более министр, опутанный интригами в виртуальном городе, чем четырнадцатилетний школьник, пропускающий занятия в реальном; сейчас — самый напряженный момент его карьеры, а он не может войти в свой министерский кабинет… Закатив родителям истерику, он убегает из дома и проводит ночь в интернет-кафе, с чего начинаются все его беды и приключения.

Роман дополняется повестью, в которой герои компьютерной игры, наделенные всеми качествами живых людей — страстями, чувством долга, любопытством к миру, —

получают унизительное знание о своем мире и о том, что они всего лишь элементы программы. В романах и повестях Марины и Сергея Дяченко, кроме разве что самых ранних, всегда прочитывается подтекст, заставляющий задуматься о мире и человеке в нем.

Тринадцать фантазий: *повести и рассказы. Составление: С.В. Василенко, И.С. Горюнова. — М.: Астрель, Олимп, 2009. (О любви).*

Еще раз к вопросу о женской прозе. В сборнике — тринадцать новелл тринадцати писательниц, как давно известных (Марина Палей, Ольга Славникова), даже забытых (Валерия Нарбикова), так и молодых (Наталья Рубанова, Наталья Ключарева), даже начинающих (Алла Юрьева, Алиса Поникаровская). Сборник антиглянцевый, хоть и поблескивает обложкой: во всех историях — избыток глубины и трагизма, без которых невозможна художественная достоверность, самый тонкий и гармоничный в этом отношении — рассказ Ольги Татариновой (1939—2007) «Умирать приятно» о последних днях женщины-калеки, талантливой пианистки и композиторши, променявшей женское счастье на творчество, любимый ученик которой поступил наоборот.

Мария Киселева. *Улица без фонаря. Сборник рассказов. — М.: Летний сад, 2009.*

Дебютная книга молодой писательницы, в которую вошли полудетские опыты, впечатляющие именно этим неизбежно утрачиваемым качеством полудетскости — доверием к сказке, наивностью, приматом искренности над выдумкой. Интересно будет сравнивать с будущими книгами — куда двинется прозаический дар?

Евгения Кононенко. *Без мужика. Перевод с украинского Елены Мариничевой. — М.: Флюид, 2009. (Славянская линия).*

Сборник малой прозы представительницы новой украинской литературы, под этим грифом переведенной на много языков. «В груди клокотали рефрены ссоры» («Поцелуй в попку») — на переводчика такое повесить не могу, видимо, на Украине модно так писать. Еще цитата: «Мужики — это зло. Мужики — это горе. Жизнь в одиночестве — не мед, но надежная гарантия от синяков под глазами и абортов» — «…повесть «Без мужика» считается чем-то вроде манифеста украинского феминизма» (анн.). До чего же феминизм безлик и безнационален…

Евгения Берлина. *Чужой Бог. — М.: Кучково поле, 2008.*

Евгения Берлина, недавно ушедшая из жизни, запомнилась в 80-е многим кураторам молодых писателей и даже стала лауреатом отдела сатиры и юмора «МК». Судьба ее складывалась непросто, писательский дар не получил должного воплощения, а дар был немалый. В изящно изданной посмертно небольшой книге ее малой прозы — в основном короткие рассказы той глубины и силы, которая заставляет вспомнить Чехова. И прием у нее чеховский: в основе каждого рассказа — драматургическая сценка, а герои, как правило, — люди ущербные или душевно неразвитые.

Татьяна Смирнова. *Мой остров. — Тольятти: Литературное агентство В. Смирнова, 2009.*

Рассказы очеркового приема, сильные авторской наблюдательностью, проницательностью, умением находить точные штрихи для сложных психологических портретов. Самое ценное в них, наверное, — утопия детской памяти: «…пусть этот остров будет безымянным, не названным никак, не принадлежащим никому, словно бы и не существующим вне моей памяти» — маленькой героиню программного рассказа взяли на волжский остров на ночную рыбалку, и остров, название которого она не запомнила, слился в ее сознании с понятием «родина».

***Елена Скульская**. «Любовь» и другие рассказы о любви. — Tallinn: Raamat, 2008.*

Лауреат международной «Русской премии» 2008 года Елена Скульская, дочь заслуженного писателя Эстонии Григория Скульского, пишет артистичную модернистскую прозу, часто на автобиографической основе, с реальными персонажами, имеющими известные фамилии. В этом причудливом сплаве реалий и метафор есть прочный каркас — аналитичность, удерживающая фантазию в рамках способности к коммуникации и почтения к трагедии. «Никто не знал, что самым страшным жанром двадцатого века станут хроники. В них сошлись те, кто записывал трагедию своей кровью, не расходуя чернил. (…) Торопясь, они перекидывали через забор сначала узелок с пожитками — воображение, — а потом и свои имена в мгновенную гибель» (из книги об отце).

***Олег Суворов.** Роковые обстоятельства. М.: Огонек, Терра — Книжный клуб, 2008.*

«Библиотека “Огонек”», издаваемая с 1925 года, никакой системной концепции не имеющая, на этот раз сводит под одну обложку три рассказа (пошлейшую эротическую фантазию на мотив биографии Иннокентия Анненского, нечто очень похожее на «В ночном море» Бунина и банальную версию явления девушки Ольги посреди теракта на представлении «Норд-Оста») и рекламный постпринт первых глав детектива, вышедшего в издательстве «Терра — Книжный клуб». Олег Суворов — кандидат философских наук, автор более сорока книг, теперь еще одна причтется.

***Эдуард Шульман.** Пора любви и наслаждений, или Где кончается документ: Роман с философией и литературой. — М.: Арт Хаус Медиа, 2009.*

Книга аллюзий, автором которой кажется Лева из битовского «Пушкинского дома»: в сознании человека, влюбленного в литературу, истории литературных героев и биографические подробности писателей «золотого века» переплетаются в единый сюжет, построенный по логике сопоставлений и гораздо более занимательный, чем собственная жизнь и современность.

***Владимир Салимон**. Рогатые зайцы. Стихотворения. Рисунки Татьяны Назаренко. — М.: Петровский парк, 2009.*

Книга новых стихотворений Владимира Салимона делится на три цикла: «Птицы падают на ветки», «Любители пения» и «Узкая полоска между штор». В основном это камерная лирика примитивистского приема, сосредоточенная на загадках мироздания, построенная на параллелизмах состояния природы и настроения человека, но самонаблюдения бывают и такими:

Обладает он известной прочностью,
словно мост цепной,
жаль, что не могу сказать я с точностью
так про путь земной.

Может, он на честном слове держится,
может, на соплях? —
В этом я хочу удостовериться
На свой риск и страх.

***Вадим Месяц.** Цыганский хлеб. Стихи. — М.: Водолей, 2009.*

У Вадима Месяца особенный подход к стихописанию, позволяющий ему, обладающему в прозе хорошим чувством формы, предаваться безудержному, ничем, кроме услужливой рифмы, не стесненному самовыражению на грани фола, «определяя этот способ творческого существования как самый честный по отношению к себе и другим». Что

получается — то и получается. Иногда впечатляюще — самые удачные стихи выглядят почему-то как хорошие переводы французской поэзии, начиная от Проклятых. Иногда ужасающе — чемпион по количеству банальностей — цикл «Безумный рыбак», недавно выходивший книгой. Но больше всего удивляет авторская философия: может, человеку, которому тайно захотелось украсть, честнее по отношению к себе и другим украсть? А тому, кому захотелось убить, — честнее убить? Может, все примитивные импульсы стоит честно вываливать напоказ, как плохие стихи, которые в изобилии полезут из любого поэта — только попусти?

Анастасия Усачева. *Преувеличение слуха. Поэзия. — Саратов: Наука, 2008.*

Эти стихи можно оценить как графоманию, а можно номинировать на премию Андрея Белого: «Сожженные бегонии за занавеской. / Как осыпается изъеденное пылью волокно! / простуженная паутина / бесшумно отделяется от цвета и от складок, и окно / квадратно, резко и необходимо. / Забредило, забрезжило предсонье: / «у человека слабость — какова?» / Не разберешь, где спор, где соглашенье, / где мята, а где мятая трава, / где переход из лета в межсезонье / и есть ли на него вообще права»…

По-моему, автор все-таки талантлив. Дар его на той стадии становления, когда зерна от плевел еще не отделяются, но зерна эти есть: «Оформились кроны, и моторки пошли в разнос», «Солнце совпало с тучкой» — дару есть из чего расти. А вот вырастет ли, не соблазнится ли «честностью» (см. выше)?

Владимир Коркунов. *Морская капуста: сборник стихотворений. — М.: Юность, 2009.*

Третий сборник молодого поэта. «За последние годы произведения В. Коркунова публиковались в журналах «Юность», «Арион», «Знамя», «Российский колокол», «Студенческий меридиан», «Пролог», в альманахе «Истоки», «Литературной газете». В 2007 году он становится лауреатом литературной премии журнала «Студенческий меридиан». В 2008 году — обладателем стипендии для молодых литераторов Министерства культуры РФ. Член Российского профессионального союза литераторов». Это аннотация.

А вот стихи: «С добрым утром! Все — сердце заштопано. / Гордость в жилках стучится: «уйди». / В легких тапочках, тапочках стоптанных, / до дверей *навсегда* проводи // Проводи. Ничего не досказывай. / Наша «сказка» не так уж нова. / Все слова будут вычурной слабостью, / как и все *на прощанье* слова». И еще около тридцати стихотворений примерно такого же уровня. Может, если все лучшее уже опубликовано, стоило подождать с новой книгой? И, может, несмотря на министерскую стипендию, не стоит пока чувствовать себя мэтром и зарифмовывать каждую отрыжку?

Дмитрий Бытин*. Диакрисис. — Горки, 2008.*

Первые стихотворные опыты юноши с очень хорошо развитыми мышцами (фото на фоне агрегата, на котором их качают) из города Горки Могилевской области. По большей части косноязычные — вот, от точки до точки: «Любовь не запирайма и отчасти». Что бы это могло значить? Не всегда лады и с комбинаторикой, и с согласованием падежей. Но вдруг такое наблюдение: «Осенним утром говорят / Все однаково по-разному». Или такое признание:

Я облачен в поношенное детство,
И слово для меня отнюдь не средство,
Скорей среда, а может, Воскресенье,
Соединенье с вечностью мгновенья.

В конце книги — самое трогательное: посвящения большим поэтам. Иосифу Бродскому, Борису Пастернаку, Александру Блоку, Николаю Рубцову, Артюру Рембо… Такая плотная литературная среда обнадеживает.

Мирослав Немиров. *Полное собрание стихотворений. Том I: восьмидесятые. — М. — СПб.: Красный матрос, 2008.*

Дополнительные сведения, проставленные на обложке: «256 страниц, 98 стихов с комментариями. Без картинок» и на шмуцтитуле: «Лауреат премии Кормильцева 2008 года», «Издано при содействии Марата Гельмана». Лирический герой — двойник Дмитрия Александровича Пригова, только моложе и меньше слов знает, поэтому пользуется универсальными. Так что за «без картинок» — отдельное спасибо.

В зеркале: *Сборник стихотворений и прозы молодых авторов Тверской области. — Тверь: Марина, 2008.*

Сборник, знаменующий учреждение в 2007 году регионального молодежного поэтического конкурса им. местного поэта С.И. Петрова (1914—1941) и другие инициативы литературной группы «Зеркало» из г. Кимры, представляет стихотворные подборки и прозаические миниатюры тридцати двух начинающих литераторов и стихи, победившие в двух розыгрышах конкурса. Почти все ребята умненькие и культурные, грамотно складывают стихи; но поэзия — это другое. Это брезжит только у троих: что-то есть в интонации у Любови Кукушкиной, в архитектонике у Дарьи Смирновой и в сравнениях у Романа Гурского: «…колеблет ветер пустые качели, — / как цифру римскую, как проем / окна, куда мы шагнем вдвоем».

Венок Борису Рыжему. *— Екатеринбург: Союз писателей, 2008.*

«Ни одна смерть, если не считать ухода Бродского, не отозвалась в последнее пятнадцатилетие стольким количеством стихотворных строк», — аннотация сборника стихотворений на смерть Бориса Рыжего. В сборнике — пятьдесят поэтов, принесших на эту могилу цветы и стихи. Позвольте и мне положить свои рядом.

Борису Рыжему

Шарик елочный, обложенный пожелтевшей старой ватой,
что лежал в открытом космосе миллионы темных лет,
си-эн-эновские новости оботрут от звездной пыли.
В новостях не скажут главного — что опять погиб поэт.

Фото: тень твоя глубокая, будто вырыта лопатой.
Ты стоишь на самом краешке, полдень маковкой держа.
Так глядишь и улыбаешься, что любой непроизвольно
опускает взгляд растерянный: брату мы не сторожа.

За поэтов века прошлого, даже сдавшихся и спившихся,
не сговариваясь, сбросивших современность с корабля,
доживать и договаривать так бессмысленно, что жизнь твоя
с трех китов шагнула в вакуум, закруглилась, как Земля…

У Земли всего два полюса. На обоих воды твердые.
Между ними жар экватора обращает в воду твердь.
Все учились понемногу мы понимать себя как физику —
сядем перед телевизором, чтобы в окна не смотреть.

В окнах ветер собирается приготовить день сентябрьский
и ощипывает тополь. То ли «Милая, поверь»,
то ли «Во поле березонька», то ли «Что же ты наделала»
напевает неразборчиво перед тем, как хлопнуть, дверь...

Илья Эренбург. *Запомни и живи. Стихи, переводы. Издание подготовил Б.Я. Фрезинский. — М.: Время (Поэтическая библиотека), 2008.*

Илья Эренбург (1891—1967), широко известный мемуарной книгой «Люди, годы, жизнь» и публицистикой военного времени, всю жизнь писал стихи и считал себя прежде всего поэтом. Его поэтическое наследие достаточно велико. Активный участник первой революции, с 1908 года он спасался от каторги за границей, и первую книгу стихов, костюмно-масочных, ученически-модернистских, он написал в 1910 году в поразившем его Брюгге, куда попасть, как ему казалось, опоздал на пять веков. Дальнейшее становление Эренбурга-поэта связано с накоплением жизненного опыта и сменой исторических перипетий. По этому принципу книга и структурирована: «Стихи 1910—1923», «Стихи 1938—1948», «Стихи 1957—1958», «Стихи 1964—1966». В отдельный раздел выделены переводы, и дополняют том эссе о поэзии и поэтах и литературные портреты. Книга снабжена большим предисловием и комментариями.

Мих. Лифшиц. *Почему я не модернист? Публикация: В.М. Герман, А.М. Пичикян, В.Г. Арсланов; Составление, предисловие, комментарии: В.Г. Арсланов. — М.: Искусство — XXI век, 2009.*

Собрание философско-критических работ, дополненное перепиской, советского эстетика, «последнего марксиста», ярого противника модернизма (авангард и модернизм в концепции Лифшица не различаются), считавшего это явление тупиком человеческого духа, виновником и прародителем идеологии фашизма. В предисловии В.Г. Арсланов резко полемизирует с Б. Сарновым по поводу оценки концепции модернизма Михаила Лифшица и заявляет, что она обладает важнейшим качеством научной теории — предсказательной силой, приводя в подтверждение серьезное отношение нынешних музеев к попарту и тонким душам О. Кулика и А. Бреннера. Говоря все эти верные вещи, он совершенно серьезно, от себя, употребляет удивительный для меня эпитет «реакционный», вполне нормальный в лексиконе Лифшица, но требующий, на мой взгляд, оговорок у современного исследователя.

Издание прежде всего интересно впервые вводимыми в научный оборот трудами самого Лифшица, не выступавшего публично с 1940 года, когда постановлением ЦК ВКП (б) был закрыт журнал «Литературный критик». В заметках 1967 года о булгаковском «Мастере», только что опубликованном, писанных для себя, а не для опубликования, читаем: «Мало того, что основы научного атеизма нарушены в его произведении, он касается работы советских учреждений в самых вольных ракурсах и слишком легко обходится с такими сторонами жизни, которые требуют сугубой серьезности». А ведь почти убедили, что он умница…

Специально для сборника М.М. Кораллов, в 1966 году работавший в «Литературной газете», написал воспоминания об обстоятельствах публикации программной статьи М. Лифшица «Почему я не модернист», название которой отсылает к памфлетам Бертрана Рассела.

Дидактика художественного текста*. Сборник статей. Выпуск третий. Под ред. А.В. Татаринова. — Краснодар: Кубанский государственный университет, 2008.*

«Не стремление к однозначному этическому действию, определенной нравственной максиме или системе заповедей отличает *дидактику художественного текста*, а рассмотрение нравственных стратегий, возможных в пространстве произведения» — определяют авторы свои задачи. Сборник выходит с 2005 года, третий выпуск подготовлен в союзе с филологами из Уфы. Предисловие А.В. Татаринова передает взволнованность ученых состоянием гуманитарных наук: «Современный мир нуждается в экономии и гарантиях. Литература не знает экономии (ни времени, ни сил), гарантии — не ее стихия. Многие десятилетия именно литература сохраняла для нашего читателя память о христианстве, дарила шанс на возвращение к утраченным истокам. В общественном, массовом варианте возвращение состоялось. Церковь сейчас нужна государству, литература — эта ар-

хаичная идеология, так и не достигшая высоких степеней рационализма — государству не слишком нужна. Зачем прагматической цивилизации российский интеллигент с его недоверием к общественному пафосу, с его вечным неумением прочно и навсегда войти в Церковь, с нежеланием всей душой полюбить государство? Да и нужна ли литература — это пристанище интеллигентов, их внутренний дом — тем, кто думает о политической предсказуемости и финансовом результате?». Порадовал сборник и внятным языком, не перегруженным ненужной терминологией, и вниманием к сегодняшней литературе, одна из самых интересных статей — «Эволюция мифологемы крови и роман В. Пелевина “Ампир В”» Е.В. Болдыревой.

Елена Калинникова. *Феномен Салмана Рушди. — М.: Русский двор, 2009.*

Все обидное, что в романе Рушди «Сатанинские стихи» говорится в адрес мусульманских святынь — а они за абсурдом легко читаются: имена жен пророка Мухаммеда совпадают с именами проституток в романе, в городе Джахилия (ар. — «невежество») угадывается Мекка, — должно нивелироваться жанром романа — сонный абсурд. Тем не менее: «Такого скандала из-за художественного произведения не знала история. Никакая книга не получала столь чудовищного резонанса, какой выпал на долю бестселлера 1988 года — «Сатанинские стихи» Рушди», — пишет автор, ученый-индолог, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, разбирая феномен писателя, сформированного культурной эклектикой современной Индии. Рушди, родившийся в Бомбее (теперь — Мумбай), считает себя одновременно индусом и мусульманином, при этом пишет на английском, ест свинину и иронизирует над догмами Корана.

Александр Воронель*. Тайна Асассинов. — Ростов-на-Дону: Феникс; Краснодар: Неоглори, 2008 (Еврейские тайны).*

Автор этой прихотливо построенной публицистической книги со множеством вставных новелл, больше похожих на лирические отступления, разбирая палестино-израильский конфликт, утверждает, что он порожден интеллигентскими замашками израильтян — наследием советского и европейского воспитания. Прослеживая его от времен, когда Палестина была никому не нужной пустошью, А. Воронель утверждает, что с переселением туда евреев арабское население прибывало примерно в той же пропорции в связи с оживлением экономики — в поисках заработка, и особое внимание обращает на политический парадокс: «…первый шаг к миру удалось сделать именно правому правительству Бегина, а не миролюбивому правительству Рабочей партии. Воинственная риторика правых, может быть, и раздражает арабские правительства, но остается им вполне понятной. Мирные предложения левых ставят их в тупик из-за невозможности уловить, в чем же их обманывают…». Основная мысль: цивилизации арабов и евреев в корне различны и настолько, что мир в регионе в принципе невозможен, а главная проблема в том, что это не понятно самим израильским администрациям, с первых дней образования государства Израиль изощряющимся в миротворческих инициативах, превратно понимаемых арабской стороной.

Город > Пермь. *Смысловые структуры и культурные практики. Отв. ред. В.В. Абашев. Мин-во культуры и массовых коммуникаций Пермского края. Пермский гос. ун-т, Лаб. политики и культурного наследия Перм. гос. ун-та. — Пермь, 2009.*

Сборник материалов «круглого стола» «Культура и искусство как ресурс развития города» Пермского экономического форума по теме «Новые метрополии: города, которые выбирают», дополненный статьями и эссе, написанными по итогам дискуссии.

Открывает сборник доклад Марата Гельмана, директора музея современного искусства Permm (Москва — Пермь), открывающегося в Перми, о том, как он видит музей современного искусства. А видит он его узлом социальных коммуникаций, формирующим креативную городскую среду, и разговор он пытался держать в прагматическом русле утилитарной стороны культуры. «Как она может помочь, условно говоря, продать город».

Далее речь шла о возможности создания в Перми арт-проекта вроде «Винзавода», о том, как «эстетически бездарная среда» индустриальных центров может помочь интеграции современного искусства в общественное пространство, о стратегиях привлечения в города «креативных социальных групп»... Особенно интересны приложения: имиджевые паспорта захолустных городов, модели их презентации потенциальным жителям… Ведущий специалист программы «Культурная столица Рур-2010» Герхард Хорн сообщил, что для подобного развития Эссена и других городов Рурской области понадобилось 30 лет. Возможно, когда-нибудь и нашим креэйторам удастся оттянуть народ от мегаполисов в малые города.

Борис Вайсберг. *Станкин. Годы студенческие. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 2009.*

Воспоминания об учебе в Московском станкоинструментальном институте в первой половине 50-х, ценные деталями, как любые свидетельства о том фантастическом времени.

Андрей Константинов*. Бандитская Россия. — М.: АСТ; СПб: Астрель-СПб, Владимир: ВКТ, 2008.*

Прославленный сенсационными журналистскими расследованиями, легшими в основу самых популярных телесериалов, автор собрал их в эту толстую книгу и предварил историческим контекстом — главами «Лихие люди на Руси и преступники дореволюционной России» и «Ни имени, ни роду — одни кликухи поганые (бандитская Россия советского разлива)». Самое интересное, конечно, — разгул криминала 90-х годов XX века и его сегодняшняя конфигурация.

Стивен Фортескью*. Русские нефтяные бароны и магнаты металла. Олигархи и государство в переходный период. Перевод с английского: Т. Новикова. — М.: СТОЛИЦА-ПРИНТ, 2009.*

Исследование, созданное на материалах международного проекта «Российская металлургия в переходный период». В предисловии автор отказывается от термина «олигархи» как не отвечающего своему первоначальному (древнегреческому) значению, а значит, трудноопределимому, но тем не менее все время к нему возвращается. Рассмотрев аргументы за и против олигархов и биографии основных представителей финансовой и промышленной олигархии («семибанкирщины 90-х», Усманова, Абрамова, Абрамовича, Махмудова, Мельниченко, Дерипаски), проанализировав их карьеры и роль государства в этих карьерах, автор останавливается на стиле их деятельности и роли в экономике, особенное внимание уделяя судьбам руководителей «ЮКОСа» и последствиям дела «ЮКОСа» для становления демократии и просто законности в России. Самые захватывающие главы книги касаются этапов приватизации.

Феликс Медведев*. Я устал от XX века… Интервью на грани фола. От Ахмадулиной до Березовского. — М.: Кучково поле, 2009.*

Книга интервью журналиста перестроечного «Огонька». Название, взятое из стихотворения Владимира Соколова, звучит общим контекстом судеб интервьюируемых. Большинство из них — именитые литераторы или связанные с ними люди, но есть и безымянная собеседница, в юности угнанная в Германию, а самое любопытное, конечно, интервью с экс-олигархом Березовским, хотя партия интервьюера в нем порой удивляет: «…А чисто внешне мне не видится, скажем, могучей личностью владелец разных «менатепов» Михаил Ходорковский. На вашем фоне он, скажем так, бесцветен». И квазимодо Березовский, без боя сдавший власти все позиции, соглашается: «Да, возможно, внешне он не яркий человек, это правда, но…» — дальше идет восхваление деловых качеств.

П. Стегний. *«Прощайте, мадам Корф». Из истории тайной дипломатии Екатерины Великой. — М.: Международные отношения, 2009.*

Новое прочтение «вареннской загадки», которую, как считает автор, не разъясняют учебники истории. Политики века Просвещения считали наиболее верной стратегию сопряжения сложившихся обстоятельств с политическим расчетом, а наиболее эффективным политическим орудием — интригу. Поэтому в первой части книги разбираются обстоятельства, при которых сложилась последняя супружеская пара французских монархов, а в последующих — сопряжения этих обстоятельств, вызванные с помощью интриг, наиболее яркие и мифологизированные из которых — скандал с ожерельем Марии-Антуанетты и бегство королевского семейства в Варенн.

Елена Хеллберн-Хирн. *Печать империи: Постсоветский Петербург. Перевод с английского: Д.Д. Невельская. — СПб.: Европейский дом, 2008.*

«Ленинграду-Санкт-Петербургу приходится жить с двумя лицами: одно, загримированное и красивое, повернуто к туристам, другое, серое и отталкивающее, обращено к собственному населению» — пишет бывшая ленинградка, автор этой книги, сложенной из разножанровых исследований физиологии Петербурга, преломленной через время, от первых лет существования града Петрова, через имперскую мифологию и мифологему «фантастического города» к советскому и постсоветскому его бытованию, пытаясь найти для них общий контекст. И приходит к выводу, что нет единой петербургской культуры, а есть «архипелаг культур и субкультур под названием Старый Петербург — Ленинград — Новый Петербург».

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном институте им А.М. Горького (ООО «Старый Свет»: Москва, Тверской бульвар, д. 25; 694-01-98; vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2; 915-11-45; 915-27-97; inikitina@ropnet.ru).

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
©журнал знамя/10/2009 октябрь ISSN 0130-1616
выходит с января 1931 года

Сергей ЧУПРИНИН
главный редактор
699 52 38, chuprinin@znamlit.ru

Наталья ИВАНОВА
первый заместитель главного редактора
699 39 60, ivanova@znamlit.ru

Елена ХОЛМОГОРОВА
ответственный секретарь
699 46 24, holmogorova@znamlit.ru

Ольга ЕРМОЛАЕВА
отдел поэзии
699 42 64, ermolaeva@znamlit.ru

Карен СТЕПАНЯН
отдел критики
699 48 71, stepanyan@znamlit.ru

Анна КУЗНЕЦОВА
отдел библиографии
отдел публицистики
699 52 18, kuznecova@znamlit.ru

Ольга ТРУНОВА
отдел прозы
699 47 84, trunova@znamlit.ru

Елена ХОМУТОВА
отдел прозы
699 47 84, homutova@znamlit.ru

Елизавета ПОЛУКЕЕВА
корректор

Евгения БИРЮКОВА
допечатная подготовка, производство, распространение
699 80 67 т/факс, bir@znamlit.ru

Валерий КАЛНЫНЬШ
художник

Людмила БАЛОВА
исполнительный директор
699-48-98

Наталья РОГОЖИНА
компьютерный набор
699-48-71

Марина СОТНИКОВА
заведующая редакцией
info@znamlit.ru
699-52-83

Издание журнала осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по делам печати и массовых коммуникаций

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/znamia/

адрес редакции:
123001, Москва,
ул. Большая Садовая, 2/46
(вход с улицы Малая Бронная).
Для справок: (495) 699 52 83 т/факс,
info@znamlit.ru

Свидетельство о регистрации средства массовой информации №20 от 28.08.1990.
Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Знамя»
Издатель — ООО «Знамя»

Сдано в набор 10.08.2009.
Подписано к печати 17.09.2009.
Формат 70x108 1/16.
Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 23,17.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз.
Заказ № 2297

Отпечатано в ОАО «Издательский дом «Красная звезда». 123007, Москва, Хорошевское ш, 38. Тел. (495) 941-21-20

СВЕЖИЕ НОМЕРА «ЗНАМЕНИ» И НОМЕРА ПРОШЛЫХ ЛЕТ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ У НАС В РЕДАКЦИИ
Также представлены журналы **«Арион», «Вопросы литературы»**, **«Дружба народов»**, **«Если», «Звезда»**, **«Иностранная литература», «Интеллектуальная Россия», «Континент»**, **«Мир Паустовского», «Нева»**, **«Новый мир»**, **«Октябрь»**, альманах **«Достоевский и мировая культура», «Шо»**.

метро «Маяковская», ул. Большая Садовая, 2/46, вход с Малой Бронной ул., тел. (495) 699 80 67

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не имеет возможности вступать в переговоры и переписку по их поводу, а только извещает авторов о своем решении.

Материалы, поступившие по e-mail, а также рукописи объемом более 10 авторских листов (400 000 знаков) не рассматриваются.

«ЗНАМЯ» В 2009–2010 ГОДАХ

Людмила АГЕЕВА. По воде далеко слышно
Белла АХМАДУЛИНА. За весь род воробьиный
Наталья БРАГИНА. С высоты птичьего полета
Георгий БАЛЛ. Князь из нашего двора
Юрий БУЙДА. Про электричество
Олег ВУЛФ. Бессарабские марки
Юрий ДАВЫДОВ. Дневники и записные книжки
Андрей ДМИТРИЕВ. Крестьянин и тинейджер
Леонид ЗОРИН. Габриэлла
Лев КАРАХАН. Генофон
Эдуард КОЧЕРГИН. Текущие флаги
Максим КРОНГАУЗ. Публичная интимность
Юрий МАНН. Николай I и Николай II
Андрей НАЗАРОВ. Перекати-поле
Обсуждение проблем современной журнальной критики (Инна БУЛКИНА, Валерия ПУСТОВАЯ, Сергей БЕЛЯКОВ, Илья КУКУЛИН, Анна КУЗНЕЦОВА)
Владислав ОТРОШЕНКО. Новая повесть
Олег ПАВЛОВ. Асистолия
Владимир РОКИТЯНСКИЙ. В поисках Шифферса
Александр РУБАШКИН.Заметки на полях жизни
Герман САДУЛАЕВ. Шалинский рейд
Евгений СИДОРОВ. Записки из-под полы
Ольга СЛАВНИКОВА. Легкая голова
Александр СУКОНИК. Спаси нас, доктор Достоевский!
Арсений ТАРКОВСКИЙ. Письма
Светлана и Георгий ХАЗАГЕРОВЫ. Дьяволиада и Хоббитания

новая проза

Светланы АЛЕКСИЕВИЧ,
Григория БАКЛАНОВА,
Нины ГОРЛАНОВОЙ и Вячеслава БУКУРА,
Фазиля ИСКАНДЕРА,
Анатолия КОРОЛЕВА,
Ильи КОЧЕРГИНА,
Анатолия КУРЧАТКИНА,
Майи КУЧЕРСКОЙ,
Владимира МАКАНИНА,
Юрия ПЕТКЕВИЧА,
Людмилы ПЕТРУШЕВСКОЙ,
Валерия ПОПОВА,
Евгения ПОПОВА,
Дины РУБИНОЙ,
Марии РЫБАКОВОЙ,
Романа СЕНЧИНА,
Алексея СЛАПОВСКОГО,
Александра СНЕГИРЕВА,
Александра ТЕРЕХОВА,
Олега ХАФИЗОВА,
Маргариты ХЕМЛИН,
Моше ШАНИНА,
Сергея ШАРГУНОВА

новые стихи

Беллы АХМАДУЛИНОЙ,
Николая БАЙТОВА,
Бориса БЕЛКИНА,
Сергея ГАНДЛЕВСКОГО,
Вадима ЖУКА,
Алексея ЗАРАХОВИЧА,
Вечеслава КАЗАКЕВИЧА,
Михаила КВАДРАТОВА,
Бахыта КЕНЖЕЕВА,
Всеволода КОНСТАНТИНОВА,
Владимира КОСТЕЛЬМАНА,
Ольги РОДИОНОВОЙ,
Геннадия РУСАКОВА,
Ольги СЕДАКОВОЙ,
Марии СТЕПАНОВОЙ,
Михаила СУХОТИНА,
Елены ФАНАЙЛОВОЙ,
Ольги ХОХЛОВОЙ,
Алексея ЦВЕТКОВА,
Олега ЧУХОНЦЕВА,
Сергея ШАБУЦКОГО

адрес редакции:
123001, Москва
ул. Большая Садовая, 2/46
телефон/факс: 699 52 83
e-mail: info@znamlit.ru